ВЛ. КРЫМОВ

СИДОРОВО УЧЕНЬЕ

ПЕТРОПОЛИС

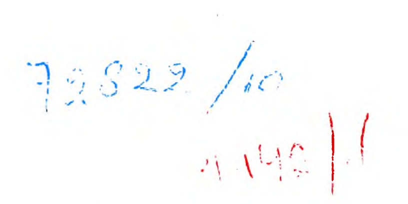

PETROPOLIS

ВЛ. КРЫМОВ

ЗА МИЛЛИОНАМИ

ТРИЛОГИЯ

СИДОРОВО УЧЕНЬЕ
ХОРОШО ЖИЛИ В ПЕТЕРБУРГЕ!
ДЬЯВОЛЕНОК ПОД СТОЛОМ



ПЕТРОПОЛИС / БЕРЛИН

ВЛ. КРЫМОВ

СИДОРОВО УЧЕНЬЕ

ТОМ ПЕРВЫЙ ТРИЛОГИИ

ПЕТРОПОЛИС / БЕРЛИН

OCR Давид Титиевский, июль 2020 г., Хайфа

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ТОМУ.

Закончивши в 1926 году два первых тома моего романа «Бог и Деньги», я начал писать третий том. По мере того как я писал, мне все меньше нравилось написанное раньше. Я стал переделывать уже напечатанное...

В результате от первого и второго томов осталось немного больше половины. Но я вставил новые главы. Мне казалось, что это новое лучше того, что я вычеркивал. Томы разрослись...

Заглавие «Бог и Деньги» теперь для целого уже не годилось — не соответствовало содержанию.

Кстати, первые томы были уже распроданы.

Теперь я дал общее заглавие всему роману-трилогии: «За миллионами».

Первый том — «Сидорово ученье».

Второй — «Хорошо жили в Петербурге!»

И третий — «Дьяволенок под столом».

I.

БЕЛОПОДКЛАДОЧНИКИ.

Поведение природы не соответствовало настроению Аристархова: ему было весело от мысли, что он идет в «Эрмитаж», а у природы был скучный дождь.

Бешено мчащиеся лихачи окачивали прохожих грязью. Маленькие нелепые пролетки прыгали на выбоинах булыжной мостовой, но еще более нелепые кучера приросли к козлам. Подушки под толстыми ватными кафтанами делали их несуразными существами с другой планеты.

Аристархов не был прилежным студентом, пропускал лекции, за неделю до экзамена проходил весь курс, но шел одним из первых, и основы естественных наук твердо легли в мозг и сильно повлияли на мышление. Мозг сумел выбрать и закрепить главное и основное.

Об этом он сейчас думал, был доволен собой, верил в жизнь, в карьеру, и даже необходимость итти в «Эрмитаж» пешком не отравляла настроения. Он сговорился встретиться там с Оконином и Ивковым. Они приедут на своих выездах.

Аристархову эти выезды не казались странными — они были желанны, были символом богатства. Именно такой мечтал он завести, когда разбогатеет — кучер будет еще толще, с большой бородой, и сзади на

ярком шелковом поясе часы в кожаном чехле. А на узенькой пролетке всегда будет лежать клетчатый английский плэд, как у Оконина...

* *
*

«Не надо, чтобы меня видели пешком в такую слякоть...» — подумал он.

Условились встретиться в семь, уже семь пробило на Страстном, но он нарочно пошел еще кругом квартала, чтобы притти позже их, не столкнуться у подъезда. Сейчас подходил с Неглинного. И, как нарочно, столкнулся. Ивков и Оконин пронеслись мимо и обрызгали его грязью.

«Арсений!.. Ну и скаред» — крикнул Ивков.

Аристархову было неприятно. «Скаред... Идиоты!.. Хорошо говорить, когда у них в кармане тысяча рублей, а у меня восемнадцать и до конца месяца больше не будет».

Поднимаясь по широкой мягкой лестнице, еще раз взглянул на сто сорок пять поваров: большая фотография знаменитой кухни «Эрмитажа». Обедали всегда за колоннами налево, где сидят свои, постоянные гости. Метр-д'отель, больше похожий на министра великой державы, в безукоризненном фраке, почтительно поклонился. Но всетаки не так почтительно, как Оконину и Ивкову. «Они точно знают, у кого сколько денег, от них не скроешь»...

* *
*

«Человек» в белых штанах и рубашке назвал всех по имени-отчеству: это почетнее, чем «барин» или даже «ваше сиятельство».

На новый год и на пасху своим гостям подносилась разноцветная карточка с раздвижной декорацией, и на ней полностью напечатаны золотом имя, отчество и фамилия. Сегодня поднесли такие карточки. Аристархову тоже, хотя он бывает редко. Это Ивков ска-

зал, чтобы заготовили и для него. Пришлось дать пять рублей. Пять рублей сильно нарушают расчеты, но Аристархов польщен и не жалеет.

Ивкову хочется во что бы то ни стало опрокинуть расчетливость Аристархова, заразить его своим размахом. Он не верит, что у него нет денег, — как может не быть денег? Ивков деньги расбрасывает щедрой рукой. Родные негодуют, но все-таки платят его долги. Старая знатная помещичья семья уже разорена. Громадное именье с тысячами людей, подарок матушки Екатерины, давно растрачено дедом и отцом. Но Павлик гордится широтой своей натуры, традициями и не считает нужным себя сдерживать. Павлик Ивков своей мягкостью и тактичностью всех располагает. У Оконина миллионное наследство после отца. Отец умирает в параличе, и у сына большой кредит.

* * *

«Третьего дня у Ахаева был балетный ужин», — рассказывал Оконин. — «Была Джури, Кулябкина... Ахаев был в ударе, пел с Флоровенти. Пили колоссально, из башмачка Джури. Джэк нализался, плакал и объяснялся Джури в любви, а честная итальянка приняла за чистую монету... Ахаев звал Джури на следующий ужин. Будут прислуживать голые натурщицы... Ужин у Аспазии...»

«Мог бы выдумать что-нибудь новое. Еще наши дедушки подавали на стол голых француженок. Не мои — твои, Павлик, дедушки... В Петербурге гвардейцы устраивают теперь ужины с голой Катей-натурщицей... Павлик, ведь ты бывал в этом ультра-фешенебельном клубе, где прислуживают голые мальчики?» — спросил Аристархов.

«Голые там не прислуживают. Они одеты, как одевались в древнем Риме» — поправил Ивков.

Сенсацией художественного сезона был голый банщик на последней выставке. Говорили о нем. Потом о бегах.

«Почему ты не был вчера?»

«Не было денег», — решил ответить прямо Аристархов.

«Что ты, Арсений, поешь Лазаря: кто тебе поверит, что у тебя нет ста рублей, когда ты живешь с балетной. Жмот... Если ты умудрился заработать на рациональности параметров, ты можешь сделать денег сколько угодно... У тебя через пять лет будет миллион, я ручаюсь...» — смеялся Оконин.

«Будет, но сейчас нет... Не через пять лет, а годам к сорока. Хочешь пари?»

Человек в белом, священнодействуя, наливал еще по рюмке «серебряковской» и из другой бутылки несколько капель пикону.

«Не буду» — отказался Аристархов.

«Замороженное, Арсений Павлович... с горячим калачиком и салатцем Оливье... Разрешите...» — мягко и ласково уговаривал человек в белом.

«Арсений, будь товарищем. Сегодня именины Алеши, и ты должен выпить за его здоровье». — Ивков указал взглядом вдаль залы, где стояло несколько прислуживающих мальчиков, тоже все в белом.

* * *

На-днях у Ахаева был экзамен по кристаллографии. Кристаллографию читал знаменитый профессор. Очень простой и милый человек в жизни. В жизни он говорил такие ясные и простые вещи, но лекций его никто не понимал. Доходя до самого трудного места, профессор клал мел, вытирал руки носовым платком и, улыбаясь, говорил:

«Дальше все само собой понятно... Переходим к следующей проекции».

Закон рациональности параметров составлял основу курса, и закона этого никто из студентов постигнуть не мог. Аристархов нашел свое толкование закона, и в такой форме он был понятен. Ахаев не бывал на лекциях; перед экзаменом Аристархов дал ему

пять уроков и взял за это двадцать пять рублей. Ахаев выдержал экзамен. Для него двадцать пять рублей не составляли вопроса, но получилась неловкость: — неудобно было брать деньги с товарища.

Аристархов получал из дому пятьдесят рублей в месяц, а приятели тратили тысячи. Хотелось бывать там, где бывали они, — у Яра, в Стрельне, у цыган, на бегах, в Эрмитаже. Затем Зина. Он не давал ей денег, но все-таки были расходы. Даже, когда ходили на контрамарки в театры, тоже стоило.

* * *

Особенно завидовал Арсений Оконину. Оконин был иногда резок с ним. Он был резок и с другими, но Арсению казалось, что с ним особенно. Не раз он удерживал себя, чтобы не обидеться и не порвать. Всякий раз тушил в себе это чувство обиды — Оконин его интересовал больше других. Оконин жил своей оригинальной жизнью. Жизнь других товарищей была известна в деталях, ничего в ней не было скрытого, а Оконина окружала какая-то тайна.

У Оконина был свой выезд. Собственный выезд был и у других, но у Оконина он был особенный. Оконин ездил всегда только в шарабане и кучер сидел рядом с ним. Это было сделано точно нарочно для того, чтобы никогда не подвозить никого из товарищей. Иногда Оконина встречали на этом выезде с дамами, всегда интересными — тогда Оконин правил сам, а кучер где-нибудь оставался.

«Почему ты никогда не ездишь в обыкновенной пролетке? Это гораздо удобнее» — спросил как-то Арсений.

«Я не желаю, чтобы кучер знал во всех подробностях мою жизнь. Наивно возить с собою детектива».

«Какие тайны у Оконина? Что он скрывает? Может быть ничеге нет, а он только напускает туману» — думал Арсений и тем не менее интерес к Оконину все увеличивался.

Во всякую погоду, летом и зимой, Оконин брал с собой плэд и знаменитую палку. С палкой этой была связана пикантная история. У Оконина была одно время связь с наездницей из цирка. Про нее говорили, что это одна из самых интересных женщин в Москве. Оконин никогда не хвастался своими связями с женщинами, а, наоборот, как будто тщательно их скрывал. Это только увеличивало любопытство окружающих и, понятно, все в конце концов знали. Знали и о Регине, хотя Оконин, бывая по субботам в цирке, никогда не уезжал с нею, а встречался где-то потом. Если он заезжал за ней к заднему подъезду цирка после ее номера, то в этот день он в цирке не показывался...

Когда его увидели как-то входящим вдвоем в кабинет Стрельны и на завтра стали расспрашивать, кто это, он ответил:

«Нетактично спрашивать имя женщины, с которой ты кого нибудь видел... а засим это вообще вас не касается».

Один из товарищей, тоже богатый, «Димка», увидел Регину и вдруг воспылал страстью. Он послал швейцара выследить, где она живет, и таким образом было установлено, кто это.

У Димки была знаменитая старинная палка с резной слоновой ручкой, будто бы принадлежавшая папе Александру Борджиа.

Оконин привозил в студенческое общежитие громадные ростбифы. Приносили водку и ростбиф моментально уничтожался. Оконинские ростбифы давно славились. Их жарила дома его старая нянька. Сам Оконин иногда ел, но никогда не пил водки — только угощал других. Однажды за таким ростбифом Димка, выпивший уже несколько рюмок, сказал:

«За такую женщину как Регина, я отдал бы полжизни».

«За твою жизнь, даже и полную, я ничего не дам, а вот отдай палку».

«Ты серьезно?» — удивился Димка.

«Раз я что-нибудь говорю, так говорю» — спокойно подтвердил Оконин.

«Ты хочешь поменять ее на мою палку?»

«Да».

«А если она не согласится?»

«Я тебе гарантирую. Ты мне отдашь палку после того, как она будет твоей любовницей».

Сделка произвела сенсацию среди остальных. Одни возмущались, другие хохотали. В общем было занятно, чем это кончится?

«Принеси палку», — сказал Оконин.

Димка принес палку и передал ее Оконину. Тот отдал Павлику:

«Ты мне передашь эту палку в собственность, когда Димка подтвердит, что я выполнил свое условие».

После этого Димка пропадал где-то два или три дня и, явившись, заявил, что палка принадлежит Оконину

* * *

Один раз Арсений встретил Оконина на Кузнецком, пошли вместе, остановились у витрины магазина «Брик-а-брак». Оконин обратил внимание на маленькую китайскую бутылочку из нефрита.

«Замечательная вещь», — сказал он. — «Я должен купить».

Вошли в магазин. Оказалось, что эта нюхательная бутылочка стоит двести рублей! Оконин без малейшего колебания заплатил и положил бутылочку в карман.

«Зачем тебе эта бутылочка? Такие деньги!» — поражался Арсений.

«Вещи, которые нужны, не представляют ни малейшей ценности», — ответил Оконин. — «Ценно то, что ненужно».

У кондитерской Трамблэ встретили знакомую даму, жену журналиста. Ее знали и Арсений, и Оконин.

«У меня для вас подарок». — Оконин вынул из кармана бутылочку и отдал ей. Та удивилась, еще больше удивился Арсений.

«Так легко истратить двести рублей на совершенно ненужную вещь и отдать ее первой встречной», — поражался он.

«У этой женщины есть настоящий вкус: посему она достойна такой вещи», — объяснил Оконин.

«Ты встречаешься с ней?» — спросил Арсений, через две-три недели.

«С ней? Она женщина с большим вкусом, она готова часами слушать Моцарта, но она мне больше не нравится... А засим, если бы я и встречался, все равно, понятно, не сказал бы. Это один из тех вопросов, на которые не отвечают».

* * *

Павлик спросил сигару.

Явился торжественный метр-д'отель, — хотя и не самый важный, другой, — с целой горой коробок. Тоже священнодействуя, открыл одну коробку за другой. Тщательно выбравши большую Санта-Дамиана, Павлик повертел ее в руке, поднес к уху, понюхал, осторожно снял красное с золотом колечко, еще осторожнее обрезал особым ножичком с портретом Наполеона и закурил. Закуривая, он долго не отнимал спичку, повертывал осторожно сигару несколько раз, чтобы загорелась одинаково по всей окружности и не закоптела. Арсению казалось, что красивее курить не снимая колечка, но он уже давно заметил, что все «шикарные» люди снимают. Много такого он перенял уже, и сам теперь смотрел иронически на тех, кто делал так, как он когда-то. И считал очень важными эти новые свои познания. «Жизнь состоит из мелочей».

«Разбрасывают деньги... такая сигара стоит в магазине рубль, а тут дерут два с полтиной».

Не удержался, сказал об этом. Ответил не Павлик, а Оконин.

«Ты, Арсений, умный, но в тебе много мещанства... Ты хочешь, чтобы метр-д'отель относился к тебе почтительно, но не считаешь нужным дать ему заработать. Это его доход».

Арсению было неприятно, но он ничего не возразил.

«Пожалуй, он прав... Но я мещанин из-за того, что у меня нет денег...» — подумал он и в сотый раз решил, что будет богат во что бы то ни стало.

«Ты у нас красная девица, Арсений, не пьешь, не куришь» — сказал Павлик.

«По староверски», — засмеялся Оконин. — «Мы, староверы, больше по части девочек. Первые развратники в мире. За это я его люблю. Презираю умеренность, людей без пороков и экстазов...»

Человек в белом подошел и бережно взял с пепельницы колечко.

«Зачем ему?» — спросил Арсений.

«Как ты еще молод, Арсений, как молод! Сколько интересного еще предстоит тебе узнать в жизни»,—покачал головой Павлик. — «Бабушка мне однажды сказала: Какой ты счастливый, Павлик, ты еще не читал «Оливера Твиста». Я не оценил тогда ее мудрости... Прелесть новых переживаний — самая острая и ценная».

«Ты прав, Павлик»,—вставил Оконин.—«Однако, маленькая поправка: первые переживания одно, первыя знания — другое: чем больше знаешь, тем больше наслажденья узнавать дальше... В начале совсем нет наслажденья от знаний, оно является только тогда, когда узнаешь уже очень много».

Арсений подумал о начале фразы Оконина: «Как они говорят... Это Оконин от Павлика перенял. Никогда не возразит — «нет», или «ты не прав», а всегда — «ты совершенно прав, но...». Хочет отрицать, а начинает с «да», «совершенно верно», «я вполне с вами согласен»... Иезуиты. Но именно так нужно»...

* * *

Струнный оркестр играл модную шансонетку, неприличную и пошлую; фурорный номер сестер Баррисон от Омона.

«Неописуемые стервы» — вспомнил о них Оконин.

«Не говори так», — остановил Ивков. — «Арсений уверяет, что они невиннейшие девицы в мире. Особенно Китти, с кукольными глазами».

«Эта Китти и есть самая стервоза-долороза, хотя ей и семнадцать лет», — продолжал Оконин. — «Но аристарховская система тут не годна. Отец дьякон, деньги на кон. Он у нас купит два мудреных учебника и эротический роман, — и готово... Нет, тут пожалуйте-с чековую книжку».

Арсений бредил Китти. Образ этой девочки, изящной и порочной, с кукольными голубыми глазами и прозрачной кожей, неотступно стоял перед ним. Лаская Зину, он думал о Китти. Он купил духи, которыми была продушена и сама Китти и ее комната, носил бутылочку в кармане и потихоньку нюхал. Но Китти — каприз, доступный Ахаеву с его миллионами, а не ему, Арсению. Это бесило его... «Молодость пройдет без денег, они будут тогда, когда уже не будет этих острых, счастливых капризов... Сколько счастья на всю жизнь в воспоминании может дать такой каприз!.. Жизнь только и стоит чего-нибудь ради нескольких ярких моментов», — думал он. — «Они с миллионами, как полубоги, дважды рожденные»...

«Оба вы кандидаты в сверхчеловеки, а интересуетесь девочкой от Омона» — засмеялся Ивков.

«А надо интересоваться Алешей?» — обозлился Арсений:

Ивков покраснел, но спокойно и мягко ответил:

«Ne sutor supra crepidam. Ты не классик в душе и никогда не поймешь многого в красоте...»

«А вот Ахаев!» — прервал Оконин.

«И вы здесь! И Арсений?.. А я сижу в кабинете с Джэком».

«Кто еще с вами?»

«Никого... Флоровенти поет. Пойдем к нам... Всё еще вспрыскиваем рациональность параметров. У меня только сейчас начала рассасываться опухоль в мозгу от этой прелести. Как говорит Джэк, вода полезна рыбе, но вредна человеку, а шампанское — наоборот: Арсению вот одно удовольствие от параметров».

Арсений смолчал, хотя краска залила лицо и ком подкатился к горлу. У него это бывало всегда при сильном волнении. «Проклятые деньги... продаешь по кусочкам душу». Он ничего, однако, не ответил.

* * *

Флоровенти пил шампанское стакан за стаканом, пел что-то неаполитанско-цыганское, сам себе аккомпанируя на пианино. Ахаев подыгрывал на мандолине и тоже пробовал петь. Выпивши еще стакан, Флоровенти перешел на гитару:

Жив-в-а̀
Жив-в-а̀
Пад-да̀й бутэлку пива...

Ахаев уже много выпил, но, привычный и крепкий, держался уверенно, с сознанием своей силы, силы богатства. Аристархов и Оконин почти не пили. Ивков, маленький и хрупкий, мог пить сколько угодно, сохраняя такт и добродушие. Пьяны были только Джэк и Флоровенти.

Джэк состоял при Ахаеве с детства, жил на его счет, всюду с ним бывал. Он был обязан всегда приноравливать свое настроение и подчиняться Ахаеву беспрекословно: был наглым или любезным, веселым или серьезным, как хотелось Ахаеву. Из университета его исключили, но он все еще носил форму.

«Расскажи вчерашний анекдот» — приказал Ахаев.

Джэк немедленно повиновался. Анекдот был пошлый и похабный. Арсений иронически улыбнулся и стал еще больше презирать Джэка. Он его не переносил.

Флоровенти умирал со смеху, видя, что это приятно Ахаеву. Тоже попробовал рассказать:

«Я был еще мальчиком, мы жили в Неаполе...»

«Не врите, Флоровенти... Когда вы были мальчиком, вы жили не в Неаполе, а в Бердичеве, условимся раз на всегда... Пойте, а рассказывать не умеете... Почему нет сборников неприличных анекдотов?» — обратился Ахаев ко всем, но в частности как бы к Арсению. — «Боккачио написал «Декамерон». Почему теперь не пишут?.. Почему самое остроумное нужно передавать от одного другому только устно, как священное предание? Почему это не сделать священным писанием?..»

«Брось кощунствовать» — запротестовал Ивков.

Ивков был религиозен. Накануне каждого экзамена он ездил к Иверской и ставил большую свечу, а иногда служил молебен, в зависимости от трудности экзамена. Не пропускал ни одной церкви, не перекрестившись. На спинке кровати висел у него десяток образков, и каждый святой был покровителем чего-либо.

«Почему у тебя нет Космы и Дамиана?» — трунил Арсений. — «Самые нужные святые, заведуют эротикой».

«Не надо, Арсений. У тебя это звучит кощунством, и ты грешишь одновременно против эллинской и христианской красоты... Это святая святых. Культ Фаллуса, культ чистый, культ высокой культуры... Святое и Эрос живут рядом...»

«Но твой Эрос предпочитает мужское общество...»

«Это ты тоже когда-нибудь поймешь... Мужчина много совершеннее — и физически, и духовно... Толстый зад, висящие груди... что может быть отвратительнее?!»

«Нет, Павлик, этого я никогда не пойму...»

* * *

«Спойте, пожалуйста, «Графинчик-голубчик» — попросил Ивков.

Флоровенти опять оживился и в пьяном экстазе превзошел себя. Ахаев аплодировал.

«Браво, Флоровенти, ты, действительно, артист»,— перешел он вдруг на «ты», — «спой еще раз, получишь двадцать пять рублей...»

Флоровенти повторил. Он с проникновением, любовно, произносил «графинчик!..» и «голубчик!..», закатывал глаза и тихой минорной импровизацией аккомпанировал себе.

Арсению было не посебе:

«Мне двадцать пять рублей за кристаллографию, этому двадцать пять за «Графинчик»...»

В первый раз он был в кабинете Ахаева. Всегда мечтал попасть на один из знаменитых ахаевских кутежей, но теперь было горькое, неприятное чувство обиды.

* *
*

Все-таки, когда через полчаса Ахаев приказал вызвать Леона, самого сумасшедшего московского лихача, и пригласил всех в «Стрельну», Арсений тоже поехал.

В «Стрельне» все кабинеты были заняты, но для Ахаева нашелся.

«Для вас новый построим, если не будет свободного...» — подобострастно улыбался Лука Петрович, толстенький маленький метр-д'отель.

Последний кабинет был оставлен для компании петербургских гвардейцев, но отдали Ахаеву.

«Для вас, Владимир Васильевич, все гвардейцы на смарку, меньше армейца цена...» — хихикал Лука Петрович. — Прикажете, как всегда?..»

Это значило: полный стол закусок, сколько не могут съесть и двадцать человек, перцовка и неопределенное количество шампанского, сколько смогут выпить сами, цыгане, венгерки, девицы из русского хора и разные прихлебатели Ахаева, выроставшие в таких случаях из-под земли.

Опять начали с перцовки и холодных закусок. Потом подавали что-то горячее, но никто, кроме Флоровенти, не ел.

«Флоровенти, как удав... Может наедаться на две недели... Но пить ему обязательно через каждые два часа» — говорил Джэк, целуясь с ним.

«Тебе хорошо смеяться, а у меня семь человек детей, и мать жены умирает...» — вдруг заявил Флоровенти.

«У вас семь человек детей?!» — удивился Ахаев. — «какие у тебя могут быть дети, Флоровенти?!.. разве в банках, заспиртованные?..»

«Не говорите так», — протрезвел Флоровенти, — «это правда, у меня семеро детей, и младший три дня, как родился...»

«Так чего же ты раньше не говорил?.. Лука Петрович, пошлите сейчас на дом господину Флоровенти семь рябчиков в сметане, семь бутылок шампанского... Довольно по бутылке на брата?.. И фруктов».

Флоровенти хотел протестовать, но, сообразивши, что шампанское можно продать, молчал и смеялся.

«Постой, Володя», — вмешался Ивков. — «Я понимаю, что шампанское не повредит и трехдневному младенцу, но рябчика ему нельзя... пошли ему манной каши».

«Не прикажете-ли гурьевской? Послаще будет» — позволил себе посоветовать Лука Петрович.

«Нет, нет... именно манной» — подхватил Ахаев.

Лука Петрович деловито пошел исполнять заказ, взявши предварительно от Флоровенти адрес. Глазом не моргнул. Его только немного смущала манная каша — никогда в «Стрельне» манной каши не заказывали и он не знал, сколько за нее поставить в счет.

Пришли цыгане.

Их поили шампанским, но есть ничего не дали. Лед стоял в вазе, но цыгане его в бокалы не клали — безо льда крепче. Арсений наблюдал. Ему пришлось както тоже угощать цыган, и он с тревогой подсчитывал, сколько это обойдется... Выручил лед: накладывал его

полно в бокал и доливал шампанским, и одной бутылки хватило на весь хор. Тут бутылок не считали. Пили, пели, опять пили. Хотели непременно пить «величание», но Ивков остановил.

«И так все пьяны».

* * *

Пришли две венгерки. Старая приятельница Ахаева, лет тридцати и другая незнакомая, совсем молоденькая, старавшаяся быть развязной.

«Прямо из Будапешта... невинная, и тоже Илька», — представила старшая.

«Что все венгерки Ильки, это давно известно, но венгерок невинных не бывает», — нагло ответил Ахаев.

Молоденькая не понимала по русски, но старшая обиделась.

«Ты так не говори... Есть такие, которых не купишь и твоими деньгами... У нее дома больная мать и маленькая сестра, каждый рубль посылает им».

«Хорошо поешь, где-то сядешь... все старо», — говорил Ахаев. — «Да что это с вами сегодня? У одного вдруг семеро детей, другая невинная, с больной мамашей... Не могу-же я им в Будапешт тоже послать горячих рябчиков?!..»

«Простынут, Владимир Васильевич... Разве что там подогреют...» — спокойно обсуждал Лука Петрович; — «с экспрессом если послать, в два дня там будут...»

«Ты бы вместо рябчиков дал ей денег», — посоветовала старшая венгерка.

«Денег?!.. Денег даром не дают... Что ты думаешь, что русские сами их делают?!» — рассердился Ахаев.

* * *

Пришла Олимпиада Васильевна, хозяйка русского хора.

«Нужно же зайти... Узнала, что вы здесь, Владимир Васильевич, на поклон пришла... Споем вам сего-

дня? По горло сегодня заняты, все кабинеты полны... Но для вас всегда, как срочная депеша, в момент...» — рассыпалась она.

Увидевши, что ее предложение особенного сочувствия не встречает, она сейчас же поправилась:

«Тут у вас и так полновато... Может быть, позволите вам капеллу прислать?»

Явилась капелла — восемь девиц, более хорошеньких из хора. Ахаев со всеми был на «ты».

Опять стали петь...

В кабинет вбежала еще венгерка, растрепанная, плачущая, с окровавленным лицом.

Все вскочили.

В коридоре кричало несколько голосов, кто-то истерически плакал. На пороге кабинета появился офицер с обнаженной шашкой.

«А!.. Это тот купчик, которому наш кабинет отдали?!.. Я вам покажу, хамье, как оскорблять честь мундира!» — и он направился внутрь кабинета, к столу, и натолкнулся на Арсения.

«Кто из вас тут купчик-миллионер?!.. Ты?» — обратился он к нему.

Арсений быстро отскочил за стол и крикнул:

«Уберите этого пьяного негодяя!..»

В кабинете было уже несколько лакеев и швейцаров. Они бросились на офицера, тот замахнулся шашкой. Кто-то упал. На шашке была кровь. Арсений схватил со стола бутылку шампанского и сзади ударил ею офицера по голове. Тот зашатался... Его подхватили лакеи и понесли из кабинета.

Мебель была опрокинута. Кругом было залито кровью и шампанским. Валялись куски льда и битая посуда. Раненого лакея с почти отрубленной рукой тоже унесли. Кабинет наполнился людьми. Арсений сидел на диване и плакал:

«Мерзавец... честь мундира... почему позволяют им ходить с ножами и нападать на людей?..»

Ивков успокаивал его. Венгерки плакали. Капелла и цыгане разбежались, чтобы не попасть в свидетели.

Явился владелец «Стрельны» с извинениями. Он сам был уже давно миллионером. Нажил на таких, как Ахаев, и потому относился к ним по прежнему подобострастно.

Лука Петрович подробно и спокойно докладывал, что произошло. Когда офицеры приехали, для них не оказалось заказанного кабинета, и они сильно рассердились. Уже были пьяны. Сели в зимнем саду. Подозвали двух венгерок. Как будто успокоились. Пили коньяк и шампанское. Потом один вдруг придрался к проходившему старому гостю, за то, что тот сказал что-то тихонько венгерке. Обругал его и хотел бить. Когда штатский отошел, венгерка встала и хотела подойти к нему. Офицер схватил ее и разорвал платье. Венгерка, вырываясь, нечаянно сорвала ему погон. Тогда он выхватил шашку и замахнулся. Та схватилась за шашку, обрезала руку, стала убегать и попала сюда.

«Извините, Владимир Васильевич, что такое дело вышло... Не уважаю я этих питерских... В кармане, извините, вошь на аркане, а анбиций на миллион... Какая тут, извините, честь мундира, когда ты пьяная свинья...» — рассуждал вразумительно Лука Петрович.

«Помощник пристава протокол составляет... каким-то князем с двойной фамилией оказался. Товарищ просит замять дело. Как тут замять, когда человеку руку отрубил, в больницу повезли...»

Ахаев пробовал поднять настроение, но ничего не вышло.

Просил не вмешивать его в протокол. Послал с Джэком помощнику пристава сто рублей. Помощник деньги с благодарностью принял и обещал сделать «все зависящее».

II.

ЗИНА.

Арсений вернулся к себе в маленькую комнатку на Страстной площади, расстроенный.

Ему всегда хотелось жить так, как жил Ахаев. А сегодня он стал думать иначе. Он завидовал его деньгам, но никогда он не стал бы тратить их так пошло. Бездельничать и платить другим, чтобы они тоже бездельничали и лакействовали...

«К чорту Ахаева и все эти карточки с золотыми надписями! Мне не надо, чтобы лакеи звали меня по имени-отчеству...»

Вынул из кармана полученную сегодня карточку и порвал.

По Тверской загромыхал экипаж. Арсений насторожился. Почудилось знакомое громыханье театральной кареты. Она иногда привозила Зину после балета.

«Какая глупость... четвертый час ночи. Какая может быть теперь театральная карета...»

К тому же с Зиной было условлено, что сегодня она не приедет.

«Давно уже спит...»

Вдруг вспыхнуло сомнение. Все подозрения последних дней ожили. Он припомнил все новые вещи, которые появились у Зины за последнее время. «Она всегда находила объяснение. Но так-ли это?..»

Бриллиантовую брошь будто-бы кто-то из знавших ее по театральной школе поднес ей в бенефис кордебалета... Два новых платья и шляпа будто-бы сделаны на полученные с этого-же бенефиса шестьдесят семь рублей. А между тем одна такая шляпа с паради должна стоить рублей сто. Зина легко выпуталась, когда он пробовал поймать ее: она осталась должна в шляпном магазине и у портнихи... Дорогой зонтик с ручкой севрского фарфора, шелковые чулки, перчатки в осо-

бой коробке, духи, ботинки от Пиронэ, где она никогда раньше не покупала...

Арсений вскочил с постели и стал одеваться. Зина жила тут же недалеко, с родителями, в переулке около Тверского бульвара.

Он разбудил швейцара, сказал что-то про телеграмму и вышел на Тверскую. Дома̀ спали. По улице мчались от Тверской заставы лихачи. Один гнался в перегонки с «голубком». Почему-то всегда ездил в такой упряжке московский обер-полицеймейстре.

Взмыленные лошади неслись во всю силу, рискуя поломать ноги на булыжниках. Из-под копыт летели искры. Пролетки прыгали, как мячики. В пролетках обнимались. Это был разъезд от «Яра», из «Стрельны», из «Золотого Якоря»...

В первый раз показались ему дикими эти бешено мчащиеся лихачи, обложенные подушками, пьяные люди, загнанные лошади, ночная тишина, разрываемая диким топотом и скрежетом подков на камнях...

* * *

Быстро дошел до дома Зины. Все спало. На скамейках бульвара дремали несколько человек. Жались от холода. На тумбе у ворот спал знакомый дворник. Арсений осторожно разбудил его, дал двадцать копеек.

«Ты знаешь барышню Зинаиду Николаевну?»

«Балерину? Знаем...»

«Мне нужно рано утром передать ей письмо... передай, пожалуйста, как только встанут...»

«Их дома нет... В карете из театра приехали, а после офицер энтот заезжал и уехали...»

«Ты видел?»

Дворник сообразил, что спросонья наговорил лишнего, и стал что-то бурчать про себя.

Арсений отошел, не соображая, куда идет. Обошел кругом квартала, прислушиваясь к топоту лихачей. Подошел снова к дому Зины, но так, чтобы дворник не видел. Никто не подъезжал.

На Страстном пробило три четверти пятого. В четыре везде закрывается... Она должна бы уже вернуться... Страшное подозрение подступило к горлу.

Пробило пять, четверть шестого... половина шестого. Арсений сидел на скамейке и все прислушивался. Все еще была надежда, что Зина сейчас подъедет. Все еще хотелось придумать какое-нибудь объяснение. Правда была так ужасна, что казалась невозможной.

* * *

Два года нежной любви связывали их. В искренности ее чувства еще недавно не было сомнений. Он ей ровно ничего не давал. Для Зины не было никакого материального расчета в этой связи с ним. «В балете столько возможностей найти богатого поклонника!»

Арсений объяснялъ это своим влиянием на психику Зины. Он ее сильно изменил. Она стала читать, заинтересовалась искусством. Целые вечера проводили вдвоем за книгой. Брали вместе уроки английского языка. Зина мечтала почему-то об Америке. Она отдалилась от прежних подруг. Только изредка, выкраивая всякими ухищрениями десять-пятнадцать рублей, могли где-нибудь бывать. Прошлое лето она с сестрою жила в крошечной дачке в Химках, и Арсений провел с ними пол-лета. Домой писал, что занят практическими работами.

Но Зина знала и другую жизнь, и ее должно было тянуть туда.

«Где достать денег?» — было лейт-мотивом у Арсения. Университет, науки — все отступало перед этой мыслью. Карьеру он представлял себе, как богатство...

* * *

В погоне за деньгами Арсений перепробовал уже многое. Но получались гроши. Пробовал давать уроки, но найти их было не легко, и столько времени уходило на проезды, что пришлось бросить.

Начал играть в карты. Выиграл сто сорок рублей, но затем в один вечер проиграл весь выигрыш и еще своих и, переживши целую драму, решил бросить игру.

В последнее время занялся газетной работой. Это тоже давалось трудно и приносило немного.

Одна статья проходила, пять нет. Приходилось по нескольку раз ходить в редакцию, справляться, будет ли напечатано и когда; нельзя ли изменить, если не совсем подходит?.. Либо статья не была еще прочтена, либо не было того, кто читал ее. Или обещали, наконец, на-днях поместить. Дни проходили, — статья не появлялась. Снова шел справляться, и оказывалось, что статья затерялась в наборе. Снова писал, снова ходил. Вот статья стояла в полосе, но ночью откладывалась за недостатком места. В последний момент были получены телеграммы или такой-то, свой, прислал срочную статью... Наконец, статья появлялась, но оказывалось вместо двухсот пятидесяти строк — только восемьдесят. Выпущено было самое ценное.

Он попробовал раз протестовать, но старик, секретарь редакции, сказал вразумительно:

«Вы, молодой человек, только начинаете, так позвольте вам сказать... Если бы ваша статья была настолько интересна, что ее нельзя было бы сокращать, то и не сокращали бы. Пишите, пишите, выпишетесь — тогда не будем ни сокращать, ни откладывать. Чем человек талантливее, тем короче он пишет».

«Неправда», — думал Арсений, возвращаясь из редакции. — «Ваши постоянные сотрудники пишут гораздо длиннее, и все печатаете... И парадокс совсем неудачный. Разве Толстой писал коротко? Разве Достоевский писал коротко?..»

Несколько раз решал бросить, не писать больше. И снова писал, и снова начиналось сначала.

* * *

Не потому, что у Арсения были монархические убеждения, — он и сам не отдавал себе отчета, какие они

у него, — но он стал работать в самой черносотенной московской газете, просто потому, что на даче у знакомых встретил семью редактора этой газеты и стал бывать у них.

Написал там статью «О высшем образовании». Статья была напечатана и произвела целый скандал. Арсений доказывал в ней, что высшее образование вредно для «кухаркиных детей», что вообще высшее образование для широких слоев преждевременно в России. Статья была подписана его полным именем и фамилией. Через несколько дней ректор университета вызвал Арсения к себе. Ректор был старый барин, англоман, либерал, говоривший по русски с английским акцентом. Студенты никогда не видали его пьяным, но все знали, что он с утра пьет коньяк маленькими рюмочками. Коньяк какой-то особой марки. У ректора была привычка начать говорить, вдруг прервать на полуфразе, выбежать из кабинета, оставивши собеседника одного, и опять, возвратившись, продолжать разговор. Говорили, что, выбегая, он всякий раз выпивает рюмочку... Чем больше ректор в разговоре волновался, тем чаще он выбегал.

«Вы занимаетесь репортерской работой?» —ректор произносил слово «рипóртерской» по английски.

«Рипóртерская работа мешает серьезным занятиям», — сказал он скороговоркой и выбежал опять. Вернувшись, спросил:

«Это вы написали статью о вреде высшего образования?»

«Да, я», — ответил Арсений. Он понимал абсурдность своей статьи, и вместе с тем ему было приятно, что статью заметили и что с нею уже связан скандальчик.

«Как вы могли? Студент пишет такую статью. Это позорит всю студенческую корпорацию. Это невероятно...»

Ректор опять выбежал из кабинета и, вернувшись, сказал:

«Совет университета возмущен вашей статьей. Понятно, существует свобода совести и мнений, но есть такие мнения, которых лучше не высказывать. Вы еще совсем молодой человек, вы потом будете жалеть о своих необдуманных поступках...»

На этом аудиенция кончилась.

* * *

Пробило шесть.

Арсений встал и быстро пошел вверх по бульварам, к Трубной площади.

«Она там!» — вдруг решил он, — «в Эрмитаже».

Прошел мимо ворот «Эрмитажа» с бульвара, замедлил шаги. Вышла пара и быстро села на лихача. Больше никого. Только дворник под воротами. Прошел за угол к другим воротам, с Неглинного. Сложилась уверенность, что Зина именно тут, за этими желтыми стенами и спущенными шторами.

Не думая, как это сделать, к чему это поведет, он захотел немедленно, сейчас же убедиться, что Зина там. Чего бы ни стоило.

«Войти туда?.. вломиться?.. Не пустят: туда пускают только с женщиной».

Остановился в нерешимости. По бульвару шла запоздавшая «девочка», пьяная, намазанная. Пошел навстречу.

«Здравствуй, коллега», — остановилась она. — «Пойдем, тут недалеко, против цирка».

«Я пойду, только не к вам, а вот сюда, в «Эрмитаж»..., хотите?»

«В «Ермитаж»?!.. Зачем в «Ермитаж»?.. Там один номер три рубля!»

«Все равно, пойдемте...»

«Не пойду... ишь, какой миллионер выискался!» — и она добавила целый набор вычурно-ругательных слов. — «У самого, небось, ни копья нет, а в «Ермитаж»... Знаем мы вас, жуликов...»

Арсений вынул пять рублей и показал ей.

«Вот возьмите, сами заплатите за номер...»

Та посмотрела недоверчиво на деньги, не взяла, выругалась еще раз и согласилась.

Вошли с Неглинного, прошли двором, мимо знаменитой кухни, теперь спящей, и позвонили в воротах с бульвара. Дверь сейчас же отворилась. Опытный глаз швейцара испытующе остановился на девочке, но та выдержала, не сказала ни слова, как будто протрезвела от такого необычайного события.

Идя полутемным коридором, Арсений нервно прислушивался. Все было тихо. Вошли в номер. Молча женщина стала раздеваться. Арсений остановил ее.

«Послушайте, подождите... не раздевайтесь...»

«Это почему?!.. Ты что-же сюда панафиду пришел служить?.. аль говеть?» — и она опять начала ругаться.

«Не шумите, пожалуйста...»

«Не шумите! Ишь, какой нашелся!.. Ты что-же, над женщиной измываться пришел?.. Не раздевайтесь, говорит... Я сразу видела, что на ракла напала!..»

Могло кончиться скандалом. Он решил притвориться пьяным. Сел на кушетку и закрыл глаза. Это подействовало успокаивающе. Женщина стала стаскивать с него тужурку, ругаясь вполголоса, ласково. Потом вдруг села рядом и заплакала. Что-то бормотала заплетающимся языком. Можно было понять из несвязных фраз, что эти номера «Эрмитажа» связаны у неое с каким-то романом. Ему она была противна.

«Подождите немного... я сейчас...»

Он опять надел тужурку и вышел.

* * *

Как бы ища уборную, он прошел по всему коридору туда и обратно. В одном из номеров ему почудился голос, он приостановился. Дежуривший в коридоре швейцар заметил это:

«Что вам угодно, господин студент?..»

Тут наблюдали тщательно. Всякой огласки и скандала боялись. Это своеобразное учреждение платило несколько десятков тысяч налогов, полиция получала подачки, и все-таки было очень доходно. Но случись один-другой скандал, и могли прикрыть. Все знали ресторан «Эрмитаж», и все знали при нем дом свиданий. О первом говорили, о втором говорить было неприлично. Но все было чинно, тихо и составляло неотъемлемое звено московской жизни.

Стены «Эрмитажа» могли бы рассказать многое,— много скандального, и трагического, и трогательного.

Номера были в три рубля, но были и в двадцать пять. И эти самые дорогие всегда были заняты.

Опасны могли быть случайные встречи в коридоре или у подъезда, и принимались все меры, чтобы предотвратить такие случайности. Когда одна пара входила или выходила, швейцар следил, все ли номера заперты, нет ли кого-нибудь у подъезда... На звонок приходил лакей, получал деньги, становился у дверей и спрашивал швейцара:

«Можно?»

Тот опытным глазом осматривал путь.

«Можно...»

Подъезд был не прямо с улицы, а в проходных воротах, чтобы в случае надобности был путь отступления.

Паспортов не спрашивали, фамилий тоже. Было только одно требование: должны быть мужчина и женщина...

Арсений знал здешние порядки. Даже если Зина действительно здесь, в одной из этих комнат, ему не удастся ее видеть без скандала. А он пришел сюда с решением увидеть ее.

Не отвечая швейцару, он прошел в уборную, и опять на обратном пути ему послышались голоса в той же комнате, уже более ясно, и именно голос Зины!..

«Игра воображения», — успокоил он себя и вернулся в номер. Его спутница, полураздетая, спала на кровати. Это его обрадовало. Тихонько он снял бо-

тинки, потушил электричество и стал у двери. Позвонили...

«Сейчас выйдут из какого-нибудь номера... Вероятно, именно, из того, где слышались голоса».

Он застыл в ожидании. Бесшумно нажимал ручку незамкнутой двери, чтобы можно было сразу открыть. Прошел кто-то, мягко ступая по ковру.

«Лакей понес счет... сейчас выйдут».

Сердце сильно билось, рука дрожала. Пьяная женщина на постели храпела.

* * *

Послышался звук отпираемой двери, шаги лакея, и еще через минуту-две опять шаги, очевидно, мужчины и женщины. Приближались к его двери.

«Если сейчас открыть, то столкнешься лицом к лицу... Открыть?! А если это действительно Зина?.. Что тогда сделать? Закричать, броситься на нее, схватить за горло ее спутника, убить... Ведь это же дико... какое же я имею на это право?» — пронеслось в мозгу...

Шаги у самой двери. «Уже поздно...» Рука так дрожала, что ручка щелкнула, и шаги как-будто ускорились. Открылась выходная дверь. «Еще секунда, — и они выйдут...»

Он быстро нажал ручку и приоткрыл дверь. У выхода, в конце коридора, были две фигуры — одна офицера, другая женская, такого роста, как Зина... похожая на Зину...

«Да, Зина, она несомненно, ее походка, ее фигура... такой же черный меховой жакет, как у нее... Но шляпа черная с желтым, — такой у Зины нет...»

Женская фигура быстро проскользнула в дверь, ее заслонил офицер. Арсений видел обоих только сзади. Он затворил дверь и опустился в кресло.

«Это она... она...»

Комок подступил к горлу.

«Неужели это она?! Неужели Зина могла это сделать?!»

Чем яснее было, что это Зина, тем больше хотелось найти сомнение, уверить себя, что это ошибка, случайное совпадение. Доказывал себе, что было бы чудом угадать — притти именно в «Эрмитаж» и точно в то время, когда они будут выходить, и из сотен людей, которые здесь бывают за ночь, наткнуться на них на первых...

«Игра воображения... Так видят привидения и духов... Человек с взвинченными нервами может видеть то, что ему хочется видеть... или то, что он боится увидеть».

Старался убеждать себя, а росла уверенность, что это была действительно Зина.

* * *

Это была его первая серьезная связь. О возможности разрыва, о конце их любви он не думал. Планы строились надолго вперед, и особенно она, Зина, любила говорить об их жизни в дальнейшем, когда он кончит университет, поступит на службу. Непременно в Москве. Уже намечалось, куда именно, подготовлялись связи.

«И неужели вдруг крушение всего?!.. Так гадко и так неожиданно. Как deus ex machina»,—нелепо пришло в голову. — «Какой тут deus ex machina! — к чорту эту погоню за ученой начинкой, к чорту стремление к самообразованию, знаниям, науке. Нужно другое... Ясно и просто. Деньги, деньги, проклятые деньги... Богатство. Без него жалкая жизнь... Ей надоели мои лекции, ей хочется жить. Наряды, бриллианты, скачки, Париж, Монте-Карло... Как живут подруги. Хотя бы эта маленькая Кулябкина с миллионером-виноторговцем... Только что вернулась с Ривьеры, рассказывала о карнавале, об их вилле, о нарядах, много привезла из Парижа...»

«Но эта шляпа?! Я знаю наверно, что у Зины нет такой... Я — жалкий студентишка, а рядом столько богатства. Первый ряд в балете — сколько там воз-

можностей. И я, мальчишка, молокосос, со своими двадцатью пятью рублями, хочу удержать Зину в своей меблированной комнатушке! Надо сразу все бросить, не лезть, куда нельзя... Нужно сделать деньги. Ахаевы всегда будут наверху. Они возьмут все, что хотят... любую женщину. Им смешны такие, как я. Мне самому было бы смешно на их месте... Когда будут деньги, тогда никто не уйдет, тогда осталась бы моей и Зина... и всякая другая. И Китти...»

Мысль о Китти вдруг немного успокоила.

Он посмотрел на часы. Уже восемь. Надо уйти отсюда поскорее — потом неловко будет выходить с этой женщиной. Она по прежнему спала, громко всхрапывая, что-то бормоча иногда. Он стал будить ее. Та, наконец, сообразила, что надо одеваться. Она стала припоминать, как попала сюда, и удивленно смотрела на Арсения.

«Все равно, дай деньги... Сам виноват, чего манежился... время провела», — говорила она, протирая глаза и поправляя съехавшую на бок накладную прическу, сухую, как набивка матраца, совсем иного оттенка, чем ее собственные волосы.

«Вот, пожалуйста, возьмите», — протянул он рубль.

«Ты что мне даешь?.. Дай полтора рубля... Из-за тебя целую ночь потеряла».

Дал два рубля. Она спрятала их в чулок и уже более спокойно стала доканчивать туалет.

«Дай еще тридцать копеек на извозчика», — сказала выходя.

Арсений в воротах быстро попрощался и почти бегом, через двор, вышел на Неглинный.

* * *

Оконин жил в тех же меблированных комнатах, где и Арсений, но занимал две больших комнаты, самые лучшие.

У Окониных были суконные фабрики. Уже третье поколение жило в своем доме в Замоскворечьи — гро-

мадном, мрачном особняке с большим садом. Там лежал теперь больной отец Оконина, разбитый параличем. В доме было тяжело, напряженно, и сын не хотел там жить. К тому же натянулись отношения с отцом. Отец и предыдущие поколения копили, а сын тратил без удержу и не хотел думать о деланьи денег. Оконин изредка ездил в Замоскворечье, но с отцом не виделся, а вел переговоры и получал все нужное через старую няньку.

Утром часов в девять Арсений постучал к нему, — ответа не было. А ему было жутко оставаться одному.

Пошел к себе, лег опять, но заснуть не мог. Проворочался с час, снова встал, оделся и решил сейчас-же пойти к Зине и выяснить.

Зины не было дома. Мать заявила, что «Зиночка ночует у тетки, в Грузинах...»

Будто бы она вчера была на балу в Дворянском Собрании, будто условилась заранее с кузиной ехать ночевать туда.

Мать Зины, лживая и циничная, верила только в одного Бога — деньги. Имея их в виду, она хлопотала, чтобы Зину приняли в балетную школу, когда той было всего семь лет. Нашла протекцию у старичка-балетомана, отставного сановника. Зина десятилетней девочкой ездила гостить к нему и должна была соглашаться на его ласки.

«Голь, шмоль и компания...» — говорила она про Арсения. — «Тоже, туда же, в балет лезут. Не по носу табак... Балет для богатых и знатных, а не для всякой шушеры... Кулябкина как живет!.. Карташева с миллионером... Больт — с миллионером... Да еще князья да графы при этом...»

* * *

Арсений ей не поверил. Осталось то же сомнение. «Была это Зина или не Зина?»

Еще с полчаса ходил около дома, поджидал. Вдруг явилась новая надежда, новый довод, что он ошибся:

«Зина уехала из «Эрмитажа»,—если это была Зина,— без четверти восемь: где же она сейчас? Она давно должна была приехать домой, теперь уже половина одиннадцатого...»

Решил взять себя в руки. Зине ничего не говорить, не показать вида, что подозревает, и ждать удобного момента, чтобы выпытать.

Решил пойти в университет, но с пол-дороги вернулся и опять лег спать.

Заснул тяжелым сном.

В детстве кто-то рассказывал ему, как ехал в первый раз по железной дороге и как ему вообразилось, будто вагон стоит на краю огромной тарелки, и тарелка быстро вертится, и все предметы вблизи бегут в одном направлении, а вдали — в другом; и не вагон, не поезд движется, а вертится эта громадная тарелка в обратную сторону.

Теперь во сне казалось, что все около него вертится с увеличивающейся скоростью, и он несется куда-то, и все на него рушится, падает...

Проснулся в поту, и во рту был кислый вкус, точно только что ел лимон: это было связано одно с другим — кошмар и кислый привкус...

* *
*

Было уже восемь часов вечера.

Постучал опять к Оконину, но и на этот раз ответа не было.

Швейцар сказал, что Оконин дома не ночевал и днем тоже не возвращался. Арсений позвонил по телефону к Павлику, но того тоже не было дома. Вышел на Тверскую, дошел до кофейни Филиппова, выпил кофе и опять вернулся к себе. Через три дня у него был экзамен. Хотел заниматься, взял книгу и бросил.

Стал рыться в ящиках стола, не зная, куда девать себя. Вытащил большую тетрадь в черном клеенчатом переплете:

«Моя автобиография».

Исписана была вся тетрадь вдоль и поперек, и вложено много отдельных листиков. Всякий раз, когда случалось что-нибудь чрезвычайное, что, казалось, перевертывало жизнь, он писал эти воспоминания. Уже года два.

Он перебирал клочки с заметками, записочки, письма Зины, других женщин, и казалось, что кончился какой-то период жизни, что вступает в новый, совсем иной. Может быть, еще более трудный, еще больше будет щелчков судьбы... А может быть, более удачный, потому что теперь он знает жизнь... О, он знает людей!.. Больше не сделает тех ошибок, которые столько напортили в прошлом. Через месяц кончатся государственные экзамены. Начинается новое..

«Желтая шляпа...» — врывалось опять. — «Я узнаю во что бы то ни стало... Сегодня среда. После балета она приедет, и я поймаю ее на лжи, если она будет лгать».

Стал писать в тетрадку, то на одной странице, то на другой, и решил ее теперь же непременно закончить, отделать и напечатать под названием — «Мое детство». Перечитывал, вычеркивал то одно, то другое.

Точно кусочки самого себя отрезал. Было много рассуждений, философствований, — все вычеркивал, оставлял одни факты.

Всего семь-восемь лет отделяли его от последних моментов, записанных в рукописи. А казалось, что это было давно-давно... Он совсем другой, совсем непохожий. Даже по внешности не узнать в нем прежнего Арсения. Среда, из которой он вышел и где он вырос, стала чужой, далекой...

* * *

«Может быть, он уже на Остоженке?» — подумал Арсений. Оконин собирался переехать на лето к Ивкову. Дядя Ивкова, генерал, командовал войсками московского округа. Ему полагалась громадная казенная квартира на Остоженке, в тридцать комнат. Тре-

тьего дня семья дяди переехала в лагерь под Москвой, Ивкову и Оконину предложили поселиться на лето в городской квартире. Однако, из квартиры денщик ответил, что Оконина нет и не было.

Зина не приехала, но часов в двенадцать позвонила по телефону из аптеки Манечка, ее сестра:

«Зиночка приехала после второго акта. Театральный доктор ее домой отослал, у нее жар... Мамочка напоила ее малиной и уложила спать... Зайдите завтра утром, Зиночка просит».

Арсений всю ночь просидел за своей рукописью.

* * *

Оконин вернулся только на следующий день и сейчас же зашел к Арсению.

«Где ты пропадал две ночи?»

«Охотился на тигров... Опасный спорт, но зато изумительно интересный. Сейчас еще сердце бьется учащенно, подъем и повышенное давление крови...»

«Не ломай дурака...»

«Что я сказал, то я сказал... А засим в Москве тоже можно охотиться на тигров, впечатление еще сильнее, чем в джунглях».

Арсений так ничего и не добился, не мог понять, что это за странная шутка...

III-IV.

ДЕТСТВО АРСЕНИЯ

(его исправленная рукопись)

«Обмакни перо в твое сердце и пиши».

(Пометка Арсения на рукописи).

Мой отец умер, когда мне не было еще трех лет. Я совсем не помню его лица. Если бы не рассказы и фотографии, то я не мог бы даже сказать, был ли он блондин или брюнет, с бородой или без бороды, большого росту или маленького.

Один только эпизод остался в памяти.

... Я стою в маленькой темной передней и плачу. Кто-то, рядом в зале, сидит в покрытом белым чехлом кресле и чего-то от меня требует... Я плачу и не хочу исполнить. У него в руках розга. Он подзывает меня к себе, кладет на колени и сечет..

Это я утром отказался молиться Богу. Нянька всячески уговаривала меня, чтобы я просил: «Боженька, помилуй папашу, мамашу, брата Мишу» и т. д., но я категорически отказался и твердил только, что «волк и медведь съест, если я буду молиться...» Мать тоже ничего не добилась, и тогда меня повели к отцу.

Из вещей отца у меня оставался только вышитый бисером башмачек. Он висел на стене около кровати, чтобы на ночь класть в него часы. На башмачке были вышиты в зеленом веночке две голубые буквы: «П» и «Ч». Я долго ломал голову над значением этих букв: имя и отчество отца начиналось с «П» и «Т» — Павел Тихонович. Прошло много лет, пока тайна этих букв открылась. Объяснила, наконец, одна наша дальняя родственница, она знала когда-то и самого автора башмачка: «ПЧ» значило — «посмотри часы»...

* * *

Еще одно из ранних воспоминаний. Не радостное, — радостных я припоминаю очень мало и в дальнейшем. Мне никогда не хочется, как другим, вернуться к детству.

... Какой-то странный день. Солнце мутное, серое. В нашей столовой солнца не бывает и в обыкновенные дни, оно всегда заслонено грязной стеной соседнего

дома. Из окон висят всегда какие-то тряпки. Стена так близко, что, мне кажется, я могу достать ее рукой... Когда на дворе солнце, все пятна и облупившиеся места резко очерчиваются. А сейчас они сплылись в одно большое серое пятно, хотя солнце есть... День необыкновенный: мне скучно, больно, хочется плакать...

Это я накануне нашел вишни, вытряхнутые из бутыли с вишневкой, забрался с ними по скользкой железной лестнице в приказчицкие комнаты и все съел. Потом спал до вечера следующего дня. Потому утро такое странное. Это не утро, а солнце уже садится... У меня, вероятно, болела голова и тошнило...

Моя нянька клала меня, — потом говорили, — на жаркую лежанку и поила маком, когда я не хотел спать. Это обнаружилось только много позже, когда она ушла. Вероятно, страшные сны снились после мака. Вероятно, потом тоже болела голова и тошнило, я плакал и капризничал: вероятно, думали, что я болен, и еще больше кутали, еще больше топили лежанку и поили слабительным...

* * *

... Девочка Поля. Она почему-то живет у нас. Она не прислуга, но и не своя.

Ее родные там, где мы живем летом. Поля спит за занавеской под железной лестницей и всегда сползает с подушки вниз. Нянька говорит, что поэтому она скоро умрет. А кто лезет ночью вверх, тот будет долго жить...

Поля показывает удивительный фокус: она вкалывает иголку себе в ногу и колотит по ней деревянной ложкой, пока иголка вся входит в тело. Я тоже попробовал, но было очень больно.

У Поли есть сахарный цветочек, а у меня два таких. Они с тортов.

... Какая-то чужая женщина зовет меня итти с ней и обещает дать еще такой цветок. И я иду, куда-то далеко, где раньше никогда не был...

Деревянный серый дом, с зелеными окнами, вход с лестничкой снаружи, а наверху, под крышей, открыто окно, и кто-то из этого окна меня зовет... Этот дом я недавно видел во сне и тогда вдруг припомнил, что такой был в действительности. Полю я всегда помнил, а этот дом никогда раньше не вспоминал...

Поля уехала потом к своим родным и там умерла.

* * *

Читать меня начали учить рано. Я наклеивал и разрезал большие складные буквы, под руководством Ирины Антоновны. Она где-то служила, и мы ей ничего не платили, а давали только комнату за занятия со мной.

Из области воспитательной мне было преподано — шаркать ногой, когда здороваешься, и не класть локтей на стол. Целый день я был предоставлен себе самому: рылся на грязном общем дворе, лазил по крышам, устраивал неприятности соседям и прохожим на улице. Помои у нас сливались в большой обрез от ворвани, — это был мой пруд. В дождь его опрокидывали, получалась большая вонючая лужа, — на ней я устраивал плотины и пускал корабли.

У меня была манера каждому говорить неприятное, и меня не любили.

Наука Ирины Антоновны заключалась в заучиваньи наизусть. Лишь бы больше заучить.

В одной из басен была опечатка: «Собарсенька у льва кусочек урвала».

Я полюбопытствовал узнать, что такое «собарсенька».

«Это такой маленький зверек, вроде зайчика», — пояснила она, и я много лет повторял «собарсеньку», ни разу не догадавшись, что это ничто иное, как «собаченка».

Из этой же книжки я заучил стихи — «Железная дорога и проселок»:

«Конь не конь, сороконожка,
По дорожке той ползет...»

«Конь-не-конь» я соединил в одно слово и воображал его действительно чем-то вроде сороконожки, тем более, что он «ползет»...

Еще как-то попался мне томик Лермонтова, где была поэма «Мцыри». Еще не читавши, я побежал к Ирине Антоновне спросить, что это такое «Мцыри». Та немножко задумалась, но потом сказала:

«Мцырй — это такой народ, вроде как грузины, цыгане».

Я вполне удовлетворился. Только недавно узнал, что это не народ!

* * *

Я научился писать свою фамилию немецкими буквами и хвастался на дворе Федьке: на того это произвело действительно большое впечатление, но, подумавши, он сказал:

«А я сильнее!.. Вот хочешь, я тебе морду набью?»

Кто-то объяснил мне, что можно писать теми же немецкими буквами и по французски, и по испански, и еще на разных языках.

Мы уехали на лето в деревню и, беседуя там с Юркой, я подчеркивал ему, какой он необразованный:

«Ты вот неграмотный, а я могу расписаться на восьми языках... Хочешь, напишу по испански — Аристархов?..»

«Вы ученые, правда, паныч», — ответил, сплюнувши, Юрка, но все-таки мне казалось, что это его мало трогает.

Юрка рыл канавы. Ничего поденного он работать не хотел, только сдельное, за сажень канавы — столько-то. Он предпочитал делать двойную работу за те же деньги, но только, чтобы никто над душой не стоял: хочу — сяду, хочу — курну́, — говорил он.

Нарывши, сколько нужно, Юрка уходил куда-то

надолго, до конца лета, и о нем ходили таинственные слухи.

«Дурной человек», — говорила тётка Анисья. — «Чего же ён так урядника боится?.. Как услышит, что едет, так и сховался и деньги оставил... Скоромное в пост лопает...»

Как-нибудь, около Успенья, Юрка опять выростал, как из-под земли, к моему удовольствию.

* * *

Уже поспевала рожь. Ходила волнами, голубела васильками. На колосьях появились большие черные рожки. Мне они очень нравились. Я собирал их и ел. По межам густо росла трава, — было дождливое и теплое лето. Я и хотел, и боялся встретить барсука, — он бегает по межам.

«Только по ночам ён бегает», — сказал дядя Гаврила.

«А вы много раз видали, дядя?»

«Много... Бегит, хрюкает, а спина светится, как огнем».

«Почему светится?»

«Потому что ён оборотень. С нечистиком знается...»

Дядя Гаврила больше ничего не хотел говорить. Не надо говорить о таком, может беда случиться. Вообще лучше не вспоминать о нем, а если встретится, — итти своей дорогой, как будто не замечаешь. Тогда вдруг пропадет.

«А какие еще оборотни бывают?»

«Разные бывают, но ты лучше об их поменьше говори. Подальше от такого».

«А вот бы все-таки пойти ночью по межам. Интересно бы увидеть, как это спина светится... Страшно только одному. А когда несколько человек идет, он не показывается... Еще есть светящиеся гнилые пни, но тоже видно только по ночам. На Ивана Купалу папоротник цветет», — вспоминал я рассказы.

«Вы, дядя Гаврила, видали, как папоротник цветет?»

«Я не видал... Другие видали. Видали, да не схватили. Под им ведь клад».

«Клад?»

«Клад. Только простыми руками не возьмешь, заговор на ём».

«А заговор знает кто-нибудь?»

«Кто знает? Колдуны знают, которые нечистику душу продали».

«А что, если бы продать душу нечистику, вот бы интересно», — думал я в это время, но дяде, понятно, не говорил. — «Нет, потом на том свете вечно мучиться. Нет, сохрани Бог и помилуй... А стал бы богатым, — сколько угодно золота, все клады мог бы вырыть!.. Почему другие родились детьми богатых, а я нет? Как им хорошо!.. А еще лучше царским детям, или великих князей... Это уже не изменить. Родился, так родился...»

Через некоторое время мрачное настроение проходило. Я решал:

«Во что бы то ни стало буду миллионером... Буду, буду... буду!..»

* * *

Там, где мы жили летом, недалеко от нашего города, было озеро. Маленькое, но когда-то чистое и живописное.

На другой стороне рос старый густой лес: его вырубили до последнего дерева.

Там же, где брали воду для питья, — стирали белье: тут же стояла баня, и грязная вода текла в озеро. Тут же поили и купали скот. В результате у всех были глисты, и от них лечили, ставя на живот горшки и давая внутрь воду, настоенную на угольках из семи печей.

После того, как скашивали клеверное поле, туда пускали скот. О том, что это опасно, что от неумеренной еды у животных бывают «колики», не знали.

При коликах под кожей образуются от напухания артерий желваки, и эти желваки движутся. У нас звали эту болезнь «мышки» и были уверены, что под кожу залезли полевые мыши и что их надо кусать... Кусали зубами через кожу, и при этом кусать должен был непременно «первый», то-есть тот, кто в семье родился первым. Так как я не был первым, мне кусать не давали, а мне очень хотелось...

Порезы и нарывы прикладывали столетником и паутинкой. Потом долго гноилось и не заживало.

Когда болела голова, привязывали к вискам куски селедки. Чтобы свести бородавку, надо было потереть ее ниткой и нитку бросить: — кто подымет, к тому перейдет бородавка...

* * *

Лучшим днем в году были мои именины.

На несколько лет вперед был у меня составлен список, в какой день приходятся именины. Уже за месяц отчеркивалось в календаре, сколько еще дней остается.

Но вот желанный день...

Встаю радостный: боялся, что случится дождик, а день яркий, солнечный. Это солнце я вполне связываю со своими именинами: об этом я молился Богу уже несколько дней, и если бы солнца не было, то только из-за личных отношений ко мне со стороны Бога... Нужно ли молиться еще и сегодня? — да, нужно, а то к вечеру соберется дождь. Потом, дальше, можно будет и не молиться, важно сегодня... Но ведь Бог понимает этот мой расчет, он все знает?.. Нет, лучше обещать, что и потом буду молиться... можно обещать, а там видно будет... Нет, так нельзя, надо искренне, ведь Бог знает все мои мысли... Лучше не думать об этом... Бегу в сад на черешню.

Самое лучшее — есть черешни прямо с дерева. Но там, где особенно крупные и спелые ягоды, сучья тонкие и постоянно ломаются. Сегодня за это, именинника, не станут бранить, надо пользоваться случаем.

Побежать ли на берег озера? Озеро сейчас за садом — мое любимое место. Вопрос в том, что на берегу надо быть босиком, все время лазить в воду, а сегодня это не подходит. Не пойти тоже нельзя: вчера напустил рыбы в мое озеро, и нужно посмотреть, цела ли... «Мое озеро» — это выкопанное мною на берегу общего озера. Неприятностей с ним не мало, — на днях в него попала корова, рыба постоянно исчезает... Игнат уверяет, что это таскают коршуны, а я подозреваю, что это он сам...

За обедом пирог с двумя фаршами — половина такого, половина такого. Дяди и тетки обедают сегодня у нас. Они — дальние родственники, а может быть и вовсе не родственники, но их все зовут дядями и тетками. Зиму и лето они живут здесь.

Старая, глухая тетка Анисья принесла в подарок желтый топлёный сыр. Дядя Гаврила — зеленый мед. Зеленый мед целебен и очень хорош со свежими огурцами.

Меня интересует вопрос: — почему дядю Гаврилу не кусают пчелы?.. Со мной обратное: — стоит пойти за черной смородиной, насаженной зачем-то именно около пчелиных колод, непременно обкусают. Убегать и кричать еще хуже.

Дядя говорит, что не надо бояться, тогда не укусят: я пробовал не бояться, но все равно кусаются...

* * *

Мы с матерью уезжаем из деревни. Конец каникул. Отъезд, как всегда, печален. Мне хочется в город, но страх гимназии все покрывает. Опять томительные скучные уроки, опять меня будут стараться ловить на том, чего я как раз не выучил. Опять враждебные и насмешливые товарищи по классу. Теперь я знаю, что сам был виноват в их отношении ко мне, но тогда мне никто не сказал этого. Я винил их, злился, и мне было тяжело и трудно в гимназии.

На окне в «альтанке» (домик в саду) бьется хорошенькая сине-золотистая стрекоза. Такая уже есть в моей коллекции насекомых, но все-таки я хочу поймать ее и проколоть булавкой. Маленькие стекла в окне белые, желтые и красные. Когда стрекоза попадает в желтое стекло, она совсем другого цвета...

Вдруг меня берет сомнение: — зачем я убью ее, она ведь тоже хочет жить?!.. Я стою в раздумьи около окна, уже одетый ехать, и колеблюсь. Мне так печально уезжать, покидать этот старый сад, эту маленькую, неудобную, всего в две комнатушки «альтанку». И жалко «стрелку»...

«Иди скорей, Арсений, надо ехать», — зовут меня. Я еще раз пристально смотрю на «стрелку» на желтом стекле. Навертываются слезы, и я бегу садиться в телегу, чтобы ехать на станцию... В телеге полным полно набито всяких корзинок и узлов, но самое ценное для меня — ящик с насекомыми. Я везу его в руках. Никто не понимает, как он ценен для меня...

Накалывая бабочек на булавки, я злился, когда они не сразу умирали от серного эфира и, вертясь на булавке, стирали себе крылышки. Особенно живучи были ночные бабочки. Но иногда на меня находила жалость. Много пчел тонуло в озере: возвращаясь с медом из-за озера, они не долетали до берега и падали в воду, потом их прибивало к берегу волной. Я вытаскивал мертвых, осторожно нес вглубь сада, где никто не увидит, и делал им могилку. Срывал две большие красные мальвы, покрывал одну другой и туда клал пчел.

Вокруг мальв я накладывал много других цветов и еще внутрь бросал несколько лепестков.

Однажды две пчелы, пролежавши несколько часов, ожили. Я был счастлив, но, к сожалению, никто не понимал моей радости...

* * *

Мой старший брат был алкоголиком и допился до белой горячки. Когда он лежал больной, было весело,

и я не мог понять, почему это другие боятся его. Он ловил на обоях человечков и чертиков, разговаривал со стаканом, читал нотацию мухам на окне... Мне запрещали входить к нему, но я тайком все время бегал. Двое сильных мужчин не могли его удержать во время буйных припадков, но меня он не трогал и узнавал.

«Видишь, чертик там сидит?» — показывал он на обои. — «Красненький, а глазки зеленые...»

«Вижу».

«А вон другой, зелененький!.. Я сегодня ночью одного съел... кисленький...»

Мне казалось совершенно естественным, что чертик кисленький. А ангел должен быть сладкий.

В один из буйных припадков Миша стал все бить и ломать. Я очень испугался и больше к нему уже не ходил.

Выздоравливая, он просил все время водки. Кто-то посоветовал достать живую щуку и пустить ее в миску с водкой, чтобы она там издохла, и потом этой водкой поить. Миша выпил несколько таких мисок, и ничего не помогло. Я приносил ему большую чашку водки и наблюдал, как он с жадностью пил. Я все ждал, когда у него из горла появится синий огонек, — говорили, что все внутри у него сгорело...

Но огонька не было.

* * *

Наш сосед Шёлков сошел с ума. Он, вероятно, давно был ненормален, но обнаружилось это курьезно. Шелков был старостой собора. В какой-то большой праздник он, как всегда, стоял на клиросе. Хор должен был запеть сейчас «херувимскую», и регент давал тихонько тон. В этот момент, среди тишины, вдруг громко на всю церковь Шелков запел петухом...

Это самое яркое, что у меня осталось от церковных впечатлений.

В церковь заставляли ходить очень часто и выстаивать всю службу. Было очень скучно. Кроме церкви,

я ходил еще в моленную дедушки. Вся наша семья, — и со стороны отца, и со стороны матери, — были старообрядцы, «раскольники», а отец и мать приняли почему-то единоверие и меня тоже перекрестили. Это поселило в семье раздор. Родственники стали относиться к нам враждебно. Мать лишили наследства. Споры о религии, миссионеры, священники и наставники наполняли мое детство. Вся жизнь дома была пропитана религией, религией трудной, печальной, жуткой...

* * *

Мы сначала жили в своем доме.

Низ и подвал были заняты товаром. На третьем этаже жили приказчики, и там же стояли «магли» для катанья белья. Когда катали белье, таская ящик, нагруженный большими камнями, весь дом дрожал, и я все ждал, когда же, наконец, провалится потолок.

Там же наверху жил всегда Миша.

Мы занимали второй этаж. Все комнаты были маленькие и полутемные, кроме одной большой, зала. В этой комнате жили меньше всего, и она была самая лучшая. На окнах в зале висели накрахмаленные гардины, подвязанные ленточками; на стенах были два приложения к «Ниве» в золотых рамах, и между окон стояли большие трюмо с потускневшими зеркалами.

В зале играли в стуколку, пока был жив отец, в нем же он лежал умерший. Один раз за все мое детство в нем играла музыка, три еврея-скрипача, те самые, что играли на еврейских свадьбах и в трактире Дегтерева. Брат дал тогда клятву, что бросит пить, и в день его именин устроили танцы.

Назавтра он опять запил, и его нашли через день полураздетого у арфянок.

Музыкальных инструментов у нас в доме не было. Даже насвистывать не позволяли, так как это грешно. Когда свистишь, нечистика зовешь. У одного из приказчиков была гармоника, и вечером, после запора лавки, он иногда наигрывал на ней:

4*

«Из лесочка, два стрелочка...»

или —

«Две девицы шли гулять,
Шли гулять...»

Если кто-нибудь был дома, снизу кричали, что завтра праздник, или что постный день, или просто «чего его там нечистик колотит», — и он умолкал.

Посты были полгода — Большой, Успенский, Рождественский, Петров. Среда и пятница были постными днями круглый год, а у дедушки был постным и понедельник, «по обещанию».

* * *

Многое мне выяснилось потом из рассказов.

Меня туго пеленали, не давали двигаться, а то могу расцарапать себя. Другие могли свободно барахтаться в люльке, а меня скручивали! Мать и нянька думали, что так лучше. Испортили зрение, держа все время в темноте. Еще совсем маленьким, я не видел уже того, что видели другие. Не понимал еще, в чем дело, но оказывался в обидном положении. На каждом шагу из-за этого было какое-нибудь унижение. Шелковский Лешка особенно обижал меня. Так гадко, противно: — высморкается в руку и разотрет мне по лицу, а когда я погонюсь за ним, «подставит ножку». Я упаду, а он убежит и издали еще насмехается, что я бегу умыться.

Он был ловчее меня, потому что он хорошо видел. Сколько раз я плакал из-за Лешки! Так, чтобы никто не видал, плакал.

Что у меня глаза плохо видят, я узнал в первый раз, когда мне было лет семь. Другие видели из окна столовой, что делается в соседнем окне у еврея-портного, видели там лица и говорили о них, а я никаких лиц не видал.

В гимназии я сидел на первой парте и все-таки не

видел, что на доске. Отвечаю невпопад, — надо мной смеются. Я иду по коридору, а приготовишки кричат:

«Микроскоп»! Ми-кро-скоп!» — и прячутся. Это из-за моих толстых стекол так прозвали. «Ми-кро-скоп!» Для меня не было более обидного слова. Прибегал домой, запирался и плакал. Я всегда домой бежал, а не шел.

* * *

Лучше всего было в нашей лавке. Тут я все знал наизусть, где что лежит. Железо, ворвань, мешки с мелким луком и суперфосфатом. Тут никто не трогал. Рылся где-нибудь в темном углу. Перекладывал бруски для точки кос. Строил из них башню...

Непроданый лук быстро проростал, его рассыпали в рогожах на дворе, а то и прямо на улице и ножницами обрезали зеленые ростки, а гнилой выкидывали. Я тоже обрезал. Мне нравился этот пряный запах начавшего гнить лука.

Запах ворвани я тоже любил, и из-за этого потом мне нравился запах кожи. Другие бранились на «вонючие сапоги», а мне как раз этот запах был приятен.

Я старался перехватить какого-нибудь покупателя ворвани, выхватывал у него бутылку и пять копеек и бежал в подвал отмерять из большой бочки. Иногда просил приказчика: «дай мне, я отмерю...»

Один раз провалился в погреб, не заметивши, что люк открыт, — его как раз сделали в проходе. Сильно разбился, но все равно опять бегал тут каждый день.

Мешки с суперфосфатом стояли «для образца» открытые. Я тоже залезал рукой в мешок суперфосфата и разминал пальцами серый жирный порошок, как это делали Говорчук и покупатели мужики. Но у меня потом краснела кожа, руки были, как обожженные. А у Говорчука ничего. Казалось, ничто их не возьмет. Однако, один раз он снимал с верхней полки тяжелый «фунтовый» самовар и пробил себе ладонь. Сделался нарыв. Долго у него болела рука, доктор резал не-

сколько раз, дорезал до кости. По ночам Говорчук не мог спать, ходил целую ночь наверху по комнате, укачивал свою руку и пел что-то тихонько. Несколько ночей так пел. Но в лавке все равно торговал с утра до вечера. Только ему доверяли ключи...

Я умел уже различать по виду самовар штучный от фунтового, но заворачивать их так, как делал Говорчук, не мог. Даже и не пробовал. Это было слишком трудно и скучно. «Я торговцем все равно не буду», — думал я.

* * *

Говорчук мужикам всегда говорил «ты», и так выходило лучше:

«Тебе, дядя, нужóн самовар аль дешево?.. Ты вот в нутро погляди, решетку видишь? Видишь, медная... А у жида купишь, он табе в вес чугунную всучит... Воронцовский самовар, понимаешь?»

И мужик покупал фунтовой, хотя дороже.

Офицерам и чиновникам Говорчук продавал штучные.

«Им абы дешевле... Деньщик мучаться будет».

Вообще лучше всех других, шуточками и прибаутками, Говорчук умел продать шлею, супонь или мешок суперфосфата.

«Пойди рядом... Там на гривенник дешевле купишь. У нас тебе невыгодно. Гривенник не доплотишь, на десять рублей не выростет».

Мужик колебался.

«Что? Решиться не можешь?.. Поезжай, привези бабу твою, она за тебя решит».

Мужик опять тер между пальцев серый едкий порошок, нюхал, смотрел на свет, но все-таки не решался.

«Да ты петуха видишь?!»—опять вступался Говорчук.—«Клеймо на мешке видишь?!.. Ты пойди к другим и спроси с петухом. Табе с соломоновой печатью продадут на гривенник дешевле... Ты с петухом требуй. Соломонова печать для синагоги хороша, а не для пшеницы... Эх, ты, дядя, деревня!..»

Петух, наконец, убеждал. Покупатель еще раз растирал порошок в заскорузлых пальцах и покупал с петухом.

«Вот разве я таким фабрикантом, как Воронцов, сделаюсь»,—думал я.—«А может быть, он не миллионер?.. Нет, я буду ученым и миллионером», — решал я окончательно.

* * *

У Шелковых было четырнадцать человек детей. Они все жили на третьем этаже, а отец и мать—во втором. Во втором же был зал, как и у нас. Даже расположение комнат было такое же, только у них было больше комнат.

Мать их, сердитая и грубая, с синим лицом, знала только одно воспитательное средство — «драть!» Над кроватью у нее висела большая ременная плетка. Когда поднимался излишний шум, она снимала плетку, являлась неожиданно наверх и хлестала правых и виноватых, своих и чужих, кто там был.

Иногда она предварительно кричала снизу:

«Тише!.. пропаду на вас нету...»

Взрослых дочерей она звала — «коровищи» и «кобылищи» или Манька, Танька, и только имя младшей никак не могла огрубить должным образом. Ее звали Нимфа, Нимфодора Митрофановна. Пробовала она ее звать Нимфёхой, но это казалось еще не достаточно грубо.

* * *

В подвале у Шелкова был застенок. Туда он водил провинившихся мальчишек из лавки и бил их по голове осташами. Так у нас звали сапоги из нечерненой кожи, Шелков торговал ими. В каблуках осташей были большие гвозди с выпуклыми острыми головками, но бил он только голенищами по лицу. Сразу можно было узнать, кого побил Шелков: — лицо пухло.

Один раз поймали в лавке вора. Его били уже каблуками, и он все просил:

«Простите Христа ради... простите Христа ради...»

Шелков продолжал бить и говорил, задыхаясь:

«Ишь ты, Иуда христопродавец... А ты Христа помнил, когда шлею крал?..»

Лешка Шелков был особенно отчаянный. Он поймал как-то крысу, облил керосином, зажег и выпустил. Крысы бросились в соседний подвал, где жил еврей-сапожник с многочисленной семьей, и был необычайный переполох и гвалт. Весь двор переполошился, и долго потом об этом говорили.

«Что он еще такое выдумает интересного?» — ждал я, но не решался спросить его.

* * *

На дворе у Шелковых сидели в будках четыре большие собаки, голодные и полузамерзшие. Собаки по ночам неустанно выли, и у нас часто говорили:

«Надо пойти посмотреть, как воет...»

Если собака смотрит вниз, значит к покойнику; если вверх — пожар будет.

У нас были на все приметы, и всегда мрачные. Все сулило беду. Сны тоже были всегда не к добру: — или из родных кто-нибудь помрёт, или болезнь будет в доме, или кража...

Примет было много. Бабу встретишь с пустыми ведрами — разоренье. Мыши скребутся — из дому уходить. Три огня — смерть. Ласточка в дом залетела — смерть принесла. Зеркало разбилось — тоже смерть. Вши завелись — к беде...

Больше всего боялись сквозного ветру: — от него все болезни и заразы. Никаких дел нельзя было начинать в понедельник, тоже и в пятницу. Когда зеваешь, рот обязательно крестить, иначе нечистая сила влетит. Нечистик все время караулит удобный момент...

На ночь у постели ставилась кружка с квасом. После постной еды, соленых огурцов, селедок, грибов,

кислой капусты ночью мучила жажда. Кружку надо было перекрестить и чем-нибудь накрыть, хоть палочкой, карандашем или расческой. От нечистика: иначе он наплюет туда, и будут всякие болезни.

Были приметы на войну, на голод, даже на скорый конец света. Все было пропитано страхом, надвигающимся несчастьем, ожиданием недоброго. За все грозило наказание свыше, на этом свете и на том.

Я особенно боялся страшного суда. О нем часто говорили и по многим явлениям выводили, что «настали последние времена». От этих разговоров на меня нападал страх, я вскакивал ночью с постели и подолгу молился перед лампадкой или отбивал земные поклоны.

Я боялся красного вечернего зарева. Мне чудилось, что это начинается светопреставление. Я бежал к себе в комнату, брал припрятанную конфету или апельсин и дарил его кому-нибудь, чтобы, пока еще не поздно, заслужить себе прощенье на том свете...

Особенно по ночам бывало страшно. Я брал руку матери и только так, держа ее, засыпал. Но она меня не ласкала. Она любила меня по своему, по аристарховски, неласково. Религиозная борьба, суровый религиозный режим, оставляли свой след на ряде поколений. Скопили душевный холод.

* * *

Иногда мне давали две-три копейки на сласти. Я шел с ними в знакомый еврейский магазин и просил «ландрину» или «монпасье» и сдачи. Мне, смеясь, отдавали назад те же две копейки и несколько карамелек.

Когда попадало сразу копеек десять, я долго обдумывал пиршество. Хотелось и «ландрину», и апельсинов, и пряников, и винных ягод, и халвы, и яблочных пирожных, и сладких стручков, и непременно еще новую сказку..

Сказки выбирались в базарный день, в пятницу, позади Гостиного двора. Тут же развешивались лубочные картины. Я знал уже все наизусть:

„Две собачки впереди, два лакея позади"...
„Как мыши кота хоронили".
„Трапеза благочестивого и грешника".
„Как муж жену учит".
„Страшный Суд".
„Молодец, купи с меня чепец"...

Особенно много было Страшных Судов. Бог сидел на самом верху, за столом, в облаках. Рядом взвешивались на весах грехи и добрые дела каждого. Праведные шли направо, грешники — налево. Ангелы с огненными мечами и черти с вилами караулили, чтобы грешник не прошмыгнул направо, но у меня мелькала мысль, что все-таки можно будет незаметно проскользнуть, такое ведь множество людей... Я изучал детали обстановки и еще больше укреплялся в мысли, что можно будет проскользнуть...

* * *

Осмотрев еще раз картины, я выторговывал две сказки за три копейки. На две копейки покупалась халва. С оставшимися пятью копейками я шел в подвал к Цыпке. Цыпка продавала фрукты, винные ягоды, финики, а перед «кучками» еще и зелень для украшения кучек. Цыпка была совсем уже старая, с повязанной чем-то черным бритой головой, а поверх этого черного шла белая нитка, там, где должен быть пробор. Она всегда сидела в подвале, зиму и лето, с восьми до одиннадцати. В воскресенье, пока шла православная служба, торговать запрещалось, но Цыпка все равно сидела в своем подвале, с чуть-чуть приоткрытым люком.

Зимой у нее был котелок с угольями, чтобы греть на нем закоченевшие руки. Когда мороз был особенно силен, она ставила котелок под юбку. Однажды, сидя так, она задремала, и ватная юбка стала тлеть. Тут как раз я случился и разбудил Цыпку, и это закрепило нашу дружбу.

Когда апельсин чуть-чуть загнивал, Цыпка его откладывала для меня, — я получал его за копейку.

На остальное брались винные ягоды или два вяземских пряника с именами — «Зина», «Катя», «Маня».

Халва продавалась только на лотке у торговца, около бульвара. Халва была розовая и белая, и можно было покупать того и другого пополам на копейку.

Она липла к зубам и расплывалась в кармане в липкую тягучую жидкость, но было удивительно вкусно. и именно пополам.

* * *

Сколько сказок я ни покупал, у Лешки Шелкова было больше — штук двести. Мы с ним иногда менялись. Моя мечта была — такая же коллекция и даже еще больше... — «А что, если бы собрать все сказки, какие есть на свете!» — приходила вдруг фантастическая мысль.

Старший брат Лешки, Колька, воровал из выручки деньги и давал Лешке часть за молчание.

Первая моя книга была «Сборник Военных Реляций Петра Великого». Это была единственная книга в доме. Толстая, в кожаном рваном переплете, на синеватой бумаге, в рыжих пятнах, с «т» в виде перевернутого «ш». Внутри на обложке каракулями было написано:

«Эта книга мая втомъ свидѣтѣль Бог ия
Кто возмет ие безпросу тотъ останится безносу
Кто возмет ие безнас тотъ останится безгласъ».

На другом листке значилось:

«Ефим Цветиков» — с большим мудреным росчерком.

Вероятно, этот Ефим Цветиков и был настоящим собственником книги, но у нас никто его не помнил.

Я давно мечтал купить «Новейший Фокусник» и «Черную Магию». «Черная Магия» стоила 75 копеек,

и это было мне не по средствам. но «Новейший Фокусник» я, наконец, купил.

Еще раньше у меня были свои фокусы, которые я показывал кузинам и соседским детям. Им больше всего нравились ракеты. Я обрезал у спичек головки и набивал ими бумажную трубочку. К трубочке приделывался фитилек из пропитанной стеарином нитки, и ракета была готова. Дома не могли догадаться, куда таинственно исчезают спички, а я молчал о своей пиротехнике. Все-таки спичек не хватало, и их должны были приносить зрители в виде входной платы на представление. Цена мест менялась в зависимости от того, когда у них дома куплена новая пачка спичек.

* * *

Все мои фокусы были ничто в сравнении с тем, какой оказался в «Новейшем Фокуснике»: — обратить колоду карт в лягушку!..

Нужно было склеить толстую колоду, вырезать внутри и прикрыть цельными картами. Затем заранее посадить туда лягушку, показать зрителям, что это обыкновенная колода карт, положить ее в коробочку, как раз ее вмещающую, и, закрывши, сказать: — «Эйн... цвэй... дрэй!.. — колода карт обратилась в лягушку»...

Крышка должна быть намазана липким, верхняя карта прилипнет к ней, и когда коробочка будет открыта, там окажется не колода карт, а лягушка!..

После долгих трудов коробочка была готова, но не оказалось лягушки. Пришлось ждать весны. Наконец, была и лягушка, — в экспедицию за ней пришлось отправиться тайком. Мать категорически была против лягушек: «от них бородавки пойдут». Но все было готово... И когда все было готово, фокусную колоду съел Фомка! На дворе у нас был соседский козел

Фомка. Он ел все, до мужских кальсон и женских чулок включительно. Совсем не принявши во внимание Фомку, я положил коробочку сушиться под лестницу: и Фомка ее съел...

* *
*

На нашем мокром и в сухую погоду общем дворе была бараночная. Она помещалась в сыром низком подвале. Там же жили пять бараночников. Надо было спускаться по скользкой каменной лестнице, с выбитыми ступенями, в темноте. Но зато снизу несло теплом, паром и вкусным запахом. Они работали и днем, и ночью, и утром, и вечером. Всегда были горячие баранки.

В подвале было всегда темно. Освещался он коптящей лампочкой и пламенем большой печи, когда она топилась.

Мне казалось, что эти босые бледные люди и могут жить только под землей, «подземные жители».

Я бегал не только за баранками, а просто так, посмотреть, как месят тесто, как обваривают в кипятке баранки, как они быстро румянятся в пламени.

На обитую цинком большую скамью клалось густое тесто, и бараночник начинал ездить по нем. Немного выше доски к стене была прикреплена оглобля; на эту оглоблю он садился верхом и прыгал на одной ноге по полуокружности от стены до стены, разминая оглоблей тесто. Когда не месили тесто, кто-нибудь спал на этой скамье.

Пекли еще пряники. Розовые и белые с мятным запахом. Пахучее вязкое тесто зажимали в деревянные резные формы, и выходили сердечки, кружки и прямоугольнички с разными рисунками и именами. Или еще пекли медовые, коричневые, — эти были всегда прямоугольные.

«А почему медовые нельзя сердечками?» — интересовался я.

«Медовое сердце не бывает», — ответил один. —

Я удовлетворился ответом, но потом усумнился:—«Почему сердце не может быть медовое, если может быть мятное... Дурак он».

По воскресеньям они пили и дрались. Если на дворе начинался скандал, кричали, ругались, — все уже знали:

«Это бараночники дерутся...»

* * *

В кухне висел медный рукомойник для всех. Других умывальных приспособлений в доме не было.

По субботам обязательно ходили в баню.

Из бани приезжали красные, распаренные, закутанные. Зажигали лампадки перед иконами и садились пить чай с брусничным вареньем, кисленьким, с кусочками яблоков и апельсинной корки. Домой приносили обязательно веник, которым парились в бане; им мели пол, и из него же в былое время выдергивали прутья, когда меня надо было выпороть.

За чаем сидели долго.

Иногда кто-нибудь приходил. Говорили длинно и все одно и то же.

В газете интересовались только происшествиями. «Все больше беды на свете», — решал кто-нибудь. — «Раньше не слыхать было об этом».

Говорили о хозяйстве, о том, как переделать платье, чтобы было модное, или как к рубашке пришить новую кокетку, или выйдет ли из юбки кофточка?..

Больше всего сплетничали. Я тоже специализировался на сплетнях, потому что их с интересом слушали старшие.

«Федькина мамашка у Иофы новое платье заказала за двенадцать с полтиной... Мне Федька сказал», — приносил я сенсационное известие.

«Это она третье уже за зиму шьет», — комментировал кто-нибудь. — «Наверно, к причастью, на будущей неделе говеть собирается...»

«Рипинья Истифеевна с кухаркой подралась... Ванька говорил», — сообщал я новую сенсацию.

«Вчера у Можжевеловых в стуколку играли, и Аггей Егорыч восемнадцать рублей выиграл...»

«Игнашке бараночнику вчера голову проломили...»

Узнавши что-нибудь особенно скандальное, я летел домой, сломя голову, чтобы поскорее рассказать. Потом я выработал другую систему: — оставлял некоторые сообщения до удобного момента, за чаем, когда был кто-нибудь чужой, — тогда это производило больше впечатления. Но зато постоянно боялся: «а вдруг кто-нибудь узнает и раньше меня расскажет..»

Приходила сама Рипинья Истифеевна. Маленькая, седая, в черной косынке. Я смотрел на нее и удивлялся, как это она может драться с кухаркой? Наверно же кухарка большая и здоровая...

Рипинья Истифеевна вегда жаловалась на свои болезни.

«Апановали меня болести, маркотно аж жить стало... хворею да хворею, конца краю нет...»

«Послушай, Истифеевна», — посоветовала ей моя мать. — «Хоть ты и старообрядка, да Бог-то один и святые одни... Мне вот помогло от спины... Повяжи на шею чулочек от трех виленских мучеников, как раз поможет...»

* * *

Часто и охотно говорили о покойниках. У нас был культ покойников. Повторяли по многу раз одно и то же. Особенно, если покойник был из родственников или близких знакомых. Говорили и о чужих, иногда совсем незнакомых, лишь бы покойник. Сколько времени болел и какой болезнью? Как умирал? Кто был при этом, кто что сказал и кто что подумал?

... «Она говорит, лучше ему, полегчало, заснул, а я подошла к кровати и вижу: обирается, пальцами быстро-быстро одеяло во сне поправляет и рубашку разглаживает... Обирается — не жилец, к смерти готовит-

ся... Я ничего не сказала, только перекрестилась, а назавтра прибегает Дарья, говорит, помер... Раз обирается, это перед смертью, признак верный...»

Ходили смотреть всех покойников и долго обсуждали потом. Как в гробу лежал — желтый или белый, или синее лицо стало; во что одет, хорошо ли глаза закрыты, и челюсть не отстает ли, и как руки сложены. Гроб какой? Сколько свечей горело? На какой день разлагаться стал, и сильный ли запах был?

«Был запах, только скрыли, карболкой все обрызгали», — говорили недовольно, точно обличая обман.

«Наш Гриша, как живой лежал. Губы розовые, будто улыбается», — хвастались знакомые своим покойником.

Об отце мать не раз вспоминала:

«Царство ему небесное... хорошо помёр. Поболел, пострадал, причастился, перед самой смертью пособоровался и тихо помёр, как заснул... Когда соборовали, сам еще свечку держал и плакал. Дай Бог каждому так помереть, царство ему небесное», — и всякий раз при этом плакала.

Туфли покойнику полагались вообще не обыкновенные, а матерчатые, — лиловые, белые или даже розовые, смотря по полу и возрасту. Покойнику мальчику надо было непременно голубые, а девочке — розовые, а старикам обоего пола — лиловые. Кусок лилового атласа всегда лежал у матери в комоде про запас. У нас умели особенно хорошо кроить эти туфли, и часто к нам приходили с просьбой скроить. Мать делала это охотно, — всем кроила. Делала это с важностью, с торжественностью, говоря при этом вполголоса, священнодействуя.

Я так привык к покойникам, что тоже считал их развлечением.

* * *

В раннем детстве моя комната была маленькая, с большой лежанкой, без окна. Едва вмещалась моя и

нянькина кровати. Всегда было темно и всегда жарко. Стоял запах сушёной травы и старого нянькиного платья.

Дверь вела в столовую; в столовой было тоже полутемно.

Я привык к полумраку, и яркий свет резал мне глаза. Всегда хотелось в тень.

Стены комнаты были выкрашены желтой пачкающей краской и по желтому разрисовано черными пятнами и язычками.

Я подолгу рассматривал эти пятна и язычки, и мне казалось, что они образуют фигуры людей, животных, корабли. В одном месте шел корабль, в другом сидела кошка, задравши хвост. Потом я решил, что это не кошка, а лебедь, — хвост это лебединая шея... И дальше уже никогда не казалось, что это кошка.

Пятнами выглядели дырки от вывалившихся гвоздей — их, видимо, вбивали много и с давних времен. Может быть, сто лет... а может быть, двести? Так думалось, хотя я знал, что дом строил покойный отец... Когда-то эти дырки закрасили синеватой краской, а потом уже желтой, позднее. В дырках жили клопы, много клопов, больших и маленьких. Нянька подпаливала дырки свечкой, клопы разбегались, и она жгла их, бегущих, на стенах. Потом я сам занимался этим, и каждый раз были новые запасы клопов. Только большие, толстые, самые интересные, попадались редко. Они шипели на пламени и лопались с треском и клопиным запахом. На желтой стене оставались язычки копоти, везде уже были язычки...

Когда в комнате горела свеча, я подолгу сидел, пристально глядя на красноватый язычок пламени. Близорукими глазами я не видел точно его очертаний, а он расплывался в светлый кружок, и в кружке плавали живые ниточки, червячки, звездочки. Они двигались то медленно, то быстрее, то вдруг сразу все бросались в обратную сторону, когда я мигал глазами. Иногда их

было очень много, иногда меньше, и движения были разные. Мне казалось, что это особый таинственный мирок, мне одному известный и мне подчиненный...

* * *

Мрачность домашней обстановки сгущалась еще от болезней матери. Как я ее помню, она всегда была больна. Но доктор бывал редко. Обыкновенно приходила акушерка Флюмна, с большим чемоданом и надолго запиралась с матерью на ключ в спальне.

Флюмна была существо таинственное, загадочное. Иногда она, уходя, щипала меня двумя пальцами за щеку и говорила:

«Вот как бистро все виращивается!»

Флюмна наверно знала хорошие фокусы, но я не решался спросить.

«Что у Флюмны в чемодане?» — интриговало меня.

Нянька в раннем детстве пугала меня «мумкой»:

«Вот мумка придет и съест...»

Первые слова, какие я заучил, были: — «мумка» и «флюмна». В них было что-то мистическое:

«Не балуйся, мумка съест...»

«Не шуми, Флюмна пришла...»

Флюмна оставалась для меня таинственной и много позже, благодаря своему чемодану. Одно время я думал, что в нем она носит маленьких детей. Потом я узнал, что дети зарождаются у женщин в животе, но что об этом нельзя говорить.

* * *

Животных у нас в доме не было. Васька, за которого я молился, был дедушкин кот, старый, жирный, всегда спавший.

Когда-то у дедушки был попугай. Я его не видел: он умер до меня.

Приезжая к дедушке, я бежал «на сальку», на третий этаж, где жили Дунька и Фроська, и просил рассказать еще что-нибудь о попке.

«Дуня, миленькая! Расскажи, как он говорил... громко, как человек?»

«Совсем по человечьему... ажно страшно... На кухарку Афимью ругался: кухарка дура, кухарка дура...»

«А за что ж он на ее ругался?»

«Она ему костку дала заместо хлеба... Он апосля всегда ругался».

«Как бы я хотел послушать!» — вздыхал я, и глаза разгорались надеждой, что когда-нибудь, когда я буду очень богат, у меня будет свой попугай и тоже будет ругаться, как человек.

Дунька и Фроська были в это время девицами лет по пятнадцати. Социальное положение их было темное. Я, впрочем, тогда этим вопросом не задавался. Потом я узнал, что они были дедушкины дочери. Вероятно, кухарка Афимья, которую ругал попка, была матерью одной из них.

Бабушки при мне уже не было. Говорили, что это моя мать ее в могилу свела: бабушка прокляла ее, за то, что веру переменила, и сама с горя померла.

Дунька и Фроська жили на сальке и при бабушке, и, очевидно, их происхождение не было для нее тайной. Вместе с собой за стол Дуньку и Фроську не сажали, — они ели на сальке.

Я любил Дуньку и Фроську. Они были для меня одним нераздельным, как бывают цветы «Иван-да-Марья» — «Дунька-и-Фроська». Всегда они были вместе.

Забьемся куда-нибудь в тёмный угол на сальке, я привезу с собой несколько ландринок, а у них припрятан мед в сотах и пирог с морковкой, — и сидим там часами. Пахнет пчелиными сотами, сушёными яблоками, ладаном. Рядом пустой тёмный чердак и моленная: крысы скребутся в углу, прусаки шуршат за обоями,

сверчок чирикает внизу у рукомойника, и так таинственно и страшно... Пока не позовут домой ехать.

У дедушки была пара выездных лошадей. Но ездили на них редко. Они стали жирные и ленивые от постонного стоянья в конюшне. Если мы, дети, начинали очень просить покататься, — сначала через кривую Просу, а потом у дедушки непосредственно, когда он был к этому подготовлен Просой, — дедушка чаще всего отказывал:

«Лошади уставши... нельзя».

Иногда он все-таки соглашался, но это еще не значило, что поедем. Надо было еще уговорить кучера Евлампия. Он жил кучером у дедушки лет тридцать. На катанье Евлампий смотрел, как на баловство, «распуста одна», а лошади, по его мнению, были «и так исхудавши»... Редко удавалось его уломать.

Летом, по пятницам, коляска закладывалась с раннего утра. Дедушка выходил в халате и в вышитых туфлях на босу ногу, с толстой палкой, чаще без шляпы, и ехал на рынок. Его сопровождала хромая Проса. Иногда брали меня, если я ночевал в этот день у дедушки.

На рынке въезжали в самую гущу, среди телег и ларьков, и начинался торг. Дедушка в это время уже плохо видел и больше верил рукам. Он все ощупывал, привешивал на руках, нюхал, пробовал на вкус. Затем начинали торговаться. Торговались долго, с клятвами и божбой. Перекупщики продавали кур и индюшек:

«Чтоб мне глаза лопнули... чтоб мне и моим детя́м счастья не видать ни на том свете, ни на этом, если в ей десять фунтов нет...» — клялся кто-нибудь их них и всовывал в коляску бьющуюся индюшку, держа ее за одно крыло.

«Это ты, Мошка?.. Опять обманешь, как в прошлую пятницу. Говорил — все утки, а двух селезней всучил... Мошельник ты, вот что!.. Рупь двадцать, больше ни копейки... Вынимай обратно индюшку».

Объезжали весь рынок и снова встречались с Мошкой. Мошка считал нужным все-таки восстановить свое реномэ.

«Чтоб у меня руки отсохли, все утки были, господин Кирьянович... Чтобы мне так здоровым быть, все утки! Это только пёры тёмные на головах... Так я же уже понимаю в утках, тридцать шесть годов занимаюсь, чтоб мне на этом месте провалиться и чтоб моих детей хвороба взяла...»

Дедушка уже торговал у бабы масло. Он колупал пальцем в боченке, пробовал на вкус и плевал, чтобы не проглотить, — сегодня постный день.

«Солёное очень... и горчит», — говорил он и предлагал двадцать три копейки, вместо двадцати восьми. Сходились на двадцати четырех, и масло выворачивалось из кадушки в глиняную миску, захваченную из дому.

Потом пальцем пробовали и тоже выплёвывали — сметану, творог.

Я тоже лез пальцем в кадушку и тоже пробовал и выплёвывал.

Старый Янкель был тут же и предлагал кирпич.

«Имею случайно, господин Кирьянович, железняк первый сорт... Хочу с убытком продавать».

«Знаю я твой убыток!.. Маломерный кирпич, как пить дать, как намедни...»

«Чтоб мне руки отсохли, когда он маломерный был... Он от огня же корчится, господин Кирьянович... Железняк он завсегда трохочку поменьше... Пусть мне на том свете все маломерное будет, если он маломерный», — решительно заключал Янкель, нервно теребя жиденькую бородёнку, и так уже выщипанную.

«Зайди во вторник насчет кирпича», — решал дедушка.

* * *

Случался тут же и Шибздик, портной. Маленький, тщедушный, бледный, он не говорил, а как-то скрипел,

чуть слышно. Он сам покупал на рынке или искал заказчиков.

«Не надо ли шить?.. Азям или еще что-нибудь», — снимал он смешной зажиренный картуз у нашей коляски. Голова у него была совсем маленькая и ермолочка игрушечная. Мне очень хотелось посмотреть Шибздика без ермолки, но он, даже когда к дедушке в чайную приходил, где иконы, не снимал ермолки, и его не ругали за это.

«Кирьян Кирьяныч, как хочете, а только лошади с утра не емши», — заявлял, наконец, с козел Евлампий, и мы, не спеша, двигались к дому.

Дома выбегали Афимья и Дунька с Фроськой и разбирали покупки, а Евлампий распрягал лошадей прямо на дворе, чтобы скорее «свободу им дать». Коляску сам потом отвозил в конюшню, а я сидел на козлах.

Дедушка сердился и ругал Мошку:

«Опять худую индюшку всучил, кости да пёры... Эвона, сучий сын!.. И близко его не подпущу больше, мошельника...»

Но в следующий раз опять покупал у Мошки.

* * *

Дедушка всегда строился.

То пристройку к дому, то сарай; то арендный флигель. Он ходил по постройке, стучал палкой в кирпичи или кафли, пробовал пальцами раствор. Я проделывал то же самое.

«Дверь пробили, Минаевич?» — спрашивал дедушка.

«Пробили, Кирьянович».

«Что ж, пол подошел, аль не подошел?»

«Почки что подошло, Кирьянович... на пол ступеньки пониже вышло...»

Минаевич был в полном доверии у дедушки. Он был и плотник, и каменщик, и десятник, и архитектор.

К старому дому делали пристройку на глаз. Только когда пробивалась дверь для соединения, видно было, попали или не попали на уровень пола.

«А тутока ты што сделаешь?» — стукал дедушка палкой в угол.

«Да печку, Кирьянович...»

«Печку?.. Ну, ладно... А где же у тебя окно?»

«Окно... Окна-то не выходит, Кирьянович... Тёмная комнатушка будет. Я уж мерекал и так и этак, — не выходит...»

«А если б тутока, заместо печки?»

«И то смекал, да печку некуды поставить».

Дедушка прикидывал, соображал и решал:

«Так ты вот что, Минаевич. Окно маленькое сделай и печку маленькую».

Мне очень нравились дедушкины постройки. В них были своеобразный уют, разнообразие и опять-таки какая-то таинственность: везде ступеньки, тёмные коридорчики; одна комната выше, другая ниже, одно окно большое, другое совсем маленькое...

* * *

Во всех ящиках и на столах в доме у дедушки валялись куски замусоленного воску—черного, прочерченного линиями. Проса и Дунька-с-Фроськой вощили на нем нитки.

Я всюду находил этот воск и видел, как вощат нитки, но никогда не задавался вопросом, зачем надо вощить. Надо и надо. Я набрал уже целую коробку этого воска, — на всякий случай, пригодится. Вообще я собирал всякую дрянь на всякий случай.

...Проса сидит у окна с широким белым подоконником и шьет, далеко отдергивая руку при каждом стежке, — издали смешно смотреть. На окне лежит подушечка, набитая песком. К ней прикалывается одним концом шитье.

Проса маленькая, сморщенная в сушёный гриб. Кривая нога подвернута.

«Почему у вас нога сделалась кривая?» — хочу спросить я. В это время из соседней комнаты окрик дедушки:

«Проса!.. Проса, налей».

Дедушка лежит в постели. Он совсем почти ослеп и редко встает. Целые дни пьет портвейн из большого белого чайника.

Проса соскальзывает со стула и ковыляет к дедушке, а я пробую шить. Нитка путается, потом рвется, и, чтобы не иметь неприятных разговоров, я исчезаю через чайную и коридор на сальку. Там жутко. Дуньки-и-Фроськи нет. Пробираюсь обратно через зал и опять слышу крик дедушки:

«Проса! подай...»

И опять Проса ковыляет с костылем в его спальню. Я прячусь за диван и долго оттуда разглядываю картину — «Авраам приносит в жертву Исаака». Во всем доме только одна эта картина. Зато большая, в тяжелой черной раме. Авраам страшный, а ангел похож на деревянную девочку...

«А бывают ли ангелицы или только ангелы?» — мелькает мысль.

Исаак лежит на костре, Авраам занес над ним большой нож и хочет убить, но ангел останавливает Авраама, показывает на овечку, которая вдруг появилась, и говорит, чтобы Авраам убил вместо Исаака овечку... Так мне объяснили.

«А как зовут мужа овцы? — овец или овчар?..» Спрошу Дуньку-Фроську.

Картину написал арестант и подарил дедушке в тюрьме, когда они там вместе сидели. Дедушку посадили за то, что не хотел принимать православия.

Я уже много раз рассматривал эту картину. И теперь опять думаю: — «Почему это Бог приказал Аврааму убить сына? Разве Бог может дать такой приказ?.. Бог делает иногда странные вещи... Нет, нет... нет. Так нельзя думать, это грешно».

Я затыкаю уши и зажмуриваю глаза, чтобы не думать об этом.

По вечерам Дунька-Фроська иногда пряли. Деревянные колеса прялок были занятны. Я путал шерсть и рвал пряжу, но зато выходили интересные машины.

Мерно вертя ногой прялку, Дунька-Фроська пели вполголоса. Не помню слов, но всегда печальное: хотелось плакать. Веселое запрещали петь. Один раз только пели веселое. И то не очень. Никого почему-то не было дома, куда-то уехали. К Дуньке-Фроське пришли какие-то девицы и двое мужчин. Все пошли в зал и там тихонько пели. И под пение танцовали крутёлку...

* * *

На сальке была дедушкина домашняя моленная.

Стена была сплошь заставлена тёмными, без риз, иконами, и у каждой иконы прилеплена желтая «свеща». «Свещи» макались дома и были желтые, в отличие от православных белых свечей. Макать свещи и наблюдать за ними — было делом Дуньки-Фроськи.

Когда ночью шли молиться, Дунька-Фроська покрывались черными платками, брали кожаные лестовки и подручники из разноцветных лоскутков и отправлялись в первую голову:

«Вставайте... вставайте, дрыхалы, четыре часа скоро», — будила их Проса, стуча снизу в полати своим костылем. Спали они в тех же кофтенках и юбках, в которых ходили и днем, — снимали только шубейки.

Дунька-Фроська зажигали в моленной свещи, открывали занавесочки у окон, разжигали кадило.

Приходил Сидорович. Дунька-Фроська читали часовник и псалтырь. Петь можно было только мужчинам, — пели протяжно и заунывно, «по крюкам». На коленях молиться нельзя было, и когда клали земные поклоны, надо было руками опираться на подручник, не касаясь пола коленями. Дунька-Фроська делали это удивительно ловко, как акробаты.

Они ходили также читать по покойникам. Когда дедушка умер, они читали день и ночь около его гроба. Читали протяжно и жутко, каждый стих кон-

чая печальным распевом. Я слушал в сторонке, и мне было страшно. В полумраке мигающей свечи я не узнавал ни Дуньку, ни Фроську, они казались мне, в черных платках, какими-то чужими монашками, — их теперь тоже больше не пустят на свет, обстригут волосы и заточат. Я много раз слыхал о заточении и рисовал его себе в виде каменной, толстой, толстой стены, в которую человека замуровывают и оставляют только маленькую дырочку, чтобы подавать хлеб и воду...

После смерти дедушки все быстро изменилось. Васька умер, Дунька-Фроська куда-то исчезли. Домашнюю моленную уничтожили, а все иконы перенесли в общественную. Дом достался одному из дядей, и он его перестроил на доходные квартиры. Мистика и таинственность исчезли.

* *
*

Кто была Настасья Марковна, где был ее дом, была ли у нее семья, сколько ей было лет, почему она бывала у нас? — я не знал.

Но раза три в год Марковна непременно появлялась и жила у нас по месяцу, по два.

Маленькая, худенькая, с желтой сморщенной кожей и маленькими круглыми румянцами на щечках, как у кукол; всегда в черном платье, — у нее другого и не было, — всегда говорила тихо, еле слышно. У нас, когда нужно было позвать извозчика,выходили на улицу и кричали, как можно громче — «извозчик!.. извозчик!..». Если извозчик был на другом конце города, он все равно слышал и приезжал. Меня интересовало, как стала бы звать извозчика Настасья Марковна, если бы ей очень было нужно и больше позвать было бы некому...

Настасья Марковна ни с кем не ссорилась. Если ее обижали, она куда-то пряталась и сидела до вечера, притаившись, и ее нельзя было найти.

«Опять обидели Марковну», — говорили кто-нибудь, если ее не было за обедом. И этим кончалось: знали, что утром она опять появится откуда-то.

Кровати для Марковны не было. Она спала, прикорнувши на маленьком диване, или ставила два стула и клала на них доску от стола. Она ложилась позже всех и вставала раньше всех, так что никто не видал, где она спит. Я однажды подкараулил: подостлавши коврик и ватное одеяло, она лежала на доске от стола, маленькая-маленькая, свернувшись калачиком, подогнувши ноги к самому подбородку.

Она, кажется, ничего не ела, только пила чай с булкой или баранками. И было естественно, что она ничего не ест, так, казалось, Марковне и нужно.

Определенной работы для нее не было, но она всегда с чем-то копалась: зажигала лампадки перед праздником, перебирала изюм, штопала чулки, — штопала мелкой сеточкой, очень долго один чулок.

* *
*

Она играла со мной изредка в дурачки, и я ее постоянно обыгрывал. Мне хотелось непременно играть на деньги, но денег у Марковны не было: я давал ей пять копеек и выигрывал их обратно по грошу партия.

Марковна умела разгадывать сны и знала все приметы. Тут она была авторитетом.

«Ехать кому то, по скорой дороге», — тихо, но авторитетно говорила она. Или — «покойник чужой, не родственник будет...» — Или — «мороз будет», — заявляла Марковна...

Если в стакане сверху были пузырьки и плавали чаинки, или лампа горела с язычком и мигала, или левый глаз чесался или переносица свербела, — только Марковна знала наверно, к чему это, и разбиралась в самых сложных комбинациях.

Когда Марковна собиралась уезжать, ей давали узелок старья и немного провизии и она исчезала.

Месяца через два начинали вспоминать:

«А что ж это Марковна не едет?» — И вдруг Марковна появлялась, в черном платьице, в черной маленькой шляпке. Шляпку эту я помню с тех пор, как и Марковну.

Мне было лет десять, когда Марковна уехала и больше не появлялась. У нас ее долго ждали и удивлялись, и было как-то пусто без Марковны. Только нескоро узнали, что Марковна умерла. Умерла в другом городе, у себя в комнатушке: соседи взломали дверь и нашли ее мертвую, совсем ссохшуюся, еще меньше, чем была живая...

«Как облизьянка засушенная получилась», — рассказывал приехавший оттуда.

* * *

Гадать считалось грехом. Но всетаки гадали. Обычно втихомолку, в уголке где-нибудь, чтобы никто не видал. Накануне праздника гадать ни в каком случае не разрешалось. Самое верное гаданье было по пятницам. Сон под пятницу тоже всегда сбывался, а праздничный был вообще не в счет, праздничные сны не вещие. «Праздничный сон — до обеда». Гадала особенно хорошо Марковна, но ее очень трудно было уговорить. Моя мать иногда по секрету просила ее, и они, запершись в спальне, гадали. Марковна вытаскивала из какого-то потайного места засаленные карты, долго тасовала их и давала снять левой рукой. Медленно, осторожно раскладывала карты фигурой, вроде звезды. Какие-то карты убирались парами, оставалось всего пять-шесть и тогда она тихонько говорила:

«Письмо с поздней дороги... Убыток денежный»...

«Червонный король на дороге стоит, старается неприятность большую сделать».

«Какую неприятность, не видно?»

«Неприятность семейную... Сплетня и родственная ссора из за денег... Кончается все болезнью...»

«Чьей болезнью, Марковна?»

«Нельзя сказать. Не ясно карты легли, но большая болезнь в пиковом доме...»

Неприятностей и болезней у нас всегда было много и предсказания Марковны часто сбывались.

Была еще старая подранная книга:

«Оракул на Все Случаи Жизни» с прибавлением предсказаний погоды по Брюсову календарю.

Ни разу никто не задумался, для какого места на земном шаре предсказывает таинственный Брюс погоду. Иногда было верно, иногда неверно. По оракулу гадали, бросая хлебный шарик. На одной из страниц был круг с делениями, и на него надо было бросать шарик. Для каждого деления был текст и в нем определялась судьба гадающего. Я часто гадал, и всякий раз выходило по новому. В хорошие предсказания я не верил, но когда выходило плохое, было неприятно. Привык верить в плохое.

* * *

В церкви нужно было стоять долго. Было тяжело и скучно. Ектении были особенно тоскливы — все одно и то же, одно и то же, точно нарочно, чтобы было еще скучнее...

Мое место было всегда на клиросе. Вплотную прислонившись к перилам, за которыми стояли певчие, я сколупывал ногтем краску на точёных балясинах и поручнях, и выходили разные фигурки, линии, запутанные рисунки. Я знал их все подробно, каждый раз что-нибудь дополнял. Было уютно и не так скучно: точно среди своих близких, свой мирок, никому неизвестный. Когда надоедало выцарапывать, я смотрел на мигающие свечи в больших подсвечниках около икон. Щурил глаза, долго смотрел в одно место и пламя начинало расплываться — как и в детской — в кружки. Кружки вертелись в разные стороны и в них двигались точки, ниточки, завитушки, зверьки. Прищурившись еще больше или скосивши глаза, я заставлял их вдруг шарахнуться врассыпную...

Иногда мне потом снились эти церковные фигурки, — они оживали, росли, и я потом не помнил, какие из них были в действительности и какие я видел во сне.

Сны нередко путались с действительностью. Я видел как-то во сне, что в лесу, где мы жили летом, я нашел берлогу вроде подземной пещеры и в ней жили странные ручные зверьки. Сон приснился зимой и я ждал с нетерпением лета, чтобы опять увидеть этих пещерных зверьков. Я был уверен, что пещера действительно существует, что я видел ее наяву. Я даже рассказывал о ней и был уверен, что говорю правду. Было большим разочарованием, когда в действительности ее не оказалось. Только тогда я понял, что это был сон.

* * *

На святки и на масленицу бывали «кирмаши», ярмарки. Как раз против нашего дома у Гостиного Ряда был самый разгар. В крытой галлерее выстраивались девицы. Лицом к проходу, спиной к улице, а значит и ко мне. Я смотрел на них из окна нашей залы. Мне был виден только бесконечный ряд платочков всех цветов и рисунков. Платочки шевелились, один платочек становился на место другого. Выходил желтенький, а на его место появлялся синий или оранжевый. Оранжевый сменялся голубым или оставалось пустое место и тогда соседние платочки сдвигались. Вышедший из ряда платочек шел гулять с кавалером по галлерее. Самых счастливых кавалеры приглашали кататься на саночках. Те кавалеры, у которых была лошадь с саночками, были особенно желанны. Дуга и оглобли обвешаны ленточками, в гриву тоже вплетены ленточки, на шее у лошади бубенчики, санки узкие, еле сесть вдвоем. Левая нога кавалера торчит из саней и пола шубы откинута мехом вверх, чтобы видно было, какая она дорогая. Кавалер лихо прокатывал выбранный платочек мимо Гостиного Ряда туда и на-

зад, туда и назад, от катка до рыбного рынка. Другие девицы в пол-оборота наблюдали и подсчитывали, сколько раз проехал. Если много раз, — быть свадьбе...

* * *

Мать в лавке или на базаре. Дома только Марковна и я.

Подходит Марковна с чулком и тоже садится у окна.

«Никак это Дунька с Фроськой?! Они и есть, они!» — говорит Марковна и показывает на два платочка. Я вижу голубой и розовый платочек, но лиц узнать не могу.

«Всё стоят, никто не катает», — вздыхает Марковна. Может быть, ей и действительно жалко Дуньку-Фроську, а может быть, вздыхает просто по привычке. Она всегда вздыхает или зевает и крестит при этом рот мелким крестиком. Марковна вздыхает совсем не от горя, а такая уже у нее привычка. Когда ей даже весело и она смеется, так сейчас же после этого непременно вздохнет.

Мне уже надоело смотреть на платочки.

«Давайте в дурачки играть, Марковна».

«Что ты! Как можно в карты! Ведь нынче неделя о Страшном Суде. Разве не знаешь?»

Марковна решительно отказывается.

«Помоги мне лучше нитки разматывать».

«Ну хорошо», — соглашаюсь я и надеваю моток шерсти на руки. Марковна начинает сматывать их в клубок. Когда уже полмотка смотано и клубок стал уже большой, он выскальзывает из рук Марковны и катится по полу.

«Надо поднять»,—решаю я после некоторого колебания,—«хотя Марковна и не дама, но надо поднять».

Я бегу за клубком, быстро нагибаюсь под стул, задеваю за что-то своими очками и они далеко уезжают по паркету. В других комнатах у нас крашеный пол, уже сильно вытертый, а в зале паркет.

«Неужели разбил?! Ах ты, господи, какое несчастье. Как же я буду ходить два дня без очков пока починят... Прошлый раз три дня чинили, такого стекла, как у меня, не было ни у Цацкиса, ни у Бриллианта (это наши два городских оптика). Пришлось выписывать... Два рубля стоило, столько денег! Что мамаша скажет... Господи Исусе, помоги, чтобы не разбились... Уже теперь кончено, разбились или не разбились. Но ты, господи, все можешь сделать, пока я не увидел, разбиты или нет... Обещаю сейчас же положить десять земных поклонов и прочесть десять раз Отче наш...»

Все это я продумываю и решаю, пока ищу на полу очки. «Марковна, значит, не заметила, что у меня очки упали, а то помогла бы... Ведь она же знает, как мне трудно искать, когда я без очков».

Очки оказались неразбитыми. Я подал Марковне клубок. Пошел в дальнюю комнату, запер дверь и положил обещанных десять земных поклонов, в то же время читая Отче наш. «Так всетаки скорее... А ведь я же не обещал Богу, что я буду отдельно класть поклоны и отдельно читать Отче наш...»

Пришел обратно в зал. Опять стал смотреть в окно.

«Скучная она, Марковна»,—думаю я.—«Да у нас все скучные, и я сам тоже скучный. Это вероятно потому, что я плохо вижу... Нет, это Бог так сделал. Ну да! Ведь и то, что я плохо вижу это тоже Бог сделал... Нельзя так думать о Боге, он накажет за это и сейчас как раз неделя о Страшном Суде... Господи, прости меня грешного!»

* * *

Было постоянное ожидание неприятностей с братом Мишей. Когда ему пошел двадцать первый год, решились на последнее средство — сдать его в солдаты, хотя ему не надо было служить.

Миша повиновался. Месяца черет три мы узнали, что он осужден в дисциплинарный батальон за постоянное пьянство. А еще через два месяца, ночью, Миша вдруг явился домой...

Всё переполошилось. Мать была в истерике, чувствуя что-то недоброе. Утром выяснилось, что Миша бежал из дисциплинарного батальона.

Начались опять хлопоты и слезы, Мишу пока спрятали в темную комнату, и, наконец, удалось через докторов придать его побегу вид временного помешательства.

Мишу поместили в военный госпиталь. Госпиталь был в крепости, верстах в трех от города. Два раза в неделю я ходил к нему с корзиночкой провизии и папиросами.

В палатах был такой воздух, что даже меня тошнило.

Итти в крепость надо было через ряд ворот в крепостных валах. В одних воротах было страшное эхо, и я простаивал там подолгу, прислонившись к стене и слушая свой же голос, отраженный сводами. Казалось, кто-то глухо говорит через стену. То это были узники, которыми наполнены крепостные валы; то это говорили с того света. Я один раз позвал, вспомнивши вдруг Полю:

«Поля, это ты?»

И голос ответил шопотом:

«Я...»

Мне стало жутко. Я побежал.

* * *

Миша вернулся из госпиталя домой, и опять началось прежнее. Он крал из дому вещи и пропивал. От него отобрали одежду и заперли наверху, в одном белье. Я брал иногда у матери ключ и ходил к нему:

«Ты же смотри, его не выпусти», — говорили мне.

«Нет, я уж не выпущу!»

Однажды ночью я проснулся от страшного вопля. Кто-то стонал и плакал, завывая. Я не мог понять спросонок, что это такое. Мать долго с вечера молилась, читала акафист, клала земные поклоны, и вопреки обыкновению крепко заснула. Я вскочил с постели и стал прислушиваться.

«Горит!.. Горит!..» — вдруг разобрал я в сдавленном, рыдающем голосе. — «Это у Миши горит внутри от водки», — решил я. С ним бывало так и раньше.

Но завыванье становилось все страшней. Начиненный ужасами, я всегда ждал страшного и сверхестественного. Я сам дико закричал.

Проснулись все. Отворили дверь в комнату Миши: там был густой едкий дым, а Миша лежал на полу без сознания.

Огонь потушили. Прибежали соседи. Миша сидел в одном белье на полу, посреди комнаты и плакал. А рядом сидела и плакала мать...

* * *

В другой раз Мишу тоже посадили наверху, все отобравши и замкнули. У него был запойный припадок. Большой ключ от двери лежал у матери в неуклюжем красном комоде. Комод делали арестанты в той же тюрьме, где писалась и дедушкина картина «Авраам приносит в жертву Исаака».

Я носил Мише еду, но он есть не хотел, а умолял меня достать ему водки.

«Нельзя тебе водки. Умрешь...»

«Я все равно скоро помру... Найди, Арсеньюшка».

«Нельзя тебе... Нет водки...»

И всетаки я ему приносил тайком полчашки.

Миша не выдержал такого режима. На третью ночь он исчез. Оказалось, что он скинул во двор, с крыши второго этажа, подушки и перину, а из простынь связал веревку и спустился по ней, в одном белье и в старом пальто, которое забыли спрятать.

Перину и подушки Миша продал и скрылся.

Мать плакала. Послали приказчика на розыски. Потом заявили полиции. Найти не могли. Никто его не видал. Через неделю приехал из фольварка дядя Гаврила с сообщением, что Миша там. Пешком туда пришел, пятьдесят пять верст.

«Голодный и холодный... еле живой... Водочкой так и несет, пьяный... Наш корчмарь Ицка ему бутылку дарма дал...» — рассказывал дядя Гаврила. Мишу там заперли в баню и, чтобы не убежал, купили ему еще бутылку водки.

Было решено, что я поеду с дядей Гаврилой, чтобы привезти Мишу обратно.

Мише тогда было лет 25, а мне 10.

* * *

Приехали вечером.

Миша пьяный спал в бане на верхнем полке́. В бане было темно. Хотя рядом был дядя Гаврила со свечкой, было жутко. Чудились в темноте два блестящих глаза. Пахло вениками и прелью. Чирикал сверчок. Казалось, что кто-то бегает по полу под ногами. Может быть, и действительно бегали крысы.

«Миша!.. Миша, вставай, едем домой...»

«Не поеду».

«Как не поедешь?! Вставай...»

Миша поднял голову и опять опустился на деревянный полок.

«Не могу... Голова болит. Ну, здравствуй...»

Он подал мне руку и потянул к себе, чтобы целовать. Пахну́ло водкой. Мне непривычен был поцелуй, меня это растрогало.

«Ну, Мишенька, едем...»

* * *

Обратный поезд уходил в полночь. До станции было верст пять. Мы пошли пешком. Опять провожал дядя Гаврила и еще кто-то.

Пошли напрямик, по межам, так было ближе. От озера тянуло холодом. Квакали лягушки, где-то в поле скрипел дергач. Пролетела бесшумно сова. Прошумел за озером поезд.

«Товарный...»

По пожням стлался туман, густел, и в нем все казалось странным и незнакомым. Деревья становились призраками. Причудливо, неожиданно выростали из тумана.

Миша покорно шел рядом со мной, покачиваясь. Несколько раз он упал. Я ему привез брюки и пиджак, но всетаки было холодно. Он дрожал. У меня тоже стучали зубы от холода или от напряженных нервов. Ноги промокли от росы.

«Ты его не упустишь?» — спросил тихонько дядя Гаврила, пока Миша поднимался с земли.

«Я то?.. Нет, я уж не упущу».

Я был уверен в том, что говорил. Мне даже в голову не приходило, что Миша может оказать сопротивление, ударить меня. Разве что спрячется?.. Я решил держать его за рукав. Но всетаки вдруг родилась боязнь.

Когда проходили мимо ицкиной корчмы, Миша повернул к двери:

«Зайдем... Я только рюмочку выпью».

«Нельзя, Миша. На поезд опоздаем... И у меня денег нет. Только на два билета полтора рубля».

«Билет же стоит семьдесят две копейки, как раз на шкалик остается пятачек, еще с копеечкой...»

Миша деланно засмеялся, будто шутил.

«Нет, нет. Этого нельзя... Я тебе дома дам».

«Дашь?»

«Дам».

«Побожись...»

«Ей-богу, дам».

Про себя я подумал: «ведь я не сказал, сколько дам, дам одну рюмочку... Или большую но разбавлю водой». Я уже пробовал раньше разбавлять. Но Миша просил всегда лучше меньше, но не разбавленного.

«И в кого ты такой вышел?» — сказал дядя Гаврила. — «Больной, ты, Миша».

«Не больной, несчастный я... проходимец я, бейте меня изверга», — вдруг заплакал Миша.

Мне тоже хотелось плакать, но я удержался. Нельзя себе позволить: я должен быть сильным, мужчиной.

На платформе мне было стыдно с Мишей. Оборванный, небритый и всем заметно, что пьяный. Железнодорожный мастер поздоровался с ним, как с приятелем. Носильщик тоже.

* * *

В вагоне Миша задремал. Потом заснул и начал храпеть. Я вспомнил, что если человек храпит, надо ему вставить в нос гусара. Но тут было неловко, — сидело еще двое, хотя они тоже дремали.

«А мне нельзя спать, я должен караулить», — думал я. В вагоне было темно. Свечка в фонаре оплыла и почти гасла. Клонило ко сну. Глаза слипались. Было грустно, холодно... «Почему у нас Миша?.. Почему мы не богатые?.. Отчего я не родился сыном царя?.. или князя хотя бы?.. Почему Бог так сделал?.. Зачем ему, чтобы Миша пьянствовал, — ведь это он так хочет?»

«...Господи Исусе Христе, сыне божий, помилуй нас грешных... помилуй нас, помилуй нас...» Мне показалось вдруг, что колеса вагона отбивают в такт — «по-ми-луй-нас... по-ми-луй-нас... по-ми-луй-нас...» и я тоже сидя заснул.

На станции вошли пассажиры, пахну́ло из дверей холодом. Я вскочил, испугался, не убежал ли Миша... Дернул его за руку, чтобы он не храпел.

«Так ты дашь водки?.. Ты побожился?» — спросил он, проснувшись.

«Дам...»

«Меня бить будут?»

«Не знаю...»

Я хотел сказать, «должно быть, будут», но удержался, — а то вдруг Миша убежит. Я наверно знал, что будут. Однажды уже было так. Тогда мать схватила веревку и ударила ею Мишу несколько раз по спине, а он стоял на коленях и плакал и целовал ей руки.

И мне было непонятно, как это он позволяет себя бить.

Я любил Мишу. Но я не мог простить ему, что он всё наше пропивает. «Скоро не на что жить будет», — говорила часто мать и плакала всякий раз.

* * *

Скоро Миша опять скрылся. Взломал верхний ящик в комоде, взял золотые часы, браслет и еще что-то. Все, что было ценного в ящике. Это он делал не в первый раз. Отцовские часы уже несколько раз выкупали из заклада. Ложки серебряные тоже.

На этот раз Миша взял еще больше вещей. Мать, увидевши взломанный ящик, долго плакала, потом молилась. Я знал, что денег у нас все меньше и меньше, а Миша разматывает последние. Я его ненавидел сейчас. Я думал:

«Хоть бы он помер скорей».

Мать тоже это сказала. Я жалел мать, но, чем помочь, не знал. «Надо зарабатывать... Но как, чем?..» Я пробовал несколько раз продавать жуков и марки, но это давало двадцать-тридцать копеек, а Миша растрачивал сто рублей. «Какое он имеет право? как он смеет, ведь это же не его деньги...» Я хотел, чтобы он умер.

«Грешно так думать», — останавливался я на мысли, и не мог решить: — грешно или не грешно... «Ведь Миша нас разоряет и стыд на весь город...»

На этот раз Миша явился домой сам, через неделю. Совсем больной. Слег и больше уже не вставал. До́ктора и не звали. Зачем звать, когда в десятый раз тоже самое: перепился, от водки болен... А может

быть, была и скрытая мысль — «Пусть помирает, если до того дошел, что ворует, взломщиком стал, последнее наше растаскивает, по́ миру нас пустит...»

Миша лежал больной дней десять, вероятно у него было воспаление легких. Как будто ему стало даже лучше. Но когда мы вернулись в воскресенье от обедни, прислуга Елена встретила нас словами:

«Мишенька помер̈...»

Теперь мать и я плакали. Теперь мне опять было жалко бедного Мишу.

«Незадачный ты мой, Мишенька», причитала мать. — «И сам ты страдал, и нам страданья приносил... Упокой, господи, твою душеньку многострадальную».

Мишу похоронили.

* * *

Жизнь у нас стала спокойнее. Но денег становилось все меньше. Дом был давно заложен у дяди Амоса, брата отца. Проценты по закладной и погашение мать уплачивала акуратно. Но дядя Амос, высокий, здоровый, с большой бородой приезжал иногда не в сроки и просил дать ему денег в счет закладной.

«На торги мне надоть... Ты посочи, Кирьяновна, собери что-нибудь».

«Нет у меня сейчас, откуда взять?.. Подожди до срока», —просила мать. Но дядя Амос настаивал.

«Беспременно надоть! Посочи! Посочи, Кирьяновна...»

Он обнимал мать как бы в родственном порыве, чтобы требование не казалось таким резким. Она не знала, как освободиться от его объятий, такой он был здоровый и сильный. Дядя Амос всетаки не уезжал, пока ему что-нибудь не выплачивали. Мать боялась его приездов, как огня. Наконец, продали дом и совсем с ним расчитались. Переехали в маленькую квартирку. Лавку тоже продали.

* * *

Еще ребенком я понял, что у нас дома холодно, нет ласки. Это произошло случайно. Раньше я об этом не задумывался.

Я шел по улице и остановился у незнакомого дома. Это было в той части города, где я редко бывал. Окно было открыто, и внутри женский голос, укачивая ребенка, пел песенку, в полголоса:

Кто-то черный,
И большой...
На трубе сидит,
С метлой...
Няня, няня, —
Я боюся,
Это верно домовой...»

Наивные слова песенки и особенно ласковый голос произвели на меня непривычное впечатление. Я стоял, пока он не перестал петь...

И тут мне впервые пришло в голову — «Никто не пел мне никогда песенок, когда я засыпал...» Мне стало горько, обидно. Комок появился вдруг в горле и захотелось плакать...

* * *

Когда дедушкины торговые бани перешли по наследству к дяде, дядя решил расширить дело.

Рядом был тоже дедушкин дом, старый и ободранный — его арендовал еврей-тряпичник под склад тряпок: я ходил смотреть, как каждый день выбрасывали из тюков тряпья дохлых крыс.

Дядя перестроил этот дом под ванны. «Семейные Ванны» — появилась большая вывеска.

Билеты в «Ванны» продавались в общей кассе, а сторожить, мыть и менять белье назначена была мать Ули. Ее я знал мало: она редко раньше появлялась. Зато с Улей, девочкой моих лет, я был приятелем. Одно время мы играли на дворе у дедушки. Уля теперь выросла, стала хорошенькой, тоненькой девочкой.

Теперь я догадываюсь, что Уля приходилась мне теткой, также, как и Дунька-Фроська.

Уля с маменькой поселились в комнате при ваннах.

В «Семейные Ванны» сначала никто не ходил. У нас в городе к ваннам не привыкли, предпочитали баню с паром, полко́м и веником. Однако, постепенно выручка от ванн стала увеличиваться. Я слышал разговоры об этом. Дядя был очень доволен. У Ули появилось новое пальто, и она угостила меня как-то винными ягодами и вяземскими пряниками.

«Откуда ты взяла?»

«Купила...»

«А деньги откуда взяла?»

«Девица дала», — просто ответила Уля.

«Какая девица?»

«А из веселого дома».

С этого начался разговор, и выяснилось следующее.

Дворянин Тимошка заболел. Тимошка служил при дедушкиных банях рассыльным и мозольным оператором; иногда заменял кассиршу, иногда дежурил в раздевальной или наблюдал за ремонтом. Потом я узнал, что его фамилия была «Цимошко», а совсем он был не Тимошка, и что он, действительно, потомственный дворянин, как это явствовало из его паспорта. Дедушка всегда звал его «дворянин Тимошка».

Когда дворянин Тимошка заболел, некому было бегать по поручениям, и несколько раз посылали Улю. Она покупала пиво, клюквенный квас, земляничное мыло, папиросы, и еще какие-то конвертики в аптеке. А потом стали ее посылать и за «девушками» в соседние дома. «Девушки» всякий раз давали пять, десять копеек, а одна, Роза, давала всегда по двадцати копеек, и ее Уля особенно охотно звала...

* * *

Я понятно захотел посмотреть на этих девушек. Сидел тихонько в пустом номере и ждал, пока Улю пошлют откуда-нибудь.

Девушки приходили, накинувши на голову большой клетчатый платок, лица почти не видно было...

В одном из номеров была дверь в соседний, и, подняв пластинку в замочной скважине, можно было видеть, что там делается. Мы с Улей подняли заранее и прилепили воском. Но диван стоял в стороне, и ничего не видно было, видели только голого господина.

«Нет ничего интересного», — сказала Уля. — «Я голых господинов раньше видела».

Дворянин Тимошка тем временем выздоровел и вступил опять в свои права.

Тимошка был еще известен своим умением ругаться. Так, как Тимошка ругался, — никто не умел. Он изобретал каждый раз новые, неслыханные ругательства и этим особенно поражал своих слушателей.

Все свободное время Тимошка играл в карты, и всегда это сопровождалось руганью. Особенно обозлившись на Ицку, фактора из «веселого дома», Тимошка вскакивал, делал из полы пиджака или пальто свиное ухо и, тряся им и приговаривая «юсь... юсь», лез на своего партнера. Тот убегал, отругиваясь на жаргоне.

В следующее воскресенье они опять играли.

Я подарил Тимошке две колоды играных карт и попросил:

«Тимошка, можно посмотреть в дырочку?»

«Матка боска... Что ты, что ты...» — замотал он головой.

Но через несколько дней согласился.

«А сколько вам лет?» — спросил он.

«Двенадцатый».

«А вы никому не скажете?»

«Ей-богу, не скажу... Вот смотрите...» — и я перекрестился.

У Тимошки оказался другой номер, где была искусно просверлена дырочка и заткнута тряпочкой: в эту дырочку был виден и диван...

* * *

Еще раньше был при дедушкиных банях рыжий Лейба. Личность таинственная, вроде Флюмны. Всегда серьезный, всегда с медным тазом и черным засаленным саквояжем.

Как-то я видел этот таз полный крови. Лейба молча вынес его из номера и вылил куда-то. Мне казалось, что там не только кровь, но и куски мяса. Потом из того же номера вышел полный черный мужчина и что-то тихонько говорил Лейбе.

Я не решился спросить ни Лейбу, ни других, что случилось. Мне казалось, что Лейба делает что-то вроде Флюмны, что это связано с рождением детей, что об этом нельзя спрашивать. Прошло много времени, прежде чем я узнал, что Лейба «пускает кровь» и вместе с кровью выходят разные болезни. Но и тогда Лейба не упал в моих глазах, так как пускание крови было тоже таинственно.

Другой раз я видел, как Лейба ставил пиявки. У дяди сильно болели ноги. Когда приходили острые припадки, ставни в доме закрывались, все ходили на цыпочках и говорили шопотом, а из спальни пахло какими-то острыми лекарствами. В один из таких припадков приходил Лейба и приносил в банке с водой страшных черно-синих пиявок. Они не помогли дяде, но на меня произвели сильное впечатление.

На даче, летом, был пруд с пиявками. Я их никогда не видал, но говорили, что их там кишмя кишит.

Пруд и Лейба тесно связались в моем воображении. И Лейба, и пиявки были жуткие...

Такие же жуткие, как большая яма на заднем дворе бань. Не яма, а целый пруд. Туда спускалась грязная вода. Пруд был буро-зеленый, вонючий и говорили, что страшно глубокий. В нем утонул Лейбин сын.

* * *

От всех гимназических лет у меня одно непрерванное впечатление — жутко, холодно.

Учителя стараются меня поймать, изобличить в незнании, а я прячусь, хитрю, изворачиваюсь...

Экзамены, как кошмар. До сих пор, когда я нездоров, мне снятся гимназические экзамены.

Я ложился каждый вечер с щемящей мыслью: — завтра опять итти в гимназию! Прибежавши в класс и усевшись на парту,как-нибудь пониже, понезаметнее, я вынимал часы и отсчитывал на циферблате, когда кончатся уроки.

«Вот когда часовая стрелка дойдет сюда, будет как раз половина! Когда сюда, останется ровно час...»

...Учитель уже сидит в классе, я все отсчитываю. Я не заметил, как он вошел, как я вставал вместе с другими, когда он входил.

«Он сидит уже восемь минут, опоздал на шесть минут, всего значит четырнадцать... Пять уроков по пятьдесят пять минут — двести семьдесят пять. Минус четырнадцать — остается двести шестьдесят одна минута... Еще опоздают они наверно в общей сложности минут на пятнадцать — остается значит сидеть с учителями двести сорок шесть минут... Вот еще две минуты прошло! Буду считать до шестидесяти — еще одна минута...»

В таких расчетах проходили уроки.

Не помню, чтобы зазвонил звонок и было жалко, что урок кончился; всегда это был радостный звон.

Но, наконец, наступал желанный момент — последний урок кончен... Я бежал домой, кидал ранец куда попало, и отправлялся на двор или к дяде. Или садился читать книгу, но это не была книга, нужная для гимназии.

Единственный из учителей, о ком я вспоминаю с улыбкой, это Пети. Петр Петрович Пети. Толстый-претолстый, учитель французского языка. Он требовал от нас только одного — абсолютной тишины.

«Чтобы мух был слышен, когда летит...»

Если мух был слышен, все получали четыре и пять. Если был шум, ставились единицы. Когда на завтра было тихо, единица перепревлялась на четверку. Двоек

Петр Петрович никогда не ставил, — их было трудно переправлять.

Выведенный из терпения, Петр Петрович долго смотрел на класс поверх очков, наконец, останавливался на ком-нибудь, вызывал его и, покачивая седой головой и держа наготове перо, говорил:

«Мальшу́к шало́н, несчастный твой родитель! я тебе кол поставляю...» — И ставилась единица из французского.

* * *

В гимназии я ни с кем не сходился, меня не любили.

Был у нас маленький, кругленький, тихий всегда ученик Взбуцкй. На уроке русского языка, как пример на употребление местоимений «оба», «обе», он написал: — «заяц и тигр есть оба дикие звери».

«Вы видели когда-нибудь зайца?» — спросил его преподаватель. Взбуцкий замялся, покраснел:

«Да...»

«А какой заяц величины?»

«Так... средней».

Класс хохотал.

«Ну, покажите рукой, какой он величины?»

Взбуцкий смутился совсем.

«Тигра вы видели в зверинце?..»

«Видел...»

«Заяц больше тигра или меньше?..»

«Приблизительно такой же», — запинаясь, ответил Взбуцкий под неистовый хохот класса.

После урока я пристал к Взбуцкому:

«Ты никогда не видал зайца?»

«Нет...»

«Ты когда-нибудь был в деревне?»

«Нет...»

«И все лето живешь в городе?!»

«Да, все лето... Мой отец портной, и у него работа только в городе».

Почему-то после этого случая мы подружились с Взбуцким. Играть он ни во что не умел, всего боялся.

Прыгать с забора он категорически отказывался, лазить на деревья он не умел. Воды боялся, чтобы не замочить своей куртки. Даже бегать не мог. Он приходил ко мне, и мы вместе читали: он покорно читал все, что я приказывал.

Перейдя в четвертый класс, осенью после каникул Взбуцкий не явился в гимназию. Это прошло в классе почти незамеченным. Через некоторое время к нам пришел его отец и плача рассказал, что «бедный Соломончик умер» и перед смертью поручил передать мне его любимую книгу — «Жизнь Наполеона».

* * *

Все православные и единоверцы должны были петь в церковном хору. Я стал тоже ходить на спевки. Тянул что-то вместе с другими. Но не мог понять, зачем регент «дает тон». Ударит камертоном, и все слушают, а потом уже тянут «до-ре-ми». Я тоже тянул «до-ре-ми», но камертон был ни при чем.

Наконец, регент обратил на меня внимание:

«Что вы там фальшивите?.. Что вы поете?.. «до-фа-ми»?

«Я же и пою «до-фа-ми».

«Идите сюда ближе... Пойте «до-фа-ми».

Я запел. Регент махнул рукой.

Для меня были только сочетания букв «до», «фа» и «ми». Тонов мое ухо не улавливало. Я впервые понял, что у других есть какое-то непонятное мне чувство, музыкальный слух, а у меня нет. Я не жалел, не надо было ходить на спевки и еще дольше простаивать в церкви. Церковь и так надоедала.

Закон божий для всех был легким предметом. Со мной вышло иначе. Наш законоучитель, тупой и злобный, о. Василий, меня почему-то не взлюбил. Я не понимал почему, но было ясно, что он ко мне придирается. Тексты катехизиса я знал вдоль и поперек, мог повторить ночью спросонок, а он находил, что я делаю какие-то ошибки. Я проверял, учил точно, и опять было

неверно. Только у меня и у Космача во всем классе бывали двойки по закону божьему. У Космача потому, что он сказал на исповеди о. Василию какой-то особый грех.

* *
*

Подросши, я стал часто бывать у дяди.

У них был культ самовара. Самовар был всегда обязательно на столе: всегда бурлящий, в пару. С раннего утра до позднего вечера.

«Аксенья, подложи угольков», — говорила тетя Манефа, когда самовар переставал кипеть.—«Не надо, чтобы пел, выживает кого-то».

Мне было всегда уютно и приятно около этого самовара и тети Манефы.

Дядя тоже всегда был дома: дела у него никакого не было. Но утром он ходил в город. Тетя Манефа была очень толстая, а дядя худой и зябкий, всегда боялся сквозняка. Поверх пальто он накидывал обязательно плед, в любую погоду. Даже летом в жару.

«Хорошие копчужки сегодня. Только при мне открыли боченок...»—говорил он, возвращаясь из города. — «Баранок купил тоже, горячие, хорошо с копчужками».

«Прошлый раз тоже хорошие копчужки были», — говорила тетя, наливая себе еще чашку чаю.

«Этот раз еще лучше», — уверенно добавлял дядя, развертывая номер «Света». Он прочитывал отдел происшествий и «корреспонденции из провинции» и, аккуратно сложивши номер, клал его на шкаф. А вечером иногда читал роман Гейнце, печатавшийся в прошлом году. Сразу никогда не читали, ждали, пока кончится, чтобы не утруждать память.

* *
*

«Дядя Павел придет сегодня?» — спрашивала через некоторое время тетя. Можно было и не спрашивать, — дядя Павел приходил каждый день. Он не был

дядей, его только так звали: он был один из живших в фольварке, где мы проводили лето. Дядя Павел — кругленький, седенький старичек, не прочь выпить и ущипнуть Анелю, дочку немого сапожника, или даже Аксенью. При этом лукаво улыбается...

Настоящий дядя и дядя Павел играют всегда в кабалу́. Кабала́ — очень простая игра, но нужно некоторое внимание, а его вовсе нет у дяди Павла. Когда дядя Павел выпьет рюмку водки, он уже совсем ничего не замечает, тем более, что очки у него замусоленные и засиженные мухами. Я играю иногда с ним в шестьдесят шесть, по копейке очко, и всегда его обыгрываю. Впрочем, дядя Павел никогда не платит.

В кабалу́ они тоже играют на деньги, и счет идет годами и как-нибудь заканчивается, тоже без уплаты денег.

Тем не менее дядя Павел сердится, когда проигрывает, и даже ругается:

«Опять мне накостил на кабалу́, ядрена маковка», — бурчит он, не то шутя, не то сердито.

«Дядя, чайку еще налить?» — спрашивает через некоторые промежутки тетя.

«Налей, пожалуй, налей... Не везет мне сегодня, Манефушка! Что карту ни откроешь, все твой благоверный накостит... Неперенье — вот вторую неделю уже так».

Неизвестно, почему дядя Павел считает только вторую неделю, — игра идет так уже несколько лет, всегда одинаково.

* *
*

Дядя Павел старый холостяк, и над ним иногда смеются, что надо бы его просватать. Одно время трунили над ним, что он влюблен в Настасью Марковну, и надо их поженить.

Если не играют в карты, то он в сотый раз рассказывает, как его в Торжке хотели женить.

Рассказ все знают наизусть, но все снова слушают и смеются.

«Шубу себе справил енотовую... Ездию себе по большой улице на иноходчике, полу отвернувши..., чтобы видать было, что еноты, — понимай, какой жених!..»

«А что же она?» — спрашивает кто-нибудь.

«А она в окно смотрит».

«Почему же расстроилось?»

«Не судьба!.. и расстроилось. Испужался я, испужался и уехал, ажно прощай не сказал...»

Новых тем у дяди Павла не было. Но он любил, чтобы его слушали. Говорил он медленно, певуче, как евреи, со вкусом, точно ему нравились самые звуки собственных слов, точно их сам с удовольствием слушал. Когда его спрашивали о чем-нибудь новом, он сразу не отвечал, долго жевал губами, добродушно и с хитрецой улыбался, поправлял очки, смотрел из-под них на окружающих и тогда уже говорил:

«М-да... оно — верно что...»

Сказавши что-либо, он иногда останавливался, и слушателям казалось, что он кончил, и начинали говорить совсем о другом, а он, подумавши, среди чужих фраз, когда уже все забыли, дополнял неожиданно:

«М-да... а я ей и говорю: закройся, Матрёшка».

* *
*

У дяди был когда-то аквариум. Я чуть помнил это. Аквариум стал течь, и его выбросили. Через несколько лет я случайно наткнулся на него на чердаке и предложил дяде продать мне. Сделка состоялась — за три рубля, с рассрочкой платежа.

Я починил его, выкрасил и поставил на окне в моей комнате.

Аквариум продолжал хронически течь. Я замазывал и хлебом, и суриком, и мылом, и смолил. Все равно тёк, и под окном стояла лужа.

Но мне хотелось еще устроить фонтан. На шкаф я втащил бочёнок от огурцов, по стене провел от него резиновую трубку, и фонтан стал действовать. Но воду

приходилось таскать ведрами на шкаф и ведрами же выливать из аквариума. Я таскал... Но кончилось все-таки катастрофой: кто-то задел резиновую трубку, она выдернулась из бочёнка, и вся вода вытекла в шкаф!..

Я всегда что-нибудь придумывал, и всегда кончалось катастрофой...

Так как в моей комнате было очень тесно, я решил устроить «американскую кровать». Откуда я взял, что это по американски, не помню. Может быть, просто сам выдумал... Со мной не редко так бывало: я выдумывал что-нибудь и так привыкал к своей выдумке, что мне уже искренне казалось, что это было в действительности...

Я купил на толкучке четыре подержанных блока, ввинтил их в потолок и четырьмя веревками привязал кровать, чтобы на день подтягивать ее к потолку и освобождать таким образом комнату... При первом же опыте кровать с треском развалилась, матрацы и перекладины посыпались мне на голову...

* * *

В «Ниве» я прочел объявление:

Выписывайте за 1 рубль 25 коп.!

сто визитных карточек, самодействующий штемпель с полным именем, отчеством и фамилией заказчика, десять пикантных открыток, брелок для часов и сургучная печатка.

Я собрал, наконец, рубль двадцать пять копеек и выписал. И пикантные открытки, и самодействующий штемпель меня интересовали одинаково горячо. Я считал дни и часы, когда придет посылка. Наконец, получилась. Все было много ниже ожиданий, но я впервые увидел напечатанной свою фамилию и был доволен:

Арсений Павлович
Аристархов.

Всё в доме стало покрываться Арсениями Павловичами Аристарховыми. Переплеты книг и страницы

внутри, обои, подоконники, носовые платки... Даже тарелки. Но с тарелок смывалось...

Я давно мечтал о визитных карточках: теперь они были! Но для чего они нужны? На новый год делать визиты и оставлять карточку? Но как же оставлять, если люди дома?.. А на новый год все постоянно дома, ждут визитеров...

Селивончук — тот приходил, говорил: «честь имею вас поздравить с новым годом», сидел несколько минут молча, аккуратненько положивши на колени большие красные руки, и, уходя, подавал хозяйке и другим членам семьи свою розовенькую с цветочками визитную карточку:

«Вот разрешите предложить на память...»

Но над ним смеются...

Я составлял список знакомых, придумывал, кого бы еще прибавить, но все было мало. Я включил отца Соломончика и хозяина бараночной, но все было мало. Красоткин говорил в гимназии, что у него шестьдесят два визита. Какой он счастливый!.. В него влюблены почти все гимназистки. Любой из них он может сделать визит, и там будут очень рады. Как я завидовал ему, какой он красивый! И странно как: фамилия — Красоткин...

Года через три мне сказал кто-то, что неприлично иметь визитные карточки, напечатанные штемпелем. Действительно, даже у Селивончука были настоящие печатные.

* * *

Дядя играл на гитаре. Вероятно, очень плохо, но я все равно не понимал. Эта же гитара служила нам для игр и изображала то лодку, то пушку, то котел. Вид у нее поэтому был печальный, — колки сломаны, струны оборваны. Когда на дядю находил музыкальный стих, — всегда это бывало под вечер, в полумраке, — он исправлял поломки и пел вполголоса, сам себе акомпанируя:

«Мне неизвестного прихода
Был такой сердитый поп,
Что четыре сряду года
Бил дьячка кадилом в лоб...»

Песенка мне очень нравилась. Я считал ее кощунственной, и это придавало ей особую пикантность. Мать не слышала ее, а то бы запретила.

У нас дома изредка «спевала» кухарка. У нее были грустные, заунывные песни. После мотанья без устали целый день ей не очень хотелось петь. Но все-таки иногда она пела, когда все уходили из дому; пела что-нибудь молитвенное, и на меня это пение наводило тоску.

«Спой ты что-нибудь веселое», — говорил я ей.

«Не, паныч, не можно... Пане ксендже заказал спивать матке боской и пану Езусу...»

* *
*

Мы часто ездили на могилу отца, а потом и брата.

На могиле стоял большой памятник со стихами. Стихи сочинялись там же, где делался и памятник:

«Спи, друг мой незабвенный,
Настанет день благословенный,
И мы увидимся с тобой.
Вдова второй гильдии купца
Анна Кирьяновна Аристархова».

В дни, когда на кладбище бывал священник, служили литию. Ему вручался список родных и знакомых, — даже незнакомых, о ком только слышали: все равно платить рубль... После литии священник вынимал из кармана просвиру. Целый день он ходил по могилам и служил литии и все вынимал из кармана просвиры.

«Вот так карман!» — думалось мне.

Над могилами шумели старые сосны, вдали бухали выстрелы на артиллерийском полигоне, гнусавое пение относилось ветром: опять служилась лития в конце кладбища, где хоронили бедных. Там она шла быстрее,

псаломщик пел свое, а священник свое, одновременно, глотая слова и не договаривая, и просвиры не давал...

Приходил кладбищенский сторож и рассказывал последние новости: кого и как хоронили, кто новый памятник хочет заказать, у кого ограда повалилась...

Весной, на Радоницу, на кладбище собиралось много народу, устраивали на могилах поминки, с выпивкой, со смехом: у нас этого не делалось, грешно.

* * *

Для поездок на кладбище у нас был постоянный извозчик, — Никифор. Никифора знали все. Он возил покойников, в старом дребезжащем катафалке. Катафалк был церковный, а Никифор доставлял лошадей. Своя лошадь была у него одна, остальных он брал на прокат у других извозчиков и часто жаловался, что притесняют его...

Лошади покрывались черными замусоленными попонами, а сам Никифор облачался в ливрею. Он очень гордился своим положением.

Покойники бывали не всегда, и в обычные дни Никифор ездил в ободранной пролетке, без верха.

Общительность у него была неограниченная. Он сидел на козлах боком, в заштопанном кафтанишке, с большим кнутом в руке. Кнут был всегда обращен к седоку, но иногда он его показывал лошади: «Вишь!.. мотри!..» Другой рукой он, не переставая, дергал вожжи, не глядя на лошадь, и все рассказывал... Лошадь сама знала, куда надо.

Рассказы были все о том же — о покойниках. Кого и когда свез, кто плакал, на скольких лошадях вез, были ли крепостные священники... Никифор всех знал поименно. Знал точно и всех предстоящих покойников:

«А Иван Памфилыч помрёт скоро... слаб совсем... У Трифоновых ребёночек должен на днях помереть, животиком страдает...»

Опять показывал лошади кнут:

«Вишь!.. мотри!..» — и снова поворачивался, к нам, задевая кнутом по траурной шляпе матери.

«А Шёлков то живет да живет, даром что умалишенный... Одначе, сказывали, слаб уже стал... Я вот подсобираю деньжонок на случай, попону новую надо будет справить. Староста ведь...»

У матери Никифор неоднократно занимал деньги, и потом мы их отъезжали.

«Ты не сумлевайся, Кирьяновна, я не замотаю...»— говорил он. — «Не при жисти, так апосля смерти отработаю...»

Он добродушно намекал, что повезет ее после смерти на кладбище, как и прочих.

* * *

Несколько подальше было кладбище старообрядческое, и мы потом ехали туда, на могилу дедушки и бабушки. Там служили «панафиду». Совсем уже состарившийся Сидорович пел скрипуче и печально и поминал усопших рабов божьих. Двое певчих, подстриженных в скобку и намазанных деревянным маслом, тянули без конца — «Гос-по-ди-по-ми-луй-гос-по-ди-по-ми-луй...», все тем же неестественным гортанным голосом, и меня занимало, что у одного выходило все время «ди-по», «ди-по»..., а у другого — «по-ди», «по-ди».

Сидорович крестообразно кадил на могилки, и кадило у него было не церковное, а праведное — с ручкой и старообрядческим крестиком...

У дедушки когда-то стояли в чайной два таких кадила, и я любил их рассматривать и открывать.

В чайную приходили знакомые евреи и вместе пили чай, только, понятно, из другой посуды. И я удивлялся, как это кадила стоят при них в чайной... С православными было строже, — они в дом вовсе не ходили.

Мать чувствовала себя почти чужой на могиле своих родителей. Сидорович смотрел на нее с сожалением

и участием: при нем случилась вся эта беда, отпадение от праведной веры, измена...

Чувства матери передавались и мне.

* * *

Дела наши с каждым годом шли хуже. Мы переехали в бывший дедушкин флигель. Раньше в нем была больница, и до сих пор оставался больничный запах. Обои меняли и потолки белили, но запах впитался к штукатурку, в пол...

Я чуть это помнил. Дедушка сдал тогда флигель под больницу для проституток. Родственники пробовали протестовать, но дедушка настоял на своем. Он только улыбался в растрёпанную бороду:

«Никакая хвороба вас не возьмет... Хошь они и девки потаскущие, да лечить все одно надоть... Пускай лечутся, стервы!..»

«Девки потаскущие» в белых балахонах и чепчиках, в хлюпающих туфлях на босу ногу, бродили по дедушкиному двору. Я бегал тут же и был с ними в большой дружбе. Дедушка ходил по двору, примерно, в таком же костюме, как и они, с неразлучной палкой, всегда без шапки, и разговаривал с девками потаскущими. Справлялся, которая чем больна, лучше ли стало... Хлопал их по понравившимся ему частям, в особенно большие груди тыкал пальцем:

«Ишь ты, стерва! Какая молочная...»

Им нравилось это, они любили дедушку. Когда дедушка в пятницу ехал на базар, девки потаскущие толпились у коляски, стараясь чем-нибудь услужить, — поправляли его халат, подавали палку... Кривоногая Проса гнала их прочь:

«Уту, бестыжие!..»

Однажды, бегая на дворе, я сильно рассек голову о железную штангу. Качали воду, а я выбежал из-за колодца неожиданно, и штангой мне угодили как раз в лоб. Меня снесли в больничный флигель и сделали перевязку. Ночью, дома, перевязка сползла, и до утра я

плакал, не могли остановить кровь. Шрам остался навсегда.

Через несколько дней, еще в повязке, я опять бегал по дедушкиному двору. Сонька, одна из проституток, остановила меня и поцеловала. На нее накинулась Афимья:

«Ты что же, лахудра, ребенка цалуешь?!.. Не знаешь разве, какая есть?..»

«Ты не лайся», — ответила та. — «Я фельдшерицу спрашивала, у меня хвороба не такая... и я вымывшись сейчас..»

Другой раз, накануне какого-то праздника, меня позвали зажечь лампадку в одной из палат. Я зажег, но не понял тогда, почему они сами не могли это сделать.

* * *

Наша квартира во флигеле была маленькая.

Я переставлял мебель, перетаскивал ковер из одного угла в другой, подбирал по особому накрахмаленные гардины, чтобы казалось богаче...

Через несколько дней шла новая перестановка: на место гипсового амура с раковиной ставились два голенастых умирающих фикуса, стулья устанавливались среди комнаты, вокруг единственной пальмы с тремя листами, и под пальмой ставился амур... Гардины подкалывались опять новым манером.

Фикус окончательно отказывался расти.

«Червяк его ест», — было общее мнение. Я уже в который раз вываливал его из вазона и искал червяка, но не находил.

Наш классный наставник Сергей Васильевич считался лучшим в гимназии. Пол-урока он проводил в издевательствах и насмешках над нами. Он заставлял выворчивать карманы и выкладывать на стол содержимое, читал найденные в кармане записки, ловил на курении. Потом он решил обходить квартиры учеников, «знакомиться с их домашней обстановкой».

Я знал, что на днях придет ко мне.
Опять переставлялась мебель.

* * *

У всех родных и знакомых гостиная была одинаковая. Фигурный стол с кривыми ногами, покрытый филейной или вышитой скатертью. Диван, два кресла и несколько мягких стульев.

Посреди стола — лампа с бумажным абажуром. Он надевался поверх стеклянного колпака с матовым рисунком. Все лампы и колпаки покупались в магазине Гордона на Вокзальной улице. Под лампу клалась круглая подкладка, вышитая мелким крестиком по картону, с дырочками или мохнатая из разноцветной шерсти. Из той же самой шерсти, которая на зиму, мелко настриженная разбрасывалась по вате между оконных рам. Абажуры и подкладки не покупали. Они дарились знакомыми, «своей работы».

Стол, диван и кресла стояли у всех на ковре посреди главной стены. Мне это казалось неприличным шаблоном. Я пробовал ставить все в угол, но тогда выходило некрасиво с ковром. Примерял стол рядом с диваном, с другой стороны стола кресло, но тогда не умещалось на ковре. Теперь вариант был такой: диван немножко наискось в угол, за ним амур с раковиной. Подставку для амура я сделал сам из кухонного табурета. В раковине визитные карточки... Перед диваном, тоже наискось, ковер, на краю ковра стол с лампой, а с другой стороны дивана фикус и пальмы и около них два кресла!.. Это было неудобно, но оригинально. Хуже всего, что визитные карточки в раковине амура оказались за диваном и были не видны — лазить к ним надо было через диван. Но иначе выходил пустой угол... Наконец, вынул карточки из раковины и поставил их на стол в голубой надбитой тарелке. Положил еще семейный альбом и две книги, самые умные.

* * *

Ранец уже несколько дней не отправлялся под кровать, а висел выпорожненный на специально вбитом гвозде. В тетрадки были вложены чистые клякс-папиры, а в общей тетради замазал всех чертей.

Было приготовлено несколько капель одеколона с уксусом, — это льется на раскаленную камфорку, и в комнате тогда хорошо пахнет.

«Сегодня я зайду к такому-то, такому-то и такому-то...»

Наконец, была и моя фамилия. Я даже обрадовался, — все приготовлено.

Прибегаю домой после уроков, чтобы сделать еще два- три последних удара кисти, для полной гармонии, и — о, ужас!..

У нас вытопили русскую печь, и в ней тушат кочаны капусты для моченья на зиму: квартира пропитана кислым прелым запахом. Даже на улице слышен запах!.. Никакое куренье не заглушит этого запаха... Я бросился на кровать, готовый заплакать. Надо было быстро решать, что делать. Я решил: в доме потушили все огни и не отворили Сергею Васильевичу.

Назавтра, в классе, я заявил, что умерла моя старая нянька, и мы все были у нее, и я прошу отпустить меня завтра на ее похороны...

* * *

У знакомых гостила барышня из Петербурга. Для меня она была существом высшего порядка. Я считал ее представительницей аристократизма, какой есть только там, в столице, в мире, мне недоступном... Несколькими годами старше меня, хохотушка, задорная. На меня она не обращала никакого внимания, и меня это не обижало: — она и не должна была иначе относиться ко мне, она существо иного мира.

Как-то я пришел вечером, и вышло так, что остался с ней вдвоем. Она сидела за круглым столом в гостиной и рассматривала «Ниву». Я сидел молча рядом и смотрел на нее.

... «В море царевич купает коня,
Слышит: «Царевич, взгляни на меня!»
Слышит царевич: «я — царская дочь,
Хочешь провесть ты с царевною ночь?..»

прочла она вслух подпись под иллюстрацией.

«Ах, как это мило!.. Арсений, перепишите это для меня», — пришла ей фантазия.

Я попробовал переписать тут же, но не мог. Рука дрожала, выходили кривые, некрасивые строчки. Дома я долго не ложился спать, все переписывал и все, казалось, нехорошо... Я чувствовал ее около себя, ее дыхание, запах ее волос, слышал ее голос: — «Арсений, перепишите это для меня...»

На диване, где она сидела, осталась ее шпилька. Я ее спрятал. Теперь эта шпилька лежала около меня... Я взял самую лучшую коробочку, написал внутри «вещественные доказательства невещественных отношений» и положил туда шпильку, предварительно завернувши ее в вату и надушивши цветочным одеколоном...

Когда на завтра я принес ей каллиграфически переписанные строчки, она едва вспомнила, что просила меня переписать. Взяла бумажку и забыла на столе в саду, и ее снесло ветром...

Прошли годы, а эти четыре строки все кажутся мне какими-то особенными, каких нет больше в русской поэзии.

* * *

Как-то у них же играли в мяч. Я был горд, что играю с нею.

Сделавши промах и желая оправдаться, указывая на кого-то из игравших, я сказал:

«Он меня обманил...»

«Обманил!.. Как это мило!..» — расхохоталась она.

Я покраснел.

«Отчего вы с меня смеетесь?»

Она стала смеяться еще больше Я бросил игру и убежал.

«Обманил!.. обманил!..» — жужжало у меня в голове, и я годы краснел, вспоминая.

Я думал:

«Почему я не родился графом или князем?.. Тогда я правильно говорил бы, надо мной не смеялись бы... Почему?..»

Я никогда еще не видел графов, знал их только по книжкам.

У других знакомых был крокет, и дети играли вместе со взрослыми. Мне давно хотелось тоже попробовать играть. Я все ждал, когда меня позовут. И вот позвали, — обрадовался. Сразу же вышло смешное. Я зацепился за проволочные ворота, не видя их, и упал... Все кругом смеялись. Попробовал еще, но опять случилось то же самое. На этот раз не упал, но выдернул дужку. Понял, что мне из-за моей близорукости в крокет играть нельзя. Было очень неприятно.

* * *

Мысль о конце света, о внезапном прекращении этой жизни и начале страшной вечности жила во мне постоянно, не только в раннем детстве, но и позже (и сейчас еще оживает иногда).

Мысль вдруг появлялась в самые неожиданные моменты, в формах наивных, но назойливых и неотвязчивых.

...Одеваясь утром, торопясь в гимназию, я вдруг лихорадочно начинал спешить. Руки дрожали... Вот, вот сейчас, сию секунду что-то грянет, затрещит, заколеблется, повалится, кончится этот мир, и начнется вечность, и в эту вечность я перейду неодетый и так буду жить уже веки веков, дальше уже нельзя будет изменить ни на иоту. ...Кто-то будет судить меня за то, что я не одет, и от этого зависит моя жизнь в вечности... А вечность страшная, холодная, и никто никогда не может уже прекратить ее...

Проснувшись ночью, я думал опять о вечности, о том, что нет никакой силы, могущей изменить или кон-

чить вечность, что нельзя уйти из нее никаким усилием, нельзя уйти никогда, никогда, никогда... Я дрожал, зубы стучали, я плакал, засунувши голову под подушку, и в глазах двигались огненные спирали...

Сходя по лестнице в гимназии, я вдруг начинал нервно торопиться, стремглав бежал вниз... Сейчас все кончится, страшная тяжесть и тьма придавят лестницу, и образуется вечный железный пол, там, где я стою, и железный потолок на верхней ступеньке... Скорей проскочить, иначе высота вечного мира будет всего в одну ступеньку, в две... Если в одну ступеньку, то раздавит череп, если в две, то можно будет только ползать... Ползать вечно, вечно...

Потом, через несколько минут, я понимал абсурдность этой боязни, а через два дня опять думал так, сбегая по лестнице, снова торопился и с усиленно бьющимся сердцем прыгал с последних ступенек.

...Или, ложась спать, я надевал чистую ночную рубашку и вдруг начинал торопиться. Трясущейся рукой расстегивал пуговицу воротника и думал, как было бы ужасно, если бы я еще не успел расстегнуть пуговицу, а этот мир как раз в этот момент окончился бы... Все останется так, как застал этот страшный момент, и потом в наступившей вечности нужно будет во что бы то ни стало продеть голову в застегнутый воротник!.. Для этого придется обрезáть или сжимать мой череп, и никакие силы уже не смогут этого изменить...

* * *

Еще иногда мне казалось, что надо скорее добежать до двери и дотронуться до нее как можно выше справа, правой рукой... Если не успею, и в этот момент рухнет мир, я останусь на веки среди несчастных... Судьба представлялась мне в виде четырехугольника: — наверху справа самые счастливые, чем левее и чем ниже, тем несчастнее. Надо дотронуться, как можно правее и как можно выше, и сделать это, как можно скорее, пока не грянул конец всего...

Порой и сейчас, уже взрослый, я не могу победить в себе это желание дотронуться до чего-нибудь справа вверху!..

Подходя к двери, к порогу, я вдруг стремительно перескакивал через него. Мне почему-то казалось, что порог проклятое место, и если стоять на нем, а в этот момент будет конец света, то попадешь в вечные мученья... Надо как можно скорей его перескочить...

Тут — все временно, а там, после конца, все будет вечно. Все равно, что будет здесь, лишь бы подготовиться к вечному...

Под влиянием этих мыслей, я делал самые глупые поступки, совсем не объяснимые для окружающих. Надо мной смеялись...

Ожиданием жуткого пропиталась душа. Страшный и мстительный Бог создал такой жуткий мир. Все должны жить в постоянном страхе. О страхе божием я слышал и в гимназии, и в церкви, и дома — везде.

* * *

Я не умел танцовать.

За кулисами театра я тайком познакомился с артистом Крамесом-Задунайским, и он как раз собирался открыть «танцовальные курсы».

Театр был старый, деревянный. Его осматривала постоянно комиссия, чтобы определить, можно ли оставить еще на сезон. Комиссия решила, что нужно осторожно спускать занавес, «чтобы не дрожали стены». Я видел только этот театр и находил его превосходным.

В театр я прибегал тайком, на репетиции: Соломончик жил как раз на соседнем дворе, и я познакомился с сыном афишера Лейбы. Это знакомство открыло мне доступ за кулисы.

На курсах у Крамеса-Задунайского оказалось еще двое учеников: сухопарый аптекарский помощник с длинным кривым носом и близорукими выпуклыми глазами, — от него всегда пахло иодоформом, — и толстый, неуклюжий приказчик из москательной торговли.

Сам Крамес был еще толще приказчика, мягкий и расплывчатый, — за него никак нельзя было ухватиться.

Напряженно и внимательно заучивал я па мазурки, прыгая вокруг комнаты, до пота, все быстрей и быстрей. Так же акуратно прыгали и мои компаньоны: иногда мы сталкивались и тонно извинялись, как показал Крамес.

Дам не было, даму изображал Крамес.

* * *

При первом же публичном опыте с настоящей дамой, я сразу сконфузился. С этого времени я уже не мечтал больше о ловкости Вронского на балу, в «Анне Карениной». А именно его я имел раньше в виду.

Я решил:

«Убегу из дому, убегу далеко, далеко...»

Это самое далекое я представлял себе всегда в виде Сандвичевых островов...

«Наймусь юнгой на корабль и уеду. Там поступлю на кофейную плантацию и буду работать. Я буду таинственной личностью. Буду думать, что я какой-нибудь преступник, бежавший из отечества, или, наоборот, — скрывающийся инкогнито принц или миллионер... Там всегда тепло, много цветов; вечером после работы все танцуют, поют... У меня будет маленький домик с пальмами, ананасами и бананами, и попугай. Я буду лежать в гамаке под пальмой, а на ней будут кривляться и строить рожи мартышки, а мой попугай будет передразнивать их... Я наживу миллионы и через много лет приеду обратно. Все будут говорить:

«Вы знаете, кто это?.. Это — знаменитый миллионер, Аристархов... таинственная личность...»

* * *

С одной стороны нашего города была крепость, с другой — пехотный лагерь. Там стояло летом несколь-

ко полков. В каждом полковом собрании раз в неделю устраивались танцы, и в офицерских бараках и палатках в эти дни особенно сильно напивались. Пили много и в другие дни, но в эти особенно.

Мой старший брат познакомил меня с офицерами: он иногда вместе с ними пьянствовал. Меня тоже хотели поить водкой, но я отказывался, и иногда пил только какое-то сладкое вино.

Меня тянуло в пьяную атмосферу этих бараков, но в то же время я боялся ее.

Когда темнело, там появлялись женщины-арфянки, проститутки и «швейки». Некоторые из них начинали скандалить, напившись, но их быстро унимали. Деньщики таскали откуда-то все новые бутылки пива и водки. Потом сельтерскую.

Мне предлагали оставаться ночевать, на сене, в сарае, но я боялся чего-то. Ночью, часа в три, я пешком отправлялся домой.

Один раз я все-таки остался и, лежа на сеннике, долго слушал разговор за деревянной перегородкой. После этого разговора я сюда больше не ходил...

Барак занимали подпоручик и прапорщик. Фамилия прапорщика была Батневский. Он учился в нашей гимназии, но был много старше меня. Его исключили из четвертого класса, и он пошел в вольноопределяющиеся. Он был красивый и считался самым сильным в гимназии. Гимназистки были влюблены в него. Как и в Красоткина.

Еще остался ночевать в бараке пожилой капитан, горький пьяница, но добрый и милый человек. Когда другие ругались и ссорились, он всегда мирил и рассказывал неприличные анекдоты.

«Дура баба, не ссорься... постой, дура баба», — говорил он пьяным голосом. — «Вот анекдотец еще новенький расскажу... Вот, понимаешь, дура баба, в аптеку ночью приходят двое...»

Теперь за стеной говорил этот капитан с Батневским.

«Постой, дура баба... Ты ведь помрешь! Нельзя так, дура баба, лечиться надо».

«Кой чорт лечиться,» — отвечал пьяный Батневский. — «Больше девок и крышка... Выпьем, брат, еще по стаканчику!.. Все болезни заполучил, полная коллекция... А он говорит лечиться...»

«Тебе пить нельзя, дура баба, помрешь... Кондрашка через год хватит, дура баба, в сумасшедшем доме сгниешь».

«Девок больше и к чорту! Выпьем, брат!..»

«Сколько ты заразил, дура баба?.. Девки-то, девки, а не ладно, дура баба... Танька-то утопилась...»

«К чорту! Выпьем, говорю...»

Мне стало страшно. Стало казаться, что я тоже заражусь от этого сенника, от подушки, от стакана, из которого я пил. Я подумал о женщинах, которых тут видел. Я ведь подавал им руку, и с самим Батневским здоровался за руку... А одна меня вчера поцеловала...

Я дождался, как только рассвело, тихонько оделся и ушел, ни с кем не простившись.

* *
*

У нас в городе была «Жандармская» улица. Жандармов на ней не было, но зато посреди шла глубокая канава. В канаву спускалась грязная вода из бань. Вода была густая, вонючая, мутная, зеленая сверху, как от лягушечьей икры. Лягушек не было, — они издохли бы. Я в ранние годы нередко играл тут, устраивая плотины и каналы. Всегда тут же копошилось много еврейских ребятишек: они делали хлебы из грязи и продавали друг другу за кусочки цветного стекла, но иногда участвовали и в моих запрудах...

Нередко происходили ссоры: все хотели продавать, и никто не хотел покупать...

Они переходили улицу, взявшись за руки, под предводительством какого-нибудь семилетнего Шлёмы, и у всех представителей мужского пола, сзади из про-

рехи высовывался кусочек рубашки, далеко не очень чистой...

Гуляя теперь с мечтами о далеких странах по бульвару, я вдруг узнавал в изящной барышне, красивой, как могут быть красивы только еврейки до восемнадцати лет, свою прежнюю сверстницу по канаве на Жандармской улице!.. Одна из них была особенно очаровательна. В четырнадцать лет она была уже совсем взрослой.

Я сконфузился, узнавши ее, и не нашел, как заговорить...

Ее родители содержали дом терпимости на этой же Жандармской, и это в моих глазах делало ее еще более интересной. Назавтра я пошел к дому, где они жили, и долго ждал за углом, чтобы еще раз ее встретить. И опять, увидевши, не заговорил и сделал даже вид, что не узнаю ее...

Потом дома глубоко презирал себя. А она куда-то уехала.

В коробочке «вещественных доказательств невещественных отношений» я решил записать ее имя. Ее звали Сора; фамилия — Беленькая. Я записал «Сорочка Беленькая — я ее люблю». Записал мелко, чтобы никто не прочел...

* * *

Мне было пятнадцать лет, когда я решил во что бы то ни стало поехать за границу. Куда за границу — все равно.

Я уверял домашних, что путешествие заграницей стоит очень дешево, гораздо дешевле, чем в России; что все большие люди в молодости путешествовали, что это оплатится моей блестящей карьерой в будущем, что за эту поездку я изучу языки, и т. д. Никто из родственников или знакомых за границей не был, и меня особенно это побуждало, — я сразу стану особенным среди них...

К тому же у меня стали болеть глаза, и я настаивал, что необходимо посоветоваться заграницей.

Наконец, после переходных экзаменов в шестой класс, я настоял на своем. Мне дали семьдесят рублей, и я уверял, что за эти деньги привезу еще всем подарки.

Языков я не знал, но меня это мало смущало.

Решил писать дневник путешествия. С той же минуты, как поезд тронулся с нашего вокзала, я стал вести его. Я считал, что все нужно записывать тут же, на месте. Только тогда будет интересно, ярко и правдиво. О поезде нужно писать в поезде же, о горах — в горах...

«Вот тронулся поезд!.. Вокзал остался позади!.. Проехали железный мост!..»

Я не смотрел даже в окно на оставшихся на платформе, а сразу же стал записывать.

На границе, в Александрове, я все время ходил с своей книжкой и писал.

«Вот я вступаю в другой мир, неведомый и заманчивый, полный чудес...»

Станционный жандарм уже посматривал на меня косо: я заметил это и стушевался.

Все было полно необычайного интереса. Мне пришлось долго сидеть на границе, так как я хотел ехать в четвертом классе, а такой поезд шел только один раз в день. Но мне не было скучно. Я ходил около станции, читал немецкие надписи, поднимал камушек, вертел в руках и думал:

«Это заграничный камушек... Ему суждено лежать за границей... Если бы он мог говорить, то он говорил бы по немецки, а не по русски...»

* * *

В Вену я попал в субботу вечером и на утро же, почти не спавши, в удешевленном воскресном поезде поехал в горы, в Мюрцушлаг. Я никогда раньше не видел гор...

В Мюрцушлаге мне захотелось взлезть напрямик на одну из гор. Я не долез и до половины, куда-то свалился и разбил ногу Сейчас же написал:

«Вот только что сорвался с обрыва, разбил ногу, идет кровь... Альпы, настоящие Альпы! Беру себе на память камушки из реки под обрывом и выцарапываю на них — «Aristarhoff Mürzuschlag».

На обратном пути явилась фантазия сохранить на память железнодорожный билет от этой поездки. Меня задержали на вокзале в Вене, как безбилетного. Билет лежал в кармане, а я твердил:

«Ich habe verloren meine Billette... Ich habe verloren...»

Со мной долго возились. Наконец, нашелся контролер, который вспомнил, что видел мой билет в поезде. Составили какой то акт, и меня отпустили. А пока они возились, я сидел и записывал:

«Вот напротив сидит жирный немец с сигарой и что-то пишет. Вероятно, протокол о моем билете. Вот он смотрит на меня и, должно быть, удивляется, что я тоже пишу...

* * *

В Швейцарии я записывал:

«Вот сижу на вокзале в Цюрихе и ем настоящий швейцарский сыр. Вот где можно ручаться, что настоящий! Но странно, что они называют его fromage de gruyère...»

* * *

Как я ни экономил, деньги быстро уходили. Уже едва хватало на обратную дорогу.

Ни у какого окулиста я не был, так как это стоило бы двадцать крон в Вене и двадцать пять франков в Париже, а таких сумм я тратить не мог.

В Париже я прямо с вокзала, не заезжая из экономии в гостиницу, с чемоданчиком в руке, отправился на Эйфелеву башню.

Я записывал:

«Сейчас буду подниматься на высочайшую в мире башню! Стоит два франка. Это — Эйфелева башня, от имени ее строителя Эйфеля... Вот, уже поднимаемся...»

Потом дальше:

«Сижу на самой верхушке! Сейчас буду писать открытки родным и знакомым... Люди отсюда, как букашки, почти не видны простым глазом...»

От Эйфелевой башни пошел пешком к собору Нотр-Дам. Тоже слазил на крышу: хотел еще выше, но туда не пускали...

Здесь я почувствовал, как сильно ослабел за последние дни: я не доедал, почти ничего не ел, кроме кофе с хлебом. Когда я спустился с собора, у меня закружилась голова, и я упал на тротуар. Около меня оказалась какая-то дама: она ласково говорила, у нее были сильно накрашенные губы, — мне бросились именно они в глаза. Она что-то долго мне говорила по французски, но я понял только, что она спрашивает, что я пил; она думала, что я пьян...

Я пришел в себя, и она повезла меня на свою квартиру...

* * *

Этим кончается мое детство.

V.

СИДОР ДАНИЛЫЧ.

Арсений и другой Аристархов, Сидор Данилыч, его двоюродный дядя, ехали в двухместном купэ по Варшавской дороге.

Только начинало светать. Арсений проснулся и тихонько пробовал открыть окно, лежа на верху.

«Ты не спишь?..» — окликнул снизу Сидор Данилыч. Уже пожилой человек, худощавый, с жиденькой бородкой и странными седыми плешками. Нервный и подвижный. Плешки, разбросанные по рыжеватой голове, были смешные, но как будто делали лицо умнее.

Арсений хотя уже несколько привык к тарабарскому языку и своеобразному ходу мыслей Сидора, не сразу сообразил, в чем дело. Ясно было только, что речь идет о каком-то дополнении в договор на большой подряд: договор завтра должен быть подписан, — за этим ехали.

«На-ка карандашик, средактируй мне...», — и Сидор протянул снизу заношенное в кармане какое-то письмо. На чистой страничке была написана его «редакция», а на другой должен был написать исправленную Арсений.

«Чтоб не с потолка и чтоб полная ясность была, на каком свете стоящие. Исчислено лишку, — скидываемое при окончательном... больше хошь, чем в смете положенное, — плати по единице стоимости и тому подобное... мы не хочем ни вашего, ни нашего перехо-

дящего... Тутока в седьмой смете ошибка в пользу подрядчика на 1800... надоть было 199 рублей 90 копеек, а ён 1999 рублей насчитал, не хочем вашего, отдай целинку, с божей помочью, и чтобы ясно, как апельцын круглый... Чорт ону знает, могит быть в другом месте в их пользу ошибка находящая... Ясность желательная, а не в карты играть, и тому подобное... чтобы знать, на каком свете стоим, а не кот в торбе покупаемый...»

Сидор Данилыч пояснял еще дальше, быстро и путано, торопился, перескакивая с одного на другое, и снова возвращался к старому, все время на своем своеобразном языке, с прибаутками, поговорками и особым пристрастием к причастиям. Он не знал, понятно, что эта форма глаголов так мудрено называется, как не знал и самого глагола, но ему казалось, что в такой более длинной и замысловатой форме слово выходит приличнее, убедительнее. Сказать, например, «ошибки исправляющиеся» или «ошибки исправляемые» — более внушительно и веско, чем просто «исправить ошибки».

Нормальные русские слова он употреблял с опаской, зато иностранные, случайно подхваченные, вставлял всюду. «Нечего там «ратацею» разводить», — частенько говорил он: «ратацею» он сделал из «рацеи», где-то слышанной. «Будуар» и «бенуар» слилось у него в одно; из газеты подхватил слово «обструкция», но «обструкцию» сделал « абстракцией»; вместо «аппарата» говорил «препарат»; артишоки спутал с шампиньонами и сделал одно — «артишоны» и так заказывал для торжественного обеда...

* * *

Сидор Данилыч не сразу остался доволен написанным. Несколько раз допрашивал, а нельзя ли, чтобы не так прямо было сказано, чтобы только косвенно, а выходило бы то же самое; чтобы вместе с тем никаких сомнений в юридическом толковании быть не могло.

Опять принимался пояснять и дополнять свою мысль, еще более пространно и путано.

«Кажный ошибиться могит, хошь и казенное дело, контролирующее, ошибка могущая в обеи стороны — все одно в карман, аль из кармана, чтоб светло и ясно было, как апельцын круглый... ни вашего, ни нашего переходящего... Опять же, чтобы и в нос не лезущее, нахрапное...»

Арсений, наконец, понял, в чем дело.

«Да вы скажите прямо, Вы хотите, чтобы этот пункт давал возможность переделать потом все сметы наново, и чтобы это в глаза сразу не бросалось?»

«Вот это люблю!» — вскочил с постели Сидор. — «Не даром про тебя дядья говорили, что голова... ...Схватывающая голова! По исполнительной строющее — тутока стесненное, суммой она сумма и остающая ни слева, ни справа ону не объедишь. Какое тамока ни натягиваемое и экономлимое, а из суммы не выпрыгнишь... А исполнительный расчет производимый, тутока другое развертываемое: хошь иконостас двойного золочения для бо́льшева великолепия, хошь биде дополнительное для госпожи начальницы, — к вашим услугам по единице стоимости... по единице сумма набегаемая, из двух мильонов три образующих и знаешь, на каком свете стоящий... Тамока ён считал, а тутока я считать буду...»

«А только ты это затаи. Надоть, чтобы политично и дипломатично, а не в нос ударяющее... Кажный по своёму шкодит, у кажного свои блохи имеющие, а голова министерская».

«Я это утром сделаю, а теперь спать будем», — предложил Арсений.

«Нет, ты, брат, уж извини меня, старика, не отлынивай, а если могишь, отделай редакцию. Я еще до у́тра обдумаю и Богу помолюсь».

* * *

Провозились целый час.

Прочитавши несколько раз написанное, Сидор Данилыч хотел еще что-то спросить, но Арсений уже храпел.

Поставивши на столик в угол купэ маленький медный образок-складень и прилепивши рядом тоненькую желтую свечечку, Сидор долго молился. Он шептал молитвы одну за другой, быстро, быстро, не останавливаясь и не задумываясь над их смыслом. В виду он имел совершенно определенное для него и ясное — завтрашний контракт. Этого не было в словах молитв, но цель всех их была одна — чтобы Иисус Христос и богородица матерь божия, святый дух и ряд разных святых, начиная от великомученика Сидора и Николая Чудотворца, помогли ему вставить в контракт только что написанный параграф. Чтобы те, кто будут подписывать контракт, не поняли широкого смысла этого дополнительного параграфа, совершенно менявшего сметы.

По многократному опыту Сидор знал, что в любой смете много пропусков. Кроме того, непременно явятся новые дополнительные работы и изменения. Рассчитанноое по одному параграфу Урочного Положения можно было выгодно пересчитать, применивши другой... А если «сойтиться» с производителем работ, можно некоторое невыгодные работы заменить выгодными, и всех этих дополнений и изменений на сотни тысяч нагнать можно. Подрядная смета была около 1 600 000 , и этот пунктик ее увеличит мало-мало на пол-миллиона, все за те же самые здания... Такого кредита на постройку не отпущено, но раз подпишут, потом платить придется... Все законно и правильно! Такие случаи у него бывали уже не раз...

Это в сотый раз передумывал Сидор, шепча молитвы, быстро широко крестясь и низко кланяясь. Во время моления ему всегда как-то особенно хорошо думалось и припоминалось всякое деловое и важное.

* * *

Последние месяцы были для Арсения полны переживаний. Он блестяще сдал государственные экзамены, но вместо намечавшегося места в Москве попал на службу к своим двоюродным дядям. Это были новые миллионеры, крупные подрядчики и землевладельцы. С Сидором Арсений встретился в Москве, тотчас после экзаменов, и тот предложил ему «работать вместях».

«Мы сродственники состоящие, у нас дела большие имеющие, нам нужо́н человек с образованием...» Сидор нарочно остановился в Москве встретить Арсения, но говорил, что это они случайно встретились, «судьба значит...»

Только после длинного ряда прибауток он подошел к вопросу об условиях.

«Будешь жить, как брат родной... Иль со мной, иль с Гришкой, как мы, так и ты, — мне шуба справляемая и тебе шубу такую же... мне аль Гришке фрак новый заказываемый — и тебе фрак... Будешь ни в чем недостачи не чувствующий, — мы теперича благодаря Бога ненуждающиеся, сам знаешь. Если едущий куда один, — билет первого и десять суточных... ты там поезжай, в каком хотишь, а за первый получающий. Мы в первом не привыкшие ездить, босиком бегали... последнее время такое баловство... И жалованья сто в месяц — на девочек, потому что все готовое, мы наживающие, — и ты свой пай получающий, с божей помочью и мильоны наживающие...»

Все было очень туманно, и жизнь с Аристарховым совсем не улыбалась. Но у них были большие дела, росли с каждым днем. Если делать деньги, то нужно итти именно сюда.

Несмотря на малограмотность и тарабарскую речь, Сидор обделывал дела миллионные. С ним считались уже в Петербурге. У себя в провинции были уже первыми богачами.

* * *

История с Зиной помогла решению. Он ничего так и не узнал, — она это была или не она? На желтой шляпе Зина не попалась. Такой шляпы у нее не было. Зато знакомство с князем продолжалось. Зина рассказывала, что князь в нее влюблен, что он очень богат, у него громадные связи, им обоим нужно его знакомство. Но клялась, что между ними ровно ничего, даже ни одного поцелуя...

Люди склонны верить любому абсурду, когда им хочется верить. Или если нельзя никак верить, стараются не думать об этом. Так было и с Арсением...

О том вечере Зина рассказала точно так же, как и мать. Даже сама сказала, что за нею заезжал князь и провожал ее на бал. Сказала это, не зная, что ему известно о князе. «А, может быть, и знала от дворника?» Это как будто подтверждало ее искренность. Но ночь в «Эрмитаже» выжглась в мозгу. — «Это была она...»

Расстались влюбленными. Она провожала его со слезами.

* * *

Прямо с поезда поехали к управляющему казенной палатой.

С собой везли письмо из Петербурга, от важного сановника, хотя и не того ведомства. Такова была петербургская этика: — директор департамента не мог написать рекомендательное письмо своему подчиненному, но директор другого, соседнего департамента, даже из другого министерества, писал его, и оно оказывало магическое действие.

Сидор решил покамест письма в дело не пускать. О приезде его тут были уже предупреждены телеграммой из министерства, и телеграмма эта, сама по себе, была уже достаточной рекомендацией. Сидор иногда был осторожнее, чем сами сановники. Содержание телеграмы было ему известно, — там говорилось:

> «Аристарховы выполнили на несколько миллионов казенных построек. Отличались добро-

совестностью и своевременной сдачей работ. Разумеется, что предпочтение может быть дано им при условии их согласия на наинизшую цену, заявленную другими конкуррентами».

Управляющий принял любезно, но официально. Сидору он сразу не понравился. Этот не из таких, что испугается телеграммы из Петербурга, и перестарается: этот будет действовать по букве закона.

Сидор начал подъезжать издалека. Пробовал рассказывать о петербургских слухах и настроениях, назвал по имени-отчеству несколько сановников из их ведомства, даже о здоровьи их сообщил. Но управляющий только вежливо слушал. Затем вынул из стола печатную копию договора, подал ее Сидору и сказал мягко:

«Низшая цена заявлена нам со скидкой одиннадцать процентов, то-есть с суммы 1 601 824 рубля и 42 копейки они скидывают 176 200 рублей и 68 копеек. Если вы благоволите согласиться взять всю постройку на таких условиях, то, согласно телеграмме из Петербурга, строительный комитет, вероятно, постановит сдать ее вам».

* * *

Сидор заерзал на стуле. И печатный договор, и тон управляющего ему очень не нравились. Сладко улыбаясь, он попробовал шутить насчет копеек, сказал, что их тоже можно скинуть, и похихикал сдержанно:

«Хоша, ваше превосходительство, цена не есть, чтобы сказать, заработная. Урезанная, так сказать... местный конкурент разный, не ответственный, мало что предлагать могущий... вышло — так пан, а не вышло — так и хвостом накрывшийся за казенный счет... Тоже такие случаи бывающие, как известно по опыту вашему превосходительству... И тому подобное... Но как по вашему центральному управлению большие дела имевши и добрые отношения выше всего ставящие, не такой значительной крупности дело и в расчете на дальнейшее и возможное, должо́н согласиться, ваше

превосходительство, вас за доброе отношение благодаря... и, Бог даст, еще вместях работать придется и назад дорожку не портящие, чтобы память хорошая идущая... всякому известно, ваше превосходительство, хорошая лежит, а худая бежит.. один раз оступишься, всю жисть хромать будешь, и тому подобное, ваше превосходительство, а у нас все ясное и гарантированное, как апельцын круглый, не кота в торбе продающие, и тому подобное...»

Управляющий еле сдерживался, чтобы не рассмеяться, крепко сжимал тонкие губы и улыбался лишь настолько, насколько это было позволительно важному сановному лицу в важном миллионном деле.

С этим уехали.

По дороге в гостиницу Сидор говорил:

«Ишь ты, иживец тонкогубый!.. Как стату́я, ничего по лицу не узнаешь... в министры думаешь выйтить?.. Нет брательник, не выдешь — на, выкуси!» — Сидор показал фигу.—«В Петербург тебе дорога не лежащая, тамока такие дальше начальника отделения не идущие... сам живи, а другому поперек горла, как костка, не становись... Ишь ты ратацея какая — «согласно телеграммы из Петербурга вероятно постановим вам»!.. а как бы ты подумал иначе!.. Иживец... На этом, брат, далече не уезжающие... ты навстречу иди, ты идущий и тебе приносящие... сеющий да пожнёт... по формальности, не штука, а тот в министры идущий, который не то читающий, что на бумаге написано, а то видящий, что не написанное...»

* * *

На три часа было назначено заседание строительного комитета.

В гостинице Сидор опять несколько раз прочел договор, хотя знал его давно наизусть. Это был нормальный строительный договор с казною, со многими совершенно невыполнимыми техническими условиями. Но его не то беспокоило, на таких контрактах он за-

работал уже не мало, — но как сюда вставить его пункт об ошибках? Тонкогубый никаких дополнений и изменений в контракте не допустит. Этого не объедешь...

Он нервно ходил по комнате, что-то бормотал, трогал рукой то один предмет, то другой. За завтраком съел только постного, — была пятница. Потом опять разложил складень, зажег свечечку и долго молился.

«Может быть, мне неудобно ехать в заседание?» — спросил Арсений.

«Чего там неудобное!.. трехмильонное составляющее, не с потолка хватаемое. Надоть знать, на каком свете стоим... одна голова хороша, а две лучше... да и вообще... ты так в студенческом и поезжай...»

* * *

В заседании было человек восемь. Председательствовал управляющий палатой. Пока заседание открылось, Сидор говорил подобострастно и ласково любезности всем по очереди, вспоминал опять петербургских сановников, рассказывал, на сколько миллионов они, Аристарховы, построили уже, как везде им были довольны, сам Витте благодарил.

Все время серыми, острыми глазками он наблюдал членов комитета.

«Который из них самый занозливый?»

Внимание он остановил на чиновнике государственного контроля. И не ошибся. Это был дурак, придира и мелочник, и взяток не брал. Улучивши удобный момент, перед тем, как сели за большой стол, покрытый зеленым сукном, Сидор шепнул Арсению:

«Сядь рядом с контролером и, когда моргну, покажи ему ошибку... Тую самую, что я в вагоне показывал, на тысячу восемьсот. Как быдто, этак по студенчески, по глупости мне вред сделал...»

* * *

Заседание началось.

Председатель прочел телеграмму, прочел договор, заявил о скидке в одиннадцать процентов и предложил высказаться желающим. Все молчали. Выскочил контролер.

«Предложенная нам скидки в одиннадцать процентов ничего не предрешает. Господин Аристархов сделает нам, вероятно, больше, как постоянный сотрудник казны?»

Он улыбнулся и остановил взгляд на Сидоре. Все тоже посмотрели на него. Сидор сделал сладкое лицо, опять рассказал о том, как их, Аристарховых, любят в Петербурге, и как они любят там всех, на сколько миллионов они уже построили для казны, и как они работают не для наживы, а чтобы все были ими довольны, и чтобы знать всегда, на каком свете стоишь, и чтобы ясно было, как апельцын, — и согласился скинуть еще один процент.

Контролер торжествовал. Он был героем дня — спас казне шестнадцать тысяч рублей. Председатель покраснел и затаил злобу. На заготовленной уже копии контракта внизу приписали, что подрядчик скидывает еще «дополнительно 1%», и дали первому для подписи Сидору. Он уже обмакнул перо, чтобы подписывать, быстро перекрестился широким крестом. И вдруг остановился с просветленным лицом и начал опять длинно и ласково говорить, что иногда в сметах ошибки бывающие и от этого большие недоразумения, и даже, чего боже сохрани, судебные процессы много лет тянущиеся, и что не лучше ли вставиь еще пара́граф, что если ошибки окажутся, то они исправляются, и что у него даже текст такого пара́графа уже заготовлен...

Он вынул из кармана бумажку и прочел. Все молчали, но управляющий заявил, что он не находит удобным менять утвержденную форму договора и что никакие дополнение нежелательны. Сидор ждал этого момента. Он мигнул Арсению. Но тот уже вел шопотом дружеский разговор с контролером, перели-

стывая сметы. Когда Сидор мигал, он уже показывал контролеру эту ошибку и смеялся над небрежностью составителя сметы.

Контролер сейчас же клюнул на удочку. Горя желанием спасать казенные деньги, он заявил, что хотя форма договора и выработана в Петербурге, но если можно внести дополнительный пункт, охраняющий интересы казны, то это не только желательно, но даже необходимо, и он, как представитель государственного контроля, настаивает на этом. Тем более, что вот сейчас он случайно заметил, что в смете номер седьмой, на странице 69, есть ошибка во вред казне, почти на две тысячи рублей...

Председатель все-таки отстаивал свой взгляд, но большинство присоединилось к контролеру, и в контракт после получаса разговоров был добавлен Сидоров пунктик. Председатель потребовал занесения в протокол, что этот параграф добавлен по требованию представителя государственного контроля. Контролер не только не протестовал, а, ехидно улыбаясь, попросил внести тогда в протокол и то, что дополнительная скидка в 1% сделана подрядчиком по его же предложению.

Запротоколили всё. Все были довольны.

Арсений смотрел на происходящее, как на представление, и Сидор рисовался ему сейчас и большим, и загадочным.

«Так делают миллионы... Вот это школа! Сидор со всей своей тарабарщиной умнее их всех, вместе взятых...»

* * *

Была устроена закладка с молебном, с военной музыкой, флагами, завтраком с шампанским. Все было поручено Арсению. Сидор, не ожидая, уехал в Петербург. Там было другое срочное дело.

Уезжая, за ужином он наставлял:

«Ты познакомься поближе с производителем... попьянствуй с ним, а когда выпивши, выведи его на чи-

стую воду... берущий он аль не берущий? брать-то берущий, только как?.. Гусак один не берет, да и тот берущий, не деньгами, так овсом... от трех до пяти процентов. Может девочек любящий, напусти на его толковую... У нас один был — лошадей любил — только на лошадях и взяли, не берет и не берет, ни взад, ни вперед... Хорошо десятник мозговатый был, — догадался, а потом, как невинности лишили, сам стал спрашивающий, да еще торгуется... одним словом определи, на каком свете, вот тебе на пропой души пятьсот, не в счет суточных на расходы...»

Сидор потребовал еще бутылку вина и сыру «рошфору», поцеловался с Арсением через стол и продолжал:

«Економия необходимая, копейка рупь берегущая, а еще главное раздору быть не должно... что ты тамока об ём думающий одно́му Богу известное, а наруже почтительно, Богу и тому кадить надоть... ты часом задорливый, молодо-зелено, ты, брат, извини меня старика, а я по родственному, делу на пользу... другая гнида какая бывающая с фанаберией, вся цена ему что фуражка на голове евоной сидящая, а убытку наделать кажный могит... Не тронь, вонять не будет... ён к тебе с фанаберией, а ты ему покади... своего добейся, придет время, маленький будет, узнает, на каком свете стоящий... Из фанаберии дом не строемый, а с деньгами везде дорога лежащая...»

Просидели до двух ночи. Еще целовались. Еще раз Сидор учил, как приручить производителя и как «с божей помочью» вообще все устроить, чтобы знать, на каком свете стоишь, и чтобы «распря произойти не могущая», и чтобы «польза делу во всём соблюдаемая...»

* * *

Арсений остался один на первой ответственной работе.

Город напоминал детство. Грязь, беднота, лужи. Та же булыжная мостовая, залитая помоями. Безгра-

мотные вывески. Все чем-то торгуют. Продавцов больше, чем покупателей. Бродят собаки с поджатыми хвостами, свиньи, обросшие грязью. Идут, взявшись за руки, по пять-шесть Шлёмы и Арончики — сзади торчат из штанов кончики рубашек, как на Жандармской улице. Дребезжащий извозчик норовит ехать непременно по рельсам трамвая. Изредка идет сам трамвай. Всякий раз нагоняет извозчика и неистово звонит. Извозчик дёргает лошаденку, но колеса не хотят вылезать из колеи, и ругань оживляет улицу...

Вечером «интеллигентная» часть населения в саду. Там военная музыка и шансонетки.

Много хорошеньких евреек, — Арсению каждая казалась похожей на Сорочку с Жандармской, и сердце сжималось печалью потерянного...

Здесь должно было происходить искушение святого Антония, производителя работ инженера Сучкина.

Фамилия не совсем благозвучная, но в России мирились и с более скверными. Были старые, «благородной крови» фамилии, которых нельзя было громко произносить. Нечего говорить о простых смертных. Рассказывали всем известные анекдоты, как русские цари меняли одни неприличные фамилии на другие, еще более непристойные, и удивлялись царскому остроумию...

Впрочем, производитель работ звал себя Сучки́н, а не Су́чкин.

Дело с Сучкиным пока не ладилось. Он был любезен и держался дружески, поехал вечером в сад, но почти ничего не пил, и переходить на интимность склонности не выказывал.

Прошло несколько дней. Дело не подвигалось.

Арсений стал беспокоиться, — что делать?

Выяснилось, что Сучкин страстный поклонник балета. Арсений дал понять, что в балете он свой человек, и это подкупило Сучкина. Он кончил инженерный институт в провинции, и императорский балет видел всего два раза в жизни, но обожал его. О балеринах он говорил, как о существах высшего порядка.

Но дальше не двигалось.

Получилась вечером телеграмма из Петербурга:

«Как собачье дело весьма желательное. Целую обнимаю телеграфируй Сидор».

Речь шла о Сучкине. Это совсем расстроило: ничего не было еще сделано. Ворочаясь в постели с боку на бок, Арсений долго искал, на что решиться. «Не спросить ли Сучкина прямо? А если он возмутится, не только откажет, но поссорится и станет потом делать гадости. Это значило бы провалить первое серьезное дело...» Пришла вдруг мысль: «Телеграфировать Зине, чтобы она приехала,и через нее повлиять на Сучкина. Зина ловкая, Сучкин растает, и тогда с ним можно будет говорить прямо».

Чем больше думал, тем лучше это казалось.

«К тому же увижу Зину, а она развлечется поездкой... за счет дела. И Сидор, если все удастся, только одобрит такой расход. А если не выгорит, возьму расходы на себя...»

Был четвертый час ночи. Он быстро оделся и поехал на телеграф.

* * *

Через два дня вечером Зина, Арсений и Сучкин сидели в том же шантане, и Сучкин пил шампанское бокал за бокалом. Сначала он отказывался, но Зина быстро уговорила. Она очаровала его своей приветливостью и уменьем говорить приятное. Непривычный к вину или знавший свою слабость и потому отказывавшийся пить, Сучкин быстро пьянел. Глаза замаслились, улыбка не сходила с лица. Он усердно аплодировал каждому номеру, кроме танцев.

«Не могу в присутствии балерины аплодировать шантанным танцорам. Было бы профанацией искусства,» — расшаркивался он.

Арсений держался так, точно между ними нет никаких деловых отношений, просто симпатичные друг другу люди.

Он сравнивал русский балет с итальянским, потом перешел на итальянскую архитектуру, специально с намерением рассказать, что он знал о Пиранези:

«Гениальнейший архитектор мира. Каждый штрих — шедевр... Вы знаете его, понятно?»

Сучкин не знал, но поддакивал.

«Когда он рисует даже готовое уже, построенное другими, он с таким уменьем выбирает точку, берет такие удачные моменты освещения, так группирует массы, что все кажется совсем другим. Начинаешь видеть красоту, которой раньше не видел... А его «Фантазии тюрьмы»? Это создано в припадках белой горячки... Все действительно талантливые люди непременно алкоголики...»

Приезд Зины был объяснен тем, что она едет к родным в Варшаву и по дороге заехала.

* * *

После второй бутылки Арсений решил начать атаку. С Зиной было условлено раньше, и та не пропустила момента.

«Я никогда не бывала в провинции, всю жизнь прожила в Москве, я думала, что у вас тоска смертная, а оказывается очень весело. Люди такие милые... с удовольствием бы приезжала сюда».

«Господи! Так в чем же дело, Зинаида Николаевна», — обрадовался Сучкин,—«мы приложим все старания, чтобы вам было весело. Арсений Павлович наверное счастлив будет видеть вас чаще».

«Я не знаю еще, будет ли Арсений тут жить?»

«А как же!? Я думал, мы строить будем вместе», — и он вопросительно посмотрел на Арсения. Арсений как будто замялся, потом ответил:

«Я сам, собственно говоря, не знаю. Я вам рассказывал уже, что мы хотя и родственники, но я не пайщик в делах Аристарховых. У них миллионы, а у меня ничего нет... Я совсем новичек в делах и не знаю, как мне быть. Посоветуйте мне дружески. Они предлагают

мне остаться на постройке доверенным из участия в прибыли. Жалованья сто рублей! Не могу же я работать за сто рублей! Теперь одна шляпа стоит сто рублей», — посмотрел он на Зину, и все засмеялись.

И опять при упоминании шляпы вспомнилась та ночь, и только сейчас Арсений заметил, что Зина одета изысканно, на ней новый костюм и шляпа с дорогим эспри. Опять к горлу подступил комок. Он отодвинул тарелку: в такие моменты он не мог есть.

* *
*

Вышло так, точно это колебания и сомнения относительно соглашения с Аристарховым волновали его. Так понял этот жест Сучкин.

«Если они предлагают вам участие в прибыли, так чего же? Это лучше жалованья», — сказал он дружески.

«А если прибыли не будет, а убыток?»

«Как не будет? На таком подряде, с такими расценками, должна быть большая прибыль!»

«Если вы будете так строить, чтобы была прибыль», — задорно сказала Зина и чокнулась с Сучкиным. «Стройте с прибылью, милый... За прибыль!.. За то, чтобы я могла бывать тут!»

Сушкин осушил бокал и поцеловал у ней руку.

«Сколько процентов с прибыли они вам предлагают?» — спросил он.

«Точно не выяснено еще. Сидор Данилович говорил что-то о пяти... Знаете что? — вдруг решил Арсений. — Я возьмусь, если вы согласитесь помочь мне. Будем работать пополам: половину я отдаю вам, а за это вы будете руководить мною и помогать мне советами...»

Как ни пьян был Сучкин, он покраснел еще больше, немного подумал, опять улыбнулся и сказал:

«Я хотел бы сделать все возможное, но так неудобно. За что же вы отдадите мне половину вашего заработка? Это невозможно: я производитель работ,

а вы представитель подрядчика, каждый из нас должен охранять интересы своей стороны... Но, разумеется, при добрых отношениях дело всегда вести легче и даже выгоднее для обеих сторон. Беритесь за дело, подпишите с вашими родственниками договор, и будем работать... Я надеюсь что не поссоримся... а если бы поссорились, Зинаида Николаевна приедет мирить...»

На этом разговор пока кончился, но у Арсения отлегло на душе, — было ясно, что завтра, послезавтра, наедине он уговорит Сучкина. Чтобы не было третьих лиц, все расчеты будут вестись с ним, Арсением, глаз на глаз. Сидору он расскажет подробно о Зине, — это ему понравится. Весьма существенно, что расчеты с Сучкиным будут производиться через него, Арсения, — это сразу свяжет его с делами Аристарховых. Разумеется, никаких процентов ему лично они не дадут, он нужен им, как человек с дипломом: сумеет он удачно вести дела, будут держать, а сделай несколько ошибок, придется уходить.

* * *

Еще через день ездили за город кататься. Опять было шампанское, большой ужин, было весело. Говорили уже прямо и откровенно: условие было заключено. Сучкин получает три процента, и за это будет выполнять все детальные чертежи и составлять квитанции на получение денег. Эта работа относилась к подрядчику. Оба понимали, что это одни разговоры, что в действительности это будет делать техник подрядчика. Но была найдена красивая форма. При этом стало три процента уже не с прибыли, а от всей суммы подряда!

Зина должна была уезжать.

«Папочка не совсем здоров. Я обещала ему пробыть не больше двух дней».

Арсений не особенно ее удерживал. Это могло бы не понравиться Сидору.

Сучкин непременно пожелал провожать Зину. Вышла некоторая неловкость. Ему было сказано, что она едет в Варшаву, а ей надо было на московский поезд. Приходилось выехать варшавским и пересесть через несколько станций на встречный. Арсений думал было сказать Сучкину, что получилась телеграмма и Зине надо спешно ехать обратно, но решил таким пустяком не портить дела, не внушать Сучкину каких-либо сомнений, пока тот еще не взял денег. «Самый умный преступник упускает одну пустяшную мелочь», — вспомнилось Арсению из детективных романов.

«Когда первую тысячу возьмет, тогда крендели из его делай», — говорил Сидор.

«А пока надо быть осторожным...»

На вокзале пили опять шампанское. На этот раз уже настаивал Сучкин. Он привез целый ворох конфет, и как-то сразу, до видимости, стал свободнее тратить деньги, — точно он считал уже в кармане будущие проценты.

* *
*

Носильщик пришел доложить, что поезд подходит. Пошли на платформу.

Казалось, что «курьерский» пролетает мимо станции. Но он со скрипом и искрами затормозился, как раз во время: совсем как шикарный кучер осаживает рысака у самого подъезда, с полного хода.

Жандарм отдавал честь вагону первого класса, хотя в окне была только женская фигура в изящном дорожном костюме.

«Зина! Зинуська, ты здесь?!.. Какими судьбами!?..» — вдруг вскрикнула она и замахала из окна. Зина бегом направилась к этому окну; сзади в нескольких шагах Арсений и Сучкин.

«Представь себе, Зинуська! Со мною такая же история, как с тобой тогда ночью... потеряла шляпу, снесло ветром».

Не то Зина сделала знак, не то сама говорившая спохватилась, увидевши сзади Арсения, — она оборва-

ла фразу. Но было уже поздно: Арсений слышал. Ему казалось, что он зашатался от этой фразы.

«Вот она, разгадка!..»

Это была подруга Зины, Кулябкина. Она ехала за границу, к своему виноторговцу. Арсений не помнил, как прошло восемь минут остановки, как Зина простилась с Сучкиным. Он остался в вагоне, когда поезд трогался, и поехал без билета. Оставшись вдвоем с Зиной в купэ, он сказал:

«Зина, я все теперь знаю... Мне хочется, чтобы мы расстались все-таки друзьями... Расскажи мне все, ни слова не лги».

«Что ты хочешь знать?» — тихо спросила она, не пробуя оправдываться или лгать. Потом заплакала.

«Ты была в ту ночь в «Эрмитаже», с этим князем?.. Ты была в желтой шляпе, это была шляпа Кулябкиной».

Зина продолжала плакать. Арсений настаивал нервно и резко.

«Арсений... мой милый, я люблю тебя, как никого никогда не любила... и не буду любить».

«Расскажи то, что я спрашиваю».

«Да... Я была тогда с князем в «Эрмитаже»... Но я не изменила тебе. Это была дикая шалость, мне хотелось позабавиться над ним... Мы ели фрукты и пили шампанское».

«Ты лжешь!.. Если не хочешь говорить правду, не говори ничего... Ты такая же, как все — продажная... подлая...»

С Зиной сделалась истерика. Арсений принес воды, достал одеколон из несессера, но удерживал себя от каких-нибудь уступок или перемены тона. Сам он готов был плакать, но говорил все так же резко.

* *
*

Зина, немного успокоившись, рассказала, что он требовал. Только стояла на своем, что она не изменяла... В ту ночь она была с князем в «Стрельне».

Когда они ехали туда по Тверской, у нее ветром сорвало шляпу. Пока остановились и подняли, ее растоптал другой лихач, надетъ было невозможно. Она вспомнила, что тут на углу Садовой жила Кулябкина. и заехала к ней взять на вечер шляпу. Черная с желтым. Она не знала, что он был тогда в «Эрмитаже», но чувствовала, что он что-то знает, и ломала голову, каким образом...

Арсений отрывисто и быстро рассказал ей, как он попал туда, как он видел ее.

«Сколько денег ты получила уже от князя?»

«Я не брала от него денег».

«Если не денег, то сколько он купил тебе вещей и подарков?..»

«Я не считала... Арсений, родной, я все собиралась сказать тебе это. Ты знаешь, как было трудно у нас с деньгами... Князь влюблен в меня, как мальчишка. Он очень богат, у него пять миллионов, он недавно получил наследство... Он разбрасывает деньги, он всем делает подарки. Ты понимаешь, родной, что, если бы я сошлась с ним, то были бы не эти пустяки. Я могла бы иметь десятки тысяч. Может быть, сотни... Но этого нет. Я приехала к тебе по первому зову, хотя он умолял меня не ехать. Он провожал меня до Смоленска...»

«Не лги опять...» — говорил Арсений. Но искорка сомнения снова вспыхнула. «А может быть, Зина действительно говорит правду?»

Когда он остался один неудержимо захотелось плакать. Казалось, что будет легче, если выплакаться. Синие шелковые шторки на фонаре были задернуты. Врывавшийся в трубу ветер задувал свечу, и пламя моталось в стороны, делая обстановку роскошно отделанного купэ мрачной и грязной. За окном летел бесконечный рой дровяных искр...

«Что стоит жизнь? Она меньше, чем одна искра, — вспыхнет и нет... Скорее жить... А как жить?! Надо сначала отвоевать свое право на жизнь... Почему у одних оно есть, а у других нет, и надо отдать луч-

шую часть жизни на борьбу за деньги. Надо купаться в грязи, продавать душу... Я так любил Зину... Проклятые деньги! Ему они достались только за то, что он случайно таким родился. Проклятый закон, и люди выдумали его сами... Милая Зина, милая... любимая... тебя отняли у меня деньги...»

VI.

СИДОРОВА ФИЛОСОФИЯ.

Работы шли полным ходом. Не только в сроки, указанные в контракте, но оказались еще впереди. Здания были уже вчёрне готовы, шла отделка.

Арсений много работал. Работы было столько, что скучать не приходилось. Нужно было составлять квитанции в сотни листов на получение денег за произведенные уже работы. Нужна была сноровка и изворотливость. Все зиждилось на этих квитанциях: по ним будет составляться окончательный расчет. Все работы рассчитывались по Урочному Положению, а Урочное Положение давало широкий простор. Можно было пользоваться тем или иным параграфом, а это делало иногда разницу в тысячи и десятки тысяч.

Арсений быстро освоился. Несколько основных указаний дал Сидор, — тот знал «Урочное» наизусть.

Контролер раньше ходил по постройке с победоносным видом. Но в последнее время произошла перемена. Оказалось, что подрядчик по поданным уже квитанциям получил почти всю контрактную сумму, а работы далеко еще не закончены, и предстояло еще много платежей. Он понял: — его провели, как маль-

чишку. В первый момент хотел писать донесение в Петербург, остановить работы, просить назначения специальной комиссии, но одумался: все делалось по закону, — что может сделать ревизионная комиссия? В контракте имеется параграф, согласно которому все пересчитывается наново, и он сам настаивал на включении этого параграфа. Попробовал проверять подаваемые квитанции, но все оказалось верно.

Его супруга, полная, сдобная дама с ямочками на щеках, была в самых приятельских отношениях с Арсением. Пользуясь всяким случаем, он посылал ей цветы. Иногда и ценные подарки. Научил ее играть в винт, и она с мужем и другие члены строительного комитета часто бывали у него в домике. Тут же на работах был построен временный домик. На угощенье тратилось без экономии. Арсений нашел повара, — повар три дня в неделю пил, но изумительно готовил сладкие блюда, — и жена контролера располнела еще больше...

Поразмысливши, а еще больше по настоянию жены, контролер примирился с горькой участью и стал смотреть сквозь пальцы на подарки. Количество их все увеличивалось. Арсений быстро учел психический перелом в контролерской душе.

В разговоре с членами строительного комитета Арсений старался держаться легкомысленного тона, точно он ничего в постройке не понимает и эта работа его тяготит. Двоим из них в подходящие моменты предложили взаймы, и те не отказались. Установились дружеские отношения. Играли в винт и говорили об иностранной политике: в винт они играли плохо, но вопросы высокой политики решали хорошо и быстро.

* * *

Ждали приезда Сидора. Он опоздал, приехал не тем поездом, которым ждали. Уже было темно. Не раздеваясь, сопровождаемый десятником, побежал по работам. Обегал все, с чердака до подвалов, и остался

доволен. Уже в первом часу ночи пришел в домик и, не ложась спать, начал просматривать последние квитанции.

«Плотничное и столярное — из кармана», — уже в десятый раз говорил он — «На каменных намогаемое, тутока теряемое... Сколько деревянных переборок заменили каменными?»

«Около тридцати», — ответил Арсений. — «Я и так каждый день уговариваю Сучкина. Он уже два доклада писал о пожарной опасности деревянных переборок, но, говорит, больше негде заменять».

«А сколько квадратных тамока полов заменили плиточными?»

«Около трехсот».

«Вот это молодец!»

Сидор продолжал перелистывать квитанции, раскрывая то на той, то на другой странице, беспорядочно, как будто случайно, но сразу наткнулся на самое интересное — кузнечные работы. В двух больших залах сводчатые полы и галлереи были построены на толстых, железных балках. По Урочному Положению на балки полагались только рабочие на «приноску и укладку», — это вышло бы всего рублей шестьсот. Но Арсений уговорил Сучкина посчитать иначе. К каждой балке приклёпывалась маленькая скобка, и на этом основании все балки посчитали, как «кузнечные работы»: на каждый пуд столько-то кузнецов, столько-то угля, столько-то железа «на угар»... Применивши этот параграф, насчитали около двадцати восьми тысяч лишних!

* * *

Увидевши подсчет, даже Сидор ахнул.

«Тутока у тебя пересоленное... весьма желательное, но непроходящее... контроль не подпишет».

«Уже подписал,» — ответил Арсений, смеясь. — «Сучкин сказал ему, что кузнечные работы нельзя считать иначе».

«Ты, брат, голова... Наше дело сторона, производитель отвечающий и оно растяжимое, толкуемое... По балке молотком бил — значит кузнечное,» — быстро согласился Сидор. — «А еще нетути такого кузнечного?»

«Нет, больше нет...»

«А ты бы посочил».

«Сколько ни ищи, — нет больше...»

«А раствор?.. Одну десятую клали?»

«Да».

«Меньше нельзя, осадка могущая произойти... Раствор самое, так оно сказать, экономическое, и польза есть, и знаешь, на каком свете стоящий, никакая контроль не придерется... ён схватится затвердевающий, никакое тебе ученое технологическое не обнаружит, кто ону знает, чего сколько кладено... и честное, никому вреда не приносящее, чего деньги зря в землю засаживать... А вот тутока плотничное, прямо разоряющее... и справочные цены на лес, и количество на единицу... Такой вот хлюст в кабинете сидящий и законы тебе пишет, а тутока майся... Ученое, оно хорошо, когда с головой, а не с потолка хватаемое... Написать кажный могит, да надо знать, на каком свете стоящий...»

Сидор был доволен. Все в порядке. Судя по квитанциям, общая сумма работ подойдет к двум с половиной миллионам. Легли спать на рассвете, а в восемь он уже встал, помолился и, пока пили кофей, опять перелистывал сметы и квитанции. Арсений стал было просматривать утренние газеты, но Сидор опять начал, ласково, любезно, с улыбочкой, но неотступно:

«Ты тоже хотишь капитал накоплять с божей помочью... Это направление правильная. Ищущий находит... собирая накопляемое... Ты тамока в просмотренном опять пошарь, просмотренное тоже пропуски обнаруживает. Девки в лес по грибы идущие, семечки из жмени лускают, бельмы таращут, кажный куст обшарили, кажное мшиное общупали, а сзади баба подслепая сгрибившись ковыляющая и из ейного лукошка грибы через край лезущие... я не про тебя, у тебя

мозги министерские... другой еще буки-аз-ба, буки-аз-ба, а ты уже псалтырь повторяющий и тому подобное... в делах не с потолка хватаемое, а долби в одно место. Собака скоро рожает, да слепых... Самый адвокат знаменитящий, пришел к ему для консультации, пятьсот за совет... фык-брык, две минуты и заключение готовое... телефоны звонящие, барышня с губками папки подносящая — как нечистика ево колотит... Только меня это, брательник, не касающее, ты напрягись, время потрать относящее... Мне голова не болит, чтоб ты больше тысяч собрал... Мои денежки тоже трудовые... На бумажке вопросы записанные... ты растолкуй мне дураку, а пока мне толкуемое и себе ясней станет, хошь ты и знаменитящий... Степанида намеднись в Петербурге у профессора была, тоже шеметит, как на пожаре, пять минут и тридцать рублей... Тутока беспомощное что болит то болит, больше не скажешь, а то микстуру противоположную прописать могит... Высшее образование тоже много значущее, знаешь на каком свете стоишь, хошь бы и очки втирающий... Твое дело надежное, на правильной путе, ты уж пожми тамока Арсеньюшка, еще капнет с божей помочью...»

Сидор поговорил еще с кассиром и старшим десятником и опять побежал по постройке.

* *
*

Встретивши контролера, издали снял котелок и с сияющим лицом, с милой улыбкой подошел здороваться.

«Мое нижайшее почтение, Алексей Александрович!.. Как поживать изволите?.. Как на дрожжах, у вас тутока растущее... С божей помочью в сентябре освящение справим... В Петербурге с его высокопревосходительством вашим высшим имел удовольствие по поводу беседовать: вполне довольные, что быстро идущее и сроки не пропущенные... А я говорю, ваше высокопревосходительство, от вас много зависяще, какой состав строительного... Люди умные и инте-

ресы соблюдающие и делу помогающие... Контроль — она для проверки, и контроль поставленная по закону, интересы казны, так оно сказать, защищающая, и дело не портящее, без загвоздок и тому подобное... Тогда и дело растущее с божей помочью... и знаешь на каком свете стоящий».

Раньше контролер улыбнулся бы иронически этому сидорову мелеву. Но теперь он этого не сделал: он уже понимал, что этот человек с бегающими глазками, масленой улыбочкой, нагромождающий причастия на причастия и захлебывающийся в собственной тарабарщине, ловко и умело провел его, контролера, и что он, контролер, в сравнении с ним ребенок. Его послали охранять интересы казны, и он, считая себя умным, образованным и практичным, влез не в свое дело и причинил казне большой убыток, и этот смешной человек так его объехал, что никому и не пожалуешься, — жаловаться пришлось бы на самого себя.

* * *

За завтраком Сидор снова наставлял Арсения.

«Мало, что там написанное. Третья часть! А ты — десятую кладущий, и оно прочное и добросовестное и не контролирующее... Смешал, с божей помочью, а тамока апосля, сам нечистик не могущий анализ установить... и третья часть камень, и десятая камень — никаким анализом не разбираемое... А есть другое — недобросовестное и подводящее, большим конфузом угрожаемое, как намедни с фундаментом, заложили в основании на фут меньше... а вдруг проверка!? Не будешь знать, на каком свете стоящий. Я велел докласть и десятнику на нос накивал... сегодня он твой десятник, а завтра он тебя шантажирующий, так и так, фундамент в ширину не хватающий... оно каменное, тутока не вырастет, не хватающее так не хватающее... А раствор — проверь, выкуси... Или гидравлическое в подвале... Гидравлическое, значит чтобы сырость отсутствующая, а тамока песок как попел в печке... Никакая

сырость так и так невозможная, сухо, значит гидравлическое, какого рожна еще?.. ты бы грунт наперед проверил, тогда бы и писал — гидравлическое!.. Написано пером, не вырубишь топором... Вот плотничное — это паршивое».

Сегодня Сидор ел много и долго. Пил вторую бутылку вина.

«Хорошая слава лежит, а дурная бежит... или железо — если двенадцатифунтовое, так двенадцатифунтовое. Вперед идущий и назад осматривающий! А вот это кузнечное, что ты выдумал, это законное и правильное, и тот тебе парагра́ф, и тот парагра́ф, а что один за место другого применяемый, так знаменитящий адвокат, один говорящий — эта статья, а другой — эта, на то он и закон... Два с половиной наскребем с божей помочью... Вот расходы большие — оно делом вызываемое, хотя и разбрасывающее... Копейка рубль берегущая, из копеек мильон состоящий... И без девочек нельзя, человек не деревяшка, только делу не мешающее. Эта твоя балерина, небось, деньгу любящая... Контролерша тоже выпить не отказывающая? Ну ладно, пои их тамока, пусть лакают. На то они чиновники, пока с волчьим билетом не увольняемые, взяточник на взяточнике сидящий и взяточником погоняемый... Всех мозгов в голове, что кокарда на фуражке сидящая, а нос задирающий, шестом не достать... Ничего, помоги господи и с пиявками сосущими благополучно и безубыточно... а из тебя толк выйдет...»

Сидор налил еще по бокалу и полез целоваться.

«Дай господи вместях счастливо и прибыльно...»

Сидор любил посидеть за столом, но редко разрешал себе эту роскошь. Только после особой удачи или выпивши: алкоголь размягчал его душу, тогда он лез ко всем целоваться, еще больше молол тарабарщины, но того, что могло бы быть убыточно, никогда не говорил. Точно в голове у него был автоматический затвор, останавливавший невыгодное слово.

* * *

За завтраком Сидор как будто немножко раскис и отяжелел. Арсений думал, что он ляжет спать, но ошибся. Тот вдруг встрепенулся, вынул часы:

«Ужо два! Как раз сейчас приемное губернатора, — надоть ехать».

«Зачем вам к губернатору?» — удивился Арсений.

«Как зачем?» — и говоря, Сидор встал из-за стола и захватил портфель. Он уже был в сюртуке, как всегда, с утра.

«Вместях поедем, тебе тоже не мешающее».

«У нас ведь никакого дела нет к губернатору?»

«У губернатора всегда дело имеющее. Почтение так сказать свидетельствуемое, на то ён и губернатор поставленный, чтобы к ему почтительно, всегда могит пригодиться, Богу и тому кадить надоть...»

«Под каким же предлогом вы приедете?»

«Предлог дела не меняющий, и так почтительное сказать напоминающее. Мы тоже не такие уже маленькие, а он тут власть придержащая», — уже на ходу быстро говорил Сидор, держа подмышкой большой портфель. Тут только вспомнил Арсений, что еще утром Сидор сказал ему надеть сюртук, и он не успел спросить зачем.

* * *

Приехали к губернатору.

Чиновник особых поручений, видимо, узнал и Сидора и Арсения даже прежде, чем назвали фамилию. Он тоже был на освящении тогда. Пошел доложить губернатору. Через несколько минут губернатор принял. У самых дверей Сидор протолкнул вперед Арсения, сам вошел сзади, но оказался впереди. Протянул руку вставшему навстречу губернатору и начал скороговоркой:

«Позволили себе вашему превосходительству засвидетельствовать почтение. Могит быть изволите припомнить на закладке имели удовольствие казенное строющее... Аристархов».

«Как же, как же! Помню», — только и успел ска-

зать губернатор, так как Сидор обрушился на него новым залпом.

«Очень приятно, очень приятно ваше превосходительство... а это наш двоюродный, оно так сказать, как бы прямо со сковородки, еще студенческое на губах не обсохло, извините за выражение. Прямо из университета по окончании на построечное... Еще новое неопытное, а мы ваше превосходительство как известно давнишние подрядчики по казенному, вот еще его высокопревосходительство Витте Сергей Юльевич лично сказать изволил о нашей благонадежности... не по политическому ваше превосходительство... хе-хе-хе... тутока неподозреваемое, а по строительному, казенному, монопольное в пяти губерниях построенное и никогда, так оно сказать, никаких заковырок или там зазубрин, аль чего еще, гладкое и спокойное что написанное, то построенное... Тоже вот наш генерал-губернатор, его высокопревосходительство Виталий Витальевич, личное письмо в Петербург препроводил по поводу окончания раньше срока и тому подобное... Тамока в министерствах тоже не безызвестно что ежели Аристарховы строющие, честное и правильное и до конца доведенное, как по сметам полагающееся и знаешь, на каком свете стоящий... Тоже и дополнительное безплатное, иконостас тамока двойного золочения заместо сметной лакировки назначенной или тамока в уборных и ванных фарфоровое заместо фаянсового за свой счет устанавливаемое... Председатель строительного, Всеволод Николаевич, управляющий казенной... ён суховатый и так сказать недоверчивый, его и в министерстве знают, что для провинциального поста больше подходящее, и ён теперича уверовавший... После четыремесячного строительного под крышу подведенное и тому подобное в превышение сметного или вот тоже большого государственного ума человек, товарищ иностранных дел Вячеслав Бернградович, может быть изволите знать, ваше превосходительство?»

* * *

Губернатор пытался несколько раз остановить сидоров фонтан, но ему не удавалось, и только теперь, когда Сидор нарочно сам сделал вопросительную паузу, он еще раз протянул руку ему и Арсению и сказал:

«Вячеслав Бернгардович женат на моей сестре... Что ж это мы стоим, садитесь пожалуйста... Хорошо помню ваш завтрак тогда на закладке, замечательный был завтрак».

И он засмеялся бархатным смехом.

«Скажите, какое совпадение насчет вашей сестрицы... очень приятно, очень приятно... правильно говоримое, что гора с горой не сходится, а челевок с человеком...»

И Сидор опять пошел тараторить без умолку, все время ласково и почтительно улыбаясь.

Губернатор тоже улыбался и уже два раза переглянулся с Арсением. Арсений почувствовал, к своему удивлению, что этот неуместный как будто приезд внес какую-то интимность, сблизил, и что Сидор совершенно прав, что сам приехал и его привез. Так и нужно было. Сидор был смешон со своей тарабарщиной, но его внешность, а главное, те миллионы, которые за ним стояли и о которых знали, заставляли примиряться с ним и даже чувствовать к нему уважение... Как к русскому самородку, как, может быть, к человеку из народа, вышедшему на верхи в опровержение всяких классовых социалистических теорий.

Арсений все-таки успел вставить несколько фраз и тут же решил, не советуясь с Сидором, на свой риск, устроить для губернатора еще один завтрак.

«Будьте добры, ваше превосходительство, пожаловать к нам еще на маленькое торжество, на установку венцов на зданиях: рабочие считают самым торжественным моментом постройки, когда устанавливаются стропила, и они наверху ставят кресты с зеленью».

«Когда прикажете», — сразу согласился губернатор. Тут и завтрак опять с шампанским, и рабочие с крестами, — понятно, он не мог отказаться...

* *
*

Распрощались очень тепло, завтрак назначили на воскресенье, и по дороге обратно Сидор говорил:

«Губернатор ён и есть губернатор от высшей власти поставленное превосходительство... у какого тамока случающее мозгов и на титулярного не хватает, дело не наше разбирать, на то высшая имеющаяся. А только этот ничего, хошь звезды с неба и не хватаемые... это ты хорошо выдумал насчет завтрака подходящее. Пускай там тысяча пропиваемая, но деньгам помещение правильное... и казенной палате нос утрем... и живец тоже», — все не мог забыть его Сидор.

«Тоже вот у нашего местного купили четырех вороных, у евоных сродственников конский завод в саратовской оказавшийся... таких денег не стоющее, но посеянное приносит. Власть получающая, капитал дающий... Оно тоже вот губернаторши... это по твоей части, тутока молодое требующее, ты с ей тоже познакомься там, пригласи на какой аллегри, тамока как сам знаешь...»

Сидор замолк на минуту, но потом, может быть вспомнивши улыбку губернатора, еще добавил:

«А что насчет того, что я болтающий много, так это брат не вредящее, тамока граматическое аль не граматическое, а ты выслушай, тебе время дорогое губернаторское да и мое, брательник, не из самых нестоющих, хотишь не хотишь что-нибудь в евоной голове и задержится рекомендуемое...»

* * *

Арсений опять слушал эту тарабарщину, и она уже не казалась ему смешна. В этих фразах без знаков препинания, оборванных, недоговоренных, одна в другую влезших, была житейская мудрость и пахло миллионами.

«Вы этого товарища министра, женатого на его сестре, не случайно, понятно, припутали?» — улыбаясь спросил Арсений.

«Случайно брат только кирпичина на голову пада-

ющая,» — тоже засмеялся Сидор. — «Тамока у меня в Питере один швейцар министерский есть, так ён тебе когда надоть всех сродственников по всей России за три рубля соберет и кто с кем дружит и кто у кого детей крестил, чтоб знать на каком свете стоящий... практика брат приобретаемая...»

Сидор сказал извозчику ехать опять на постройку. Он снова стал лазить по лесам, опять разговаривал со старшим десятником, потом пошел рыться в сметах.

В одном из зданий производитель работ неверно разметил дымовые каналы на чертеже, и теперь приходилось проламывать уже готовые стены. Сидора передернуло, когда он увидел это, но он ничего не сказал, любезно разговаривал с производителем работ, хихикал и даже похлопал его по плечу. Но потом в гостинице за обедом вспомнил:

«С ими тоже нелегкое приноравливаемое... фанаберии что твой индык аль генерал-фельдмаршал, а с делов евоных воробьи под застрехой насмехаются. До третьего етажа выведенное, а ён тутока вспоминающий что дымоходные не на том месте, руби да ломай каналы по живому месту за собственный счет, и в исполнительную не внесешь потому ему из Петербурга перо грозимое в известное место, а другой пиявке сосущей сызнова процентики платить придется... ни туды ни сюды безвыходное... Могит быть ён высший инженерный диплом первой степени получивший, работать нехотящие шаромыжники абы с рук долой в голове сквозняк продувающий... На дымоходном убытки, а где проценты заработка? Дарма что-ли за прекрасные евоные глаза работаемое и организуемое, а в справочном каменьщик всего рупь двадцать... В городской управе какой-то там прыщ с пером за ýхом справочные составляемые выкомаривает... Ты мозговитый что говорить, а только с другой стороны практика приобретаемая все в свое время преходящее... Земля есть и в землю прейдиши», — вдруг вспомнил Сидор из священого писания и, быстро перекрестившись широким крестом, выпил вина.

«Искажаете тексты священного писания» — сказал смеясь Арсений. — «Не в землю прейдиши, а в землю отыдеши».

«Прейдеши аль отыдеши все одно суета сует и всяческая суета... живое о живом думающее прости Господи нас грешных. Исус Христос тоже дарма не работал», — вдруг брякнул Сидор.

«Что вы, Сидор Данилыч, Христос ведь сын божий...»

«Хоть Сидор и смешон, но мое возражение не менее», — тут же подумал Арсений. Однако, Сидору оно, видимо, показалось правильным:

«Сын божий ён и есть сын божий, прости господи о мирском пекущееся... в писании сказано тамока бедному неимущему помоги. Могит вместити да вместит, а тутока казна строющая на какие средства?.. с нас грешных налоги подати берущее... старинным тамока мильонщикам да великим другая планида, хошь за всю жисть палец о палец не стукаемое, оно само идущее удельное да дворцовое аль купоны стригущее... нашему брату самому працовать положенное, смотри в оба аль попадешь в голоштанное и тому подобное... ясное как апельцын... твое здоровье.»

Сидор поднял бокал.

«Давай Бог вместях наживаемое и по братски разделяемое», — и он привстал со стула, чтобы опять поцеловаться с Арсением.

* *
*

Наконец, Сидор уехал.

Арсений облегченно вздохнул. Ему Сидор уже нравился, но было с ним тяжело. Надо проверять все время каждое слово, быть начеку, приноравливаться к его мышлению. А то не понравишься, и до свиданья!

А там в Москве связи уже порваны. Своих денег, даже прежних маленьких, нет больше. Все прожито давно. Даже отцовские золотые часы пропали в Москве в ломбарде.

«Подлаживаться и приноравливаться унизительно, но это путь к деньгам... Деньги должны быть сделаны во что бы то ни стало... Во что бы то ни стало буду миллионером,» — уже в сотый раз решал он.

«Буду... буду... буду...»

VII.

АРИСТАРХОВЫ-МИЛЛИОНЕРЫ.

Аристарховы жили в одном из своих больших домов: в городе у них было несколько. До мысли об уюте и покое особняка они еще не дошли. Занимали «бильетаж» в богатом четырехэтажном доме, принадлежавшему когда-то польскому магнату.

Этот дом, и ряд других, и десятка два имений в северо-западном крае были куплены ими за бесценок, на торгах в банках. Когда был издан закон об ограничении польского владения в крае, Аристарховы не упустили момента. Польские имения шли за бесценок, поляки покупать не могли, а только «надежный русский элемент». Требовалось особое свидетельство генерал-губернатора на право участия в торгах. У Аристарховых свидетельство было. Они входили в соглашения с банковскими чиновниками, и имение в тысячи десятин шло на торгах за доплату двух-трех тысяч рублей к банковому долгу. Через год его перезакладывали в том же банке, и возвращали все затраты. Еще оставался хороший излишек, и имение приходилось даром.

Громадные леса, принадлежавшие польско-германскому князю, Аристарховы купили, доплативши всего

десять тысяч, а через несколько месяцев перезаложили их с дополнительной ссудой в двести тысяч.

Эти парадоксальные обороты не только не привлекали внимания карающего закона, а, наоборот, делали Аристарховых все более желательными и влиятельными людьми в крае. Считали это государственным делом: край руссифицируется и богатеет. И сами губернаторы не прочь были заработать на этой «внутренней политике».

Евреям тоже запрещалось покупать имения, и это совсем избавляло Аристарховых от конкуренции. Они еще помогали им в качестве «факторов» — все узнавали, подыскивали, сообщали...

* * *

Дом был куплен таким же способом. Когда-то его строили с широким размахом. Высокие, большие комнаты, — слишком большие и слишком высокие, — зеркала в стенах, лепные потолки, большие зеркальные стекла в окнах.

Сидор насмотрелся уже, бывая в богатых домах в Петербурге, и старался теперь и свою квартиру обставить, «как у аристократов».

Лепку потолков раскрасили под цвет дорогих тисненых обоев. Доморощенный художник выполнил это с особой тщательностью. Лепка была безобразна, а, будучи раскрашена, стала юмористической.

Всю мебель Сидор покупал в Петербурге на аукционах. Он знал два стиля — Людовѝк и Жакоб. Под Людовѝка подходило все золоченое, под Жакоба — все красного дерева с бронзой...

Были и хорошие вещи, купленные вместе с усадьбами. Всё стащили сюда, в городскую квартиру, и перемешали с Людовѝком и Жакобом.

На звонок в парадной приоткрывалась щелочка в двери, и босоногая девченка, показывая только голову, говорила:

«Дома нетути!»

Если посетитель совал ей визитную карточку, она низко кланялась, не снимая с двери цепочки, говорила «благодарим покорнейше» и захлопывала.

Но иногда устраивались званые обеды. Тогда брали лакеев из Европейской гостиницы, и горничная надевала на босу ногу ботинки.

В вине Сидор уже начинал понимать толк и разбираться в сортах, но без гостей он пил из экономии только пиво. А когда приезжала из именья старуха Аристархова, ничего спиртного не подавалось...

* * *

Прошло больше года с тех пор, как Арсений, по выражению Сидора, «объехал» инженера Сучкина. Ряд других поручений был выполнен тоже успешно, и положение Арсения укрепилось.

Теперь, перед Пасхой, вся семья съехалась в город. На правах своего был и Арсений.

Сидор водил его по дому и показывал мебель и отделку. Арсений, не стесняясь, трунил. Сидор добродушно принимал шутки.

«Вот Гришку женим ужотка, тогда ты евоную обстановку покупай... По всем правилам и стилям. Прости Господи, чтоб не сглазить, сухо дерево завтра пятница, у нас капитал увеличивающий... С божей помочью, знаем, на каком свете стоящие. Ен у нас младший, мамашенькин сынок, только-б пару ему найтить подходящую... Добра не ищущие и добра не бегающие — деньги к деньгам... капитал к капиталу, и тому подобное... ты от старообрядчества отбившийся, не твоя вина — по родителям, все равно из нашего гнезда происходящее — а ему надоть беспременно из нашего толку найтить... каким родился, так и умирающий, чтобы распрѝ в семье не вводить, и мамашенька наша, — ты знаешь ейные порядки и характер, — она женщина богобоязная, религию свою в чистоте соблюдающая, и тому подобное...»

* * *

Младшего брата звали «Гришкой» из ласковости. О том, чтобы поскорее женить его, особенно беспокоилась старуха. Чем раньше женить, тем лучше. К тому же Гришка был «больно лаком до баб», и это отвлекало его от дел, а иногда случались и неприятности.

Семья Аристарховых, восполняя отсутствие пороков пьянства и курения, отличалась похотливостью. Гришка в этом отношении был в семью. Существование без женщины он считал невозможным, и если день-два у него не было амурного приключения, он говорил, что болен и не может работать. «Голова не работает...» Зато какая женщина, — было безразлично. Грязная баба, дама общества, пьяная поломойка, артистка, соседская нянька, городская профессионалка, разносчица яблок, старая, молодая, — все равно, лишь бы не слишком хрупкая.

Его слава шла за ним и даже впереди его, и нередко обеспечивала неожиданный успех там, где меньше всего, казалось бы, можно было ожидать.

«Гришкин способ», — сказал как-то Сидор. Арсений полюбопытствовал:

«Какой это способ?»

«А вот поживешь вместях, узнаешь... евоное обращение с женским сословием... в охапку и на кровать положенное, прямо апосля здравствуйте, как поживаете... Чего, говорит, зря разговоры разговаривать, все одно к одному приходящее... и по мордасам не получающий... Ен у нас во какой! Да чтоб сказать горничную так какую — ён и с генеральшей так поступающий...»

Сидор говорил это не без гордости.

Вопрос о женитьбе Гришки был для семьи важен и потому, что у Сидора были только дочери; было два сына у Степаниды, но они не являлись настоящими продолжателями рода Аристарховых, носили другую фамилию.

* * *

Старик Аристархов умер несколько лет назад, и бразды правления были в руках матери. При жизни он тоже значил мало. Деловые, серьезные вопросы решались всегда старухой с Сидором. Старику оставалось только со всем соглашаться, что он и делал, посмеиваясь и отпуская шуточки, всегда одни и те же, всем давно известные. Все они вертелись около того же сексуального вопроса.

«Женить, брат, тебя надоть... Погоди, у меня и невеста припасёна, с приданым, до́сыть тебе кукушкины яйца класть...» — говорил он, посмеиваясь, всякому встречному чуть не с первого слова. Женщин уверял, что им нравится кто-то с большой черной бородой. Глядя в окно на играющих детей, со своеобразной игривостью замечал:

«Это не твои тамока бегают ребятёнки?.. Твои, твои... знаю... хе-хе-хе-».

Иногда пускался в такие подробности, что старуха хлопала его по голове концом шали или кожаной мухобойкой и цыкала:

«Уту, еретик... страму на тебя нетути... Иди Богу молиться, до́сыть язык чесать, смотри белый ужо весь... угомону нетути на тебя, прости Господи...»

Она, собственно, не сердилась и сама не прочь была послушать эти разговоры, но брало верх чувство религиозности — «грех такое говорить... нечистика ублажаешь...»

«У кажного свои блохи, прости Господи Исусе», — качала головой и вздыхала, когда он уходил от наставлений.

Недвижимое имущество было на имя старухи, не столько по ее желанию, сколько по дальновидности Сидора, который сделал это, боясь ссор между братьями и сестрами.

Когда стали показываться уже настоящие миллионы, Сидор не прочь был выделиться и вести дело самостоятельно, но никогда вопрос об этом не подымался: все считались равноправными владельцами. Но распоряжался Сидор. Хотя другие братья и муж

сестры принимали участие в делах, но все было в руках Сидора. Только у него одного была полная доверенность старухи. Старуха была неграмотная, на доверенности значилось:

«За неграмотную Евдокию Титову Аристархову по ее личной просьбе расписался такой-то».

По этой доверенности совершались миллионные сделки, и в копиях она была во всех министерствах и департаментах Российской Империи.

* * *

Вроде Гришки был и средний брат Афанаска. Он жил то в одном, то в другом именьи и никаких шансов стать дельцом не имел. Он и не стремился. Его вполне удовлетворяла деревня. «В аристократы иттить» он не собирался, а если раньше и пробовал, то после нескольких неудачных выступлений семья решила, что Афанаска для этого окончательно не подходит.

«Ты завсегда знакомство води с выше стоящими, а не ниже тебя», — говорил ему не раз Сидор. — «Чтоб тебя вверёх подсаживали, а не вниз сталкивающие...»

Но это не действовало. Афанаска заводил дружбу с маркёром из биллиардной, с содержателем корчмы, со своими пахтарями, которым по частям сдавалось именье. И теперь он еще любил ловить бучём воробьев и ласточек под застрехой, у пуни, гонять голубей старой рубахой, привязанной на длинный шест, и смотреть, как голуби делают турмана в воздухе; удил рыбу целыми днями — но, главное, охотился на деревенских девок. Эта семейная черта была выражена у него не менее ярко, чем у Гришки, и еще с одной подробностью: она и заставляла держать его в деревне. Там было легче улаживать и много дешевле, а в городе мог выйти «крупный шантаж», как говорил Сидор. Афанаска особенное внимание уделял невинным девушкам, часто почти детям.

Иногда он являлся домой искусанный, с царапинами и синяками, и это с его точки зрения было так же почетно, как дуэльные шрамы и порезы для немецких студентов. У него была целая организация, свои факторши, и Афанаска тратил на этот спорт не мало денег, выкраивая их из хозяйства.

Гришка тоже иногда пользовался его организацией и участвовал в расходах.

* * *

В доме шла генеральная уборка... Все было сдвинуто, перевернуто, повалено. Дунька, подоткнувши подол, с голыми «лытками», все обтирала мокрой тряпкой — и иконы, и полированную мебель, и золотые рамы картин, и самые картины... Стирали пыль с потолка, и при этом размазывали знаменитую раскраску. На дворе выбивали ковры, шубы, всякую иную одежду. Эта одежда никогда не носилась, лежала десятилетиями, и ее каждый год перед Пасхой выколачивали и снова укладывали в сундуки, пересыпая листовым табаком.

«Моли евона дохнут от табачищи, и люди курют... Сила-то какая у нечистика... И что за приятность чадить и смродить?..» — говорила всегда при этом старуха Аристархова.

«Алёнка сказывала, в ихней деревне мужичонка мыло заместо хлеба ел. Хлеба дашь, так не ист, а мыло — ажно трясется... Нечистик в его вошедши был. Все на речку ходил, где бабы стирают, одна ему пральником ажно лопатку сломила, кособоким стал...»

«А как в его нечистик вошел?» — интересовалась Дунька.

«Ен под стогом на пожне лег и заснул, а змей к ему и залез, и жил внутре. Годов через десять только выгнали, старушка заговорила. А вот от табачищи и заговоров нетути».

«А угорич тоже змей, Евдокия Титовна?» — решает Дунька завязать разговор, пользуясь хорошим

настроением хозяйки. — «А как же поляки жрут его?»

«Когда потоп был, у Ноя в ковчеге дырка пробилась, а угорич ее хвостом заткнул, за это его хвост исть можно... А голова змеиная, голову́ нельзя...»

«А как же зайца, Евдокия Титовна?»

«Ну, ты уж затараторила... табе зачни только. Не Богу молиться... Чего заяц?! знаешь, что грешно зайца... Эвона, шуба на землю упала! ишь рот разявила... Посочи-ка, сбегай, мне шубейку бордовую, холодно что-то, да не морудь тамока, не за смертью посылаю», — решает прекратить бесполезный разговор Евдокия Титовна. — «Девок распускать нельзя, раз потачку дай — сразу обазурится...»

* * *

Та же босоногая Дунька прибежала звать к обеду: «К снеданью кличут», — просунула она голову в дверь и убежала. Ей вечно было некогда, она вставала в пять утра, а ложилась в двенадцать и все не успевала.

В столовой уже стоял Панкратьевич. Он раздвинул занавесочки у старой закоптелой иконы и прилепливал к полочке новую свещу, ожидая, пока все соберутся, чтобы прочесть положенную молитву перед едой. Занавесочка была чистенькая, только что повешена, перед большим праздником — сегодня был Страстной Четверг.

Старуха пришла в тёмном платке. Она и на улице не носила шляпы, хотя Сидор и пробовал как-то намекнуть, что в Москве миллионерши-старообрядки носят «теперича скромные подобающие».

«Нет... ты меня ужо не трошь... твоя Афросинья пусть в заграничных обновках ходит, а мне в могилу скоро, ответ перед Господом давать...» — ответила она, и он больше не настаивал.

Панкратьевич прочел молитву, особенно внятно подчеркивая «Исус», и крестясь широким двупёрст-

ным крестом, отнюдь не во время чтения молитвы, а после нее; и кланяясь после крестного знамения, а не во время его. Все крестились и кланялись так же, как по команде нагибая не голову, а всю верхнюю часть туловища, от пояса. Казалось, будто тело у них не сгибающееся, а только в поясе шарнир, и только по этому шарниру оно может складываться.

Старуха пришла со своей «рабской» чашкой и тарелкой. Панкратьевич — тоже. У остальных была общая посуда. Старуха и Панкратьевич ели только кислую капусту и кашу с постным маслом. И то была уже уступка новшествам, — в было время в такие дни вообще не ели, только чай брусничный пили.

* * *

«А жених наш где?» — спросила старуха, видя, что нет за столом Гришки.

«В байню пошел», — ответила Поля, незамужняя дочь.

«Ен же позавчерась в байню ходил?»

Старуха покачала головой.

Пришел Гришка, раскрасневшийся, действительно как из бани. Но старуха знала правду, посмотрела и махнула рукой.

«Ужотка женим тебя, я тебе хвост прижму, путанику... Где шлюндраешь? Опять бороду́ обкарнал... Ты с Арсения пример не бери — это не евоная вина, родители отстали, а тебя, Бога благодаря, в старом порядке сохранили. Нечистика тешишь... как кот — борода с кукиш, а усищи эвона какие... подлинно кот. Как это, Панкратьевич, в писании сказано?..»

«Коту и псу уподобися, Евдокия Титовна», — ответил Панкратьевич. — «Молод еще, женится, тогда отпустит по християнски», — смягчил он, поглаживая свою жиденькую, но длинную бородёнку и гладко примазанные лампадным маслом волосы. У него было худое лицо постника и маленькие добрые глазки. Он постился почти три четверти года и молился иногда

целыми ночами, по заказанным поминовениям усопших. Когда старухе Аристарховой снилась ее покойная мать или еще кто-либо из умерших родственников, она говорила Панкратьевичу:

«Помолись, Панкратьевич, об упокоении души рабы божией Пелагеи: опять мне покойная маменька снилась... быдто она мне на коленки голову́ положила и быдто я у ей в голове ищу, и волосы быдто не ейные, не седые, а черные, черные, как вар смоляной...»

И Панкратьевич добросовестно молился всю ночь, «об упокоении в местах злачных и покойных усопшей рабы божией Пелагеи».

* * *

Раньше бывало, старуха вставала тихонько ночью и проверяла, молится ли он. Но уже давно она уверилась, что Панкратьевич не обманет, заказ выполнит точно. Она знала также, что Панкратьевич не так падок на деньги, как другие наставники, и любила его за это. Панкратьевич знал наизусть Псалтырь и Четьи-Минеи и постоянно вставлял в разговор тексты: это тоже ей нравилось. Спорить, как другие, по вопросам веры, он избегал, да и не умел, но твердо и непоколебимо верил в единую истинность раскола. Ему и спорить не нужно было. Он твердо знал, что «Иисус» еретическое, и «Исус» праведное, как в старину, до Никона было. Ни разу он не задумался за всю жизнь, что значит «смертию на смерть наступи» из пасхального тропаря, но знал наверное, что церковное «смертию смерть поправ» есть ересь и великий грех. И Никон, и вся история раскола были для него темны, но никакой тени сомнения в истинности всего старообрядческого у него не было и быть не могло. Он знал, что висячая лампадка, как у церковных, неугодна Господу, а нужна стоячая, на кронштейне; что кадило с ручкой есть настоящее кадило, а кадило махательное на цепочках — ересь; что кадить надо накрест, справа налево, а не слева направо; что желтая

свеща есть свеща чистая, а из белёного воску — еретическая... Он знал, что сахар на костях очищается и потому в пост нельзя его есть, да и вообще лучше не есть; а мед — можно...

И многое такое знал он твердо. И сомнений в душе его не было.

* * *

Гришка, по словам старухи, вообще «обазурился» за последнее время, как стал один по подрядам ездить. И теперь, когда заговорили о бороде, он не смолчал, а, смеясь, заметил, как бы про себя:

«На кота усы похожие... а борода у козла есть, мамашенька — тоже хрен редьки не слаще».

Старуха рассердилась.

«Супротив писанья не спорь... Знаешь, что сказано: «Постригало да не взыдет на браду твою, сие бо есть мерзость господеви»... Так, Панкратьевич?.. Чего мудрить, нечистика тешить... какие тутока смехи?»

Чтобы отвлечь от гришкиной бороды, у Панкратьевича хватило дипломатичности перевести разговор. На Гришке он строил некоторые свои расчеты, да и просто любил его.

«Намакал вчерась сотню, Евдокию Титовна; из тех сотов, что ты анагдысь из Ивашкина привезла... это медок с их», — указал он на стол.

«Хороший мед», — мягко согласилась старуха, — «зеленый еще был тамока, на свещи не подойдет».

Дунька и Фетинья, старуха без определенных занятий, принесли отварную осетрину. Мамашенька покосилась, но ничего не сказала: это, помимо ее ведома, кто-то купил. В такой день рыба не полагалась. Очевидно, ради Арсения было сделано такое отступление. Арсению было неловко. Он выбрал момент и начал рассказывать о старинных иконах, о большом собрании, которое видел в доме своего товарища, под Москвой.

Старуха заинтересовалась иконой, сплошь осыпанной жемчугом. Она подумала вероятно об ее стоимости, но спросила только:

«А перстосложение какое?..»

«Двуперстное... все собрание старообрядческое, много еще до-никоновского письма».

«И пятьсот икон таких?!»

«Да... больше пятисот...»

«Эвона, как люди живут умеючи... и себе, и Богу; и богатство собирается, и жисть праведная... Что с ее, небели и всячины, только дом загаживать, ни Богу, ни себе», — уколола она мимоходом Сидора за то, что тот тратил много денег на мебель, а в последнее время даже картины навозить начал.

* * *

Отламывая маленькие кусочки хлеба, она медленно и осторожно клала их в закрытый почти рот, а потом тихонько аккуратно жевала, тоже закрытым ртом; каждую крошку тщательно подбирала.

Арсений вспомнил, что нельзя брать левой рукой, а надо сначала нарезать, потом взять вилку в правую руку и тогда есть. Все с левой стороны имеет отношение к нечистику...

Все это знакомо было ему с детства, и здесь он не чувствовал себя особенно чужим. Вспомнилась мать, дом дедушки, Фроська-Дунька...

Женитьба Гришки не выходила у старухи из головы. Рассказ Арсения об иконах заинтересовал ее, но не ради самих икон.

«А они что-же, старообрядцы-то и теперича?»

«Старообрядцы».

«А какого толку... не белокриничники?»

«Кажется, федосеевцы... наверно не могу сказать... может, и поморского».

«Ну, федосеевцы тоже недалече от нас... А богатеи, видно, если такие иконы, с жемчугами?..»

«Да, богатые очень... У них фабрики свои под Москвой».

«А фабрики-то чего?»

«Парчевые и еще какие-то».

«Парчевые?.. А дочки у их есть?» — как бы мимоходом спросила она, хотя весь разговор и велся только ради этого.

«Нет только три сына», — удерживая улыбку, ответил Арсений.

«Только сыны!..» — повторила старуха.

* * *

После обеда перешли в кабинет Сидора.

Посреди стоял громадный письменный стол краснаго дерева с бронзой, с большим письменным прибором — бронзовая подкова и оленья голова. Ни бумаг, ни книг на столе не было.

Деловые бумаги Сидор на столе не оставлял. У него было очень много деловых бумаг, но он их хранил, или в несгораемом шкафу в коридоре, или возил с собою в необъятном чемодане. Чемодан этот был пуда три весом, и с ним он не расставался. Все более важные договоры и даже купчие были в этом чемодане. Уезжая из дому, он должен был оставлять ключ от несгораемого шкафа. «Мало ли что в голову приходящее, скажем, Луке или Степанидиному муженьку» (мужу старшей сестры)...

И Сидор чувствовал себя много смелее, имея всегда эти документы с собой. В багаж, понятно, чемодан он не сдавал, а платил носильщику лишний двугривенный, чтобы втащить в купэ.

На столе были и пепельницы, но ими никогда не пользовались: курить было нельзя, старуха этого не допускала. С улыбочкой, с крайней вежливостью, Сидор предупреждал посетителей:

«Покурите уж, пожалуйста, в печку... Мамашенька наша, знаете, очень не любящая табачного смроду... кашель сильная у ей от этого происходяща и тому по-

добное... Старики, знаете... у кажного свое, так оно сказать... своя болячка. Надоть скрозь пальцы смотреть... извинительное старческое и по религии нашей тоже, знаете... У молодых нет уж строгости... кажный по своему живущий, Бог простит... А старики крепкие... а могит быть, только тёмное предрасположение...»

Такой тирадой разражался он перед новыми гостями, все время сладенько улыбаясь, и желающие садились на корточки и пускали дым в печку, в большую, лепную и раскрашенную. То что печки раскрашены под цвет тисненых обоев и потолка, Сидору казалось верхом богатства и шикарности. «Одно с другим пасующее», — говорил он, потирая руки.

* * *

Чемодан стоял тут же, возле стола. Он долго рылся в нем, в то же время без умолку говоря, и наконец вытащил какую-то бумагу. После длинного подъезжания издалека, мало общего имевшего с тем, к чему велось, Сидор, наконец, выговорил скороговоркой:

«После семейного совещания, мы с мамашенькой, всесторонне обсудивши, решение принявшие, чтобы тебя командировать с божей помочью с Григорием (чтобы подчеркнуть важность обсуждаемого, он в виде исключения сказал не «Гришка», а «Григорий») по хорошим семействáм единоверным, для нахождения подходящей партии... Как человек высше образованный и свет видавший, ты ему большой подмогой оказаться могишь... Окончательное решение, одначе, не с бухтыбарахты делаемое, а всестороннее обсужденное, с родительским благословлением и божей помочью и два-три раза поехать можно, и мне показать и мамашенькé — как тамока видать будет... не кота в торбе покупаемого... Желательная партия с образованием и воспитанием, и тоже себя с лицевой стороны, а не с обратной, и ничего такого нейдущего... или, сказать, письмо написать, или иное являющее... Мало что старообрядцы, по французски барышни говорящие... Ты

сам больше меня знающий... Что мы еще попростее, но капитал настоящий имеющие, не то что пузырь мыльный, пшик один показывающий, или там какой... Документально и нотариально удостоверяющее, а не нафуфу или прочее, подобное, чтобы кажному ясно представилось, что тутока никакого обману или подтасовки нетути, а одна чистая правда по совести ясно как апельцын круглый, и чтобы видно, на каком свете стоим и что всем имущество делимое поравну — сынам и дочка́м, хоша для крепости и семейной любви на мамашенькино имя приобретающее... В чужой дом приезжающий, чтобы не с потолка, а документально и нотариально... Не из пальца высосанное, а ясное и чистое, и видимое на каком свете и тому подобное... Не то, что только ратацеи разводящие, а черным по белому. Мало какие шаромыжники в чужой дом втирающие... как этот, ты знаешь? в Москве, как его... А тутока ясное и чистое... Одним словом — ученого учить, сам лучше меня понимающий... голова у тебя министерская...»

Сидор говорил еще долго.

Ясно было одно: Арсения с Гришкой решили отправить в объезд богатой старообрядческой России, с целью найти Гришке подходящую невесту с хорошим приданым. «Деньги к деньгам».

Наметили три-четыре дома в Москве и на Волге, куда могли быть получены рекомендательные письма или где домашние наставники знали друг друга. Но прежде чем ехать в дом, необходимо было, по мнению Сидора, «документально» и нотариально показать, кто они такие, Аристарховы.

* * *

Арсений предложил такой план: напечатать копии купчих крепостей на все имения и дома, сделать выписки из крупных контрактов с казной, заверить копии у нотариуса, положить их в красивые кожаные папки

с золотом и посылать в каждый дом, куда намечено ехать! Можно будет послать через третьих лиц, общих знакомых, наставников, или директоров банков, а иногда можно и самим показать, как будто случайно в разговоре...

Мысль сразу понравилась Сидору и особенно Гришке.

Занял только вопрос, во что обойдутся такие копiи, сколько надо будет заплатить гербового сбору. Решили, что все копии можно свидетельствовать с оговоркой, что они нужны «для представления в почтово-телеграфные учреждения Российской Империи», а такие гербовым сбором оплачиваются в минимальном размере.

«Деньги, как пшеница сеемая — с толком сеющий, хорошо собирающий», — заключил Сидор. — «И с божей помочью», — добавил он, спохватившись.

Мысль об этих папках еще больше понравилась при дальнейшем обсуждении. Сидор решил, что можно будет такие папки послать кое-куда и в правительственные учреждения и в банки.

«Хошь там, аль не хошь, официяльно, аль неофицияльно, а прочитает кто-нибудь и себе на ус намотает: сколько у Аристарховых домов и прочего капиталу... А послать можно всегда, как быдто, от третьего лица... И оно кожаное с золотом... — не выкинут...»

* * *

«Как папки готовы будут, так и поезжайте... Праздник, как полагается, дома, к мамашеньке может съездите, перед отъездом родительское благословление получить... Кто ону знает, в этих делах не знаешь, где на судьбу наедишь, могущее быть что еще до Успенского мальца окрутим».

«Малец» при этом делал вид, что застенчиво улыбается.

«Телеграмму-то надоть в Петербург», — вдруг вспомнил Сидор. — «Ты уж сдирижируй по ученому».

Стали писать телеграмму. Сидор наворотил кучу фраз, поясняя по своему одну другой, потом пояснял пояснение. Арсений давно уже написал, что надо, но Сидор все дополнял и пояснял.

Стал разбирать черновик. Сначала попросил, чтобы Арсений прочел ему вслух. Потом еще раз. Потом взял листок и стал читать про себя. Потом еще раз прочел вполголоса. Ничего не изменял, но все время недоуменно покачивал головой, сомневался.

«Очень уж скоро написанное, обдумать нужно всесторонне, дело мильонное, а тутока фык-брык и готово», — подумал за него его словами Арсений и, улыбаясь, ждал, что будет дальше.

Сидор, наконец, уперся в первые слова — «покорнейше прошу ваше высокопревосходительство».

«Не лучше ли брат — всепокорнейше прошу ваше высокопревосходительство?..»

«Нет, всепокорнейше — это какой-то холопский тон», — сказал Арсений.

«Оно пускай и холопский, абы дело сделанное», — возразил Сидор, но оставил «покорнейше», как было, и стал опять читать дальше. Дочитал до конца и опять вернулся к началу.

«Нет ли такого слова заместо «покорнейше просим», чтобы, понимаешь, одним словом выраженное?»

«Одним словом этого нельзя сказать», — ответил Арсений, уже начиная сердиться. Хотя сердиться на Сидора нельзя было. «Просто «прошу» нельзя, прошу и лакею говорят, это грубо. Покорнейше — это общепринятое выражение... Разве вот что! Есть такое слово — можно написать вместо «покорнейше прошу» — «соблаговолите».

«Соблаговолите! Вот-вот, это подходящее», — обрадовался Сидор, — «и короткое и почтительное... Так и напишем, брат, соблаговолите ваше высокопревосходительство... Вот оно ученье плодоносящее... Ученье свет, неученье тьма, а мне и на ум не приходило, что такое слово употребляемое, соблаговолите... короткое и ясное и лишнего тарифу нетути... Соблаговолите ваше высо-

копревосходительство... Это значит я тебя и покорнейше прошу, чтобы ты исполнил деловое и чтобы ты еще ко мне благоволил и телеграмма короче, копейка она рупь берегущее...»

Сидор просветлел, сразу успокоился: — значит телеграмму так следует обдумали, обмозговали, все в порядке. Но он не мог не сказать чего-либо еще по этому поводу, не пережить еще раз удовольствия от достигнутых результатов.

«Да, брат, отовсюду обдуманное, пользу приносящее... Слово слову разница огромадная. Одно из кармана берущее, другое в карман кладущее и в каком месте поставленное, чтоб на свадьбе не похоронное, аль не свинью заливаемую, хе-хе-хе... Ты знаешь, как нас учили? Буки-аз-ба, веди-аз-ва, на три копеечки, по Псалтырю, а на тебя не зря израсходованное... У другого хошь и двадцать лет высшее долбимое, да что об стену горох...»

* * *

Еще не кончили писать телеграмму, как вошла старуха.

«Все о делах еще?.. кончайте, праздник завтра большой... и так поздно, спать пора ложиться, в четыре часа Богу молиться всех подыму... Разве что Арсений, как хотит евоное дело, над им власти не имею...»

«Нет, я тоже встану», — поспешил он заявить.

* * *

Мамашенька потребовала, чтобы перед отъездом и сваты приехали к ней погостить в именье.

В этом именьи жил Афанаска, а мамашенька там была временно, чтобы навести порядки по хозяйству и уладить афанаскины пакости. Местечковая девка требовала от Атанаски на содержание ребенка. За нее вступился ксендз, и предстоял большой расход, а то, чего доброго, и суд.

Ехать надо было несколько станций по железной дороге, и потом на лошадях верст пятнадцать.

Приехали в первом классе. «Надо привыкать к первому, раз с настоящими миллионерами знаться хотим», — подзадорил Арсений.

На станции ждала своя пара в рессорном тарантасе с высокими желтыми колесами. Когда проезжали потонувшее в грязи местечко, все снимали шапки и кланялись. Кланялись аристарховским миллионам, о которых тут уже знали. Звали даже Аристарховых графами.

Ни Гришку, ни Арсения в лицо не знали, но кланялись бричке. Все равно, кто в бричке, — бричка аристарховская.

На улице местечка стояла топь, колеса вязли по втулку, и Арсений не мог понять, как это на станции они были чистые: — очевидно, кучер вымыл их там.

Дворы напоминали болото. У самых домов прыгали с камня на камень или на дощечки. Только ребятишки и две ксендзовских свиньи могли переходить улицу. Собака погналась, было, за бричкой, но чуть не утонула. Однако, дома и на разных сторонах улицы были соединены проволокой, чтобы в шабаш можно было считать их одним жилищем.

Как на трухлявом, заплесневелом суку растут орхидеи, так здесь на грязи и вони выростали изящные, тонкокостые еврейки. Гришка смотрел на них с масляной улыбкой. Он считал всех женщин своей собственностью. Арсению была неприятна мысль, что, может быть, Афанаска уже купил одну из них. Гришка, однако, пояснил:

«Нельзя с жидовочками связываться... Беды не оберешься», — и махнул рукой. — «Хуже цыганок... Весь кагал вой подымет...»

Гришка говорил об еврейках, цыганках, вообще обо всех женщинах, как о товаре. Обсуждал их стати и цену, точно речь шла о лошадях. Больше всего он ценил здоровье и объемистость, щупленьких не любил.

С этой точки зрения молоденькие местечковые еврейки не годились.

* * *

Приехали, помолились Богу на все иконы, — Гришка раздвинул даже занавесочки у божницы и поцеловал два медных складня. Мамашенька была особенно этим довольна. Предложила с дороги пойти в баню:

«Для вас байню топили. Афанаска уж тамока ждет... В предбайнике ковер постлали, идите с дороги, а потом вечéрять будем...»

В бане Гришка был накануне, но охотно согласился. Раз там Афанаска, значит, и девочка будет.

Он не ошибся.

Афанаска приготовил ему и Арсению двух своих прежних жертв. Когда вошли, одна из них, закутанная в большой серый платок, скотница Дунька, стояла в предбаннике.

Гришка поздоровался, размотал платок и опытным глазом сразу оценил все стати — широкоскулая, рябая, но молодая и краснощекая девка, и груди большие, как налитые. Гришке понравилось.

«Раздевайся, Дуняша! иди пару поддай...»

Дуняша стала покорно раздеваться.

«Лушка в пуне ждет», — отворачиваясь, чтобы не смотреть в глаза, сказала она. — «Тамока зимно, суды приходите».

«А где же Афанаска?» — недоумевал Гришка.

«Афанасий Данилыч в амбар пошли».

«Зачем в амбар?»

«В амбар... Чего-то дело у них тамока.»

Арсению предстояло итти в пуню за Лушкой.

Была ли лучше Дунька или Лушка — Гришка не интересовался. Ему подошла уже Дунька, и не стоило беспокоиться выбирать: эта ближе, и ладно.

* * *

Арсений не хотел близости с этими грязными случайными женщинами. Ему была неприятна такая скотская близость, вожделения не возбудили в нем и дунькины налитые груди... Но всетаки, может быть, если бы не боязнь, что можно заразиться, он и пошел бы к Лушке.

«Так ты, брательник, иди... Тащи ее сюда. Ты где хотишь — в мыльной или в предбайнике? Мне все одно — выбирай... А может Дуньку хотишь, так я за Лушкой пойду?..»

«Нет, оставайся, я пойду», — и Арсений пошел к пуне, но не с тем, чтобы вести Лушку сюда, а чтоб дать ей рубль и под каким-нибудь предлогом отпустить.

К пуне надо было итти мимо большого ледника, врытого в землю и обложенного дерном. Когда подходил, оттуда раздался женский крик, и из маленькой дверцы выскочила растерзанная фигура. Уже темнело, и женщина, видимо, не заметивши, чуть не сбила его с ног. Она на бегу плакала, что-то говорила, платок с головы висел на шее, волосы были распущены, кофта порвана. Сзади вылезал Афанаска, в еще более растерзанном виде — лицо в крови, пиджак с оторванной полой, облитый простоквашей.

«Кто тутока?.. Никак Арсений!.. А Гришка где?..»

Он полез, было, целоваться с Арсением, но остановился, вспомнил, что может запачкать.

«Эвона стерва, мать твою за ноги!.. всего простоквашей окатила...»

«Как же это с тобой?» — рассмеялся Арсений.

«Как же, так же... Я ону сколько раз звал — нейдет добром... Тамока подстерег, в леднике, облапил, а она стерва кусается и жбан простокваши выворотила... ишь лоб разбила и пинжак спортила... Ничего, погоди, мать твою за ноги, не уйдешь».

* * *

К ужину Афанаска был уже в благообразном виде и молился широким крестом, даже вслух прочел молитву.

Мамашенька время от времени в разговоре вставляла укоры по его адресу, но гораздо больше злилась не на него, а на ту девку, что скандалит и огласку делу дает:

«Нашел, с кем связаться, путаник, с полячкой — теперича вот с ксензом разговаривай... Своих ему мало...»

VIII.

«ЖЕНИХИ.»

Папки были готовы. В пояснительную записку, к полному удовлетворению Сидора и Гришки, Арсений вставил несколько разъяснений, еще увеличавших капитал Аристарховых миллиона на два.

В одном из их имений была речка с небольшим водопадиком. Искони там стояла водяная мельница и сдавалась в аренду по 250 рублей в год. Арсений составил приблизительный подсчет силы этого водопадика, с прибавкой неиспользованного уклона речки, и получилась семизначная цифра...

В другом имении оказались залежи цементной глины. Это тоже вошло в расценку и повышало стоимость имения вдвое.

Участок в Крыму был расценен, как сплошной виноградник, в предположении, что это очень легко сделать. На устройство виноградника нужно 70.000, а зато стоимость участка увеличивалась на 300.000...

С прибавкой таких возможностей имущество Аристарховых выходило «документально и нотариально» миллионов восемь.

Сидор пробовал кое-что исправить в записке, но только добавил еще около миллиона!

«Довольно,» — смеясь говорил Арсений, — «куда вам, и так много... седьмой миллион уже!»

«Если с божей помочью, то и всех десять имеющихся... Бог захотит, так и дальше пойдет приобретающее... только чтобы все по совести и ясное, на каком свете стоим... Чужого не хочем, только законное и правильное... Шкыц, подлая!..» — крикнул он на кошку, которая сдуру из кухни явилась в кабинет и замяукала.

«Вот видишь верно... и кошка замяукала... шкыц!.. Ты с меня не смейся — погоди, с молоду да по учёному все смешки, а как вот этакие плеши выступающие, тогда и по кошке и по иному прочему замечаемое... Бог-то, ён прямо не скажет... Мильон сам сзади не бегит, да не просит «возьми меня, дяденька», ён силком притягиваемый... ён от тебя убегающий, а ты его за хвост; ён тебя брыкающий, а ты его погладь... шкыц, подлая, опять пришла!.. Дунька, убери кошку, нагадит да иконы тутока,» — позвонил он в большую мраморную кнопку на столе. «Дело делать не лапти плести, по божей воле все происходящее... И ты тутока: вместях работающие, вместях наживающие... Не обделим.»

Это «не обделим» было пока все, что Арсений имел. Эта неопределенность была часто непереносима. Поездка с Гришкой откладывала вопрос еще в долгий ящик.

* * *

Наконец, после «благословлений», напутствий, наставлений и молитв, женихи уехали.

Все было готово в субботу, но под праздник ехать было грешно, в праздник тоже нельзя; понедельник тяжелый день — выехали во вторник.

Сначала в Москву. Туда было раньше написано наставнику моленной Преображенского кладбища. Там

их ждали уже несколько дней. Пеклись специальные пироги.

Наставник был важный, не чета Панкратьевичу, в золотых очках и с московским говором. Данила Минаевич Шитиков. Он жил в деревянном особнячке, с половиками-дорожками ручной работы, из разноцветных лоскутков, на ярко крашеных полах, с «юранками» и «мушкатками» на окнах; с двумя канарейками, которых он звал «знатные кенары», и с большими божницами в углах. Встретил он без всяких благословений, просто протянул руку, и только когда Гришка начал искать глазами божницу и креститься широким крестом, Шитиков сказал что-то божественное.

* * *

Гришка повел было разговор издалека, но Данила Минаевич перешел сразу к делу.

«Семейства родовитые, купеческие и богатые из наших старообрядцев в Москве есть... Есть — что и говорить. И на нашу моленную, спаси их господи, немало жертвуют... Много молодых замуж повыходили за последние три года, но и осталось еще... Постараюсь указать подходящее...»

«Указать и познакомить,» — вставил Гришка.

«Все по силе возможности сделаю... как для сына родного.»

«Нельзя ли поскорее, Данила Минаевич, с Воскобойниковыми устроить?..»

«Можно... можно, да не так торопитесь. Люди-то больно замкнутые и ни от кого не зависящие... старинные мильонеры. Да я попытаюсь поскорей, как можно...»

Гришка вынул папку и долго ласково объяснял Даниле Минаевичу о миллионах. Тот еще горячее обещал, предчувствуя хорошую мзду.

Решили, что сегодня же он попытается попасть к Воскобойниковым и поедет еще в два богатых дома. Кроме того, вызовет хорошо известную ему почтенную

женщину, во многие дома вхожую, и она тоже начнет хлопоты.

Шитиков получил две папки и двести рублей на моленную. Уехали, провожаемые пожеланиями и обещаниями.

* * *

«Ну, теперича, до завтра бай-бай,» — решил Гришка, едучи на лихаче в «Метрополь». — «Ты как хотишь, а я спать... у меня там уже кое-что припасено».

«Теперь», а не «таперича», и не «хотишь», а «хочешь», — поправил Арсений.

Язык Гришки, под влиянием ежеминутных поправок Арсения, все-таки улучшался. Арсений завел ему книжку, куда записывал неправильные ударения и нежелательные слова и выражения, и Гришка зубрил эту книжку — всегда в постели, утром и вечером. Вынимал вставные челюсти, клал их в стакан с водой, надевал большой бинт на усы, зажигал свечу, молился, затем лежа повторял «хрестоматию». Гришке нравилось незнакомое до сего времени слово «хрестоматия». «И христианское, и научное».

«Однако, когда же ты это успел?..» — удивился Арсений.

«Да горничная пришла постель слать, я с ей и поговорил...»

«Как? По твоему способу?»

«Да, так...»

«Ты неподражаем»...

«Не могу без этого... голова не работает».

Наскоро пообедали в большой зале, залитой светом, наполненной музыкой, говором и беготней лакеев. У Арсения Москва сразу подняла настроение. Гришка торопился спать, хотя было только восемь. Арсений не останавливал его: ему хотелось поскорее узнать, что с Зиной. Уже давно от нее не было писем, он тоже не писал. Нарочно не предупредил ее о приезде в Москву — хотел застать врасплох.

Поехал в большой театр: как раз был балетный день.

Зины в программе не было. Просидел два акта «Коппелии» и поехал к Страстному. Долго стоял в воротах около тёмного подъезда, не решаясь позвонить. Ему хотелось быть совсем спокойным, перебирал в уме десяток возможных вариантов того, что сейчас узнает, и к каждому из них хотел быть готовым, — и все-таки волновался. Наконец позвонил.

* * *

Открыла Манечка, сестра Зины. Сначала смутилась, потом обрадовалась:

«Арсений Павлович!.. откуда вы взялись?.. а бедная Зиночка в Крыму, доктора сказали, что у нее может быть чахотка, если она сейчас же не уедет на юг... ей дали отпуск в театре и она уехала».

«Давно?..»

«Уже больше месяца...»

Опять это знакомое чувство комка в горле. Он стоял в нерешительности.

«Заходите-же... Дома только папочка, спит уже, ему нездоровится все время...»

Вошли.

На столе стоял портрет Арсения с нежной надписью; лежало несколько книг, подаренных им.

«Другую вашу фотографию в красной рамке Зина взяла с собой», — сказала Манечка.

«Манечка, поедемте ужинать куда-нибудь».

Она сразу согласилась.

«Только к двенадцати надо быть дома... мама вернется и будет беспокоиться...»

Через полчаса сидели в кабинете «России». Именно сюда хотелось Арсению. Столько воспоминаний: «Россия» была штабквартирой его студенческой компании. Иногда тут, в кабинете, на диванах, проводили ночь после веселой пирушки, сюда приезжали ужинать второй раз ночью и рассказывали свои похожде-

ния. Он бывал реже других и только как зритель. Смотрел и облизывался. Было так заманчиво, так тянуло сюда, так хотелось самому быть участником жизни, которую вели товарищи — но они тратили тысячи... «Если бы был черт, если бы он покупал человеческие души, если бы можно было поменять душу на деньги». Но черта не было...

Знакомый кабинет № 9, те же большие, широкие диваны с порыжевшим плюшем, тот-же, кажется, ковер. Да, да, тот самый — вот и заштопанное место, где прожгли сигарой. Чуть-чуть не было пожара... Была особая, острая прелесть в этих кутежах, но ему они были тогда недоступны...

* * *

Арсений решил напоить Манечку и потом расспросить о Зине. Заказал солёных закусок, чтобы больше пить. Потом скобелевские битки, — помнил, что их любила Манечка. Шампанское велел заморозить, как можно сильнее, чтобы стало крепче. Манечка выпила большой бокал, но не опьянела. Стала веселой, в глазах загорелись искорки.

«Никогда раньше не видал у нее искорок... Как это я раньше не замечал этого у Манечки?.. И как от нее хорошо пахнет...»

«Какой обед нам подавали,
Каким вином нас угощали...»

— напевала она вполголоса из «Периколы».

У нее музыкальный слух... А у Зины нет...

Манечка выпила и второй бокал, но не пьянела. Смотря в упор ей в глаза, совсем близко, так что ощущал ее дыхание, Арсений спросил:

«Манечка, с кем у вас роман?»

Она еще порозовела, хотя и так была румяной от быстрой езды и вина, и не отводя глаз спокойно спросила:

«Откуда это вы выдумали?»

«Я не выдумал, я знаю наверно».

«Наверное... Ого, какой провидец!»

«Вы с кем-то живете... Как, Манечка?.. совсем?..»

«Полу-совсем...» — вдруг выпалила она, и вздернула голову, так что прядь волось упала на плечо. Она стала спокойно ее закалывать.

Потом все рассказала.

Он — студент... Его зовут Макс. Красивый. Занимается много гимнастикой. Мускулы, как железные. Но бедный. С ним так приятно было танцовать, когда познакомились на студенческом балу в Дворянском Собрании. С этого и началось. Уже месяца два, еще до отъезда Зины, но Зина об этом не знает. Он в будущем году кончает, и тогда они повенчаются...

«А может-быть и нет», — неожиданно добавила Манечка, и засмеялась. «Вечно новая, вечно старая историйка... я совсем не так наивна.»

* * *

Рассказала о Зине. Зина уехала, понятно, с князем. То есть уехала одна, но там встретятся. Арсений сам сказал это, и Манечка только подтвердила. Хотя о Зине говорила как будто вынужденно, но почувствовалось, что она совсем об этом не жалеет и не потому проболталась, что пьяна или поймана на слове, а сделала это сознательно. Это удивило Арсения.

Он сейчас впервые рассматривал Манечку, как женщину. Раньше ее заслоняла Зина. И говорил с ней как с женщиной. Манечка была в мать, богом ее были деньги: он не раз слышал ее разговоры. «Когда у меня будет много денег... Когда я буду богатой...» Она говорила так, точно никакого сомнения не было, что она будет богатой.

«А мама знает о Максе?»

«Ничего не знает... Мама запоем играет в рамс целые ночи. А папочка все нездоров... Тоска сидеть дома... Надоело все это «нельзя»... Почему нельзя?»

«Вы очень его любите, Манечка?»

«Кажется, да... Впрочем, не знаю».

«Вы всегда мечтали быть богатой, а он бедный. Как же вы будете жить?»

«Я не знаю, будем ли мы еще вместе жить... может быть, разойдемся».

«Я не понимаю, Манечка... Что значит «полусовсем».

«Вот то и значит, что, может быть, разойдемся».

«Я понял иначе».

«Вы все так понимаете: вам все можно, а нам все нельзя».

«Миленькая, у нас не бывает детей, а у вас могут быть».

Манечка смутилась.

«Детей не будет... Ах, не пытайте меня. Скушно было... Понимаете — скушно, скушно до одури, до бешенства скушно... Рамс, рамс, рамс... Я жить хочу!.. У каждого есть право жить».

Арсений поцеловал ее. Она не рассердилась, хотя сделала вид, что обижена его вольностью. Но обида быстро прошла. Он целовал ее неоднократно и раньше, в присутствии Зины, но это были другие поцелуи.

* * *

Отвез ее домой уже часа в три. Спускаясь с лестницы, Манечка опять напевала из «Прекрасной Елены»:

«Но ведь бывают столкновенья.
Когда мы нехотя грешим...»

Условились, что он даст ей знать, когда будет свободен, — вероятно, завтра же.

«Встретимся у Страстного... Лучше, чтобы папа и мама не знали».

«Ça reste dans la famille» — игриво и пошло вертелось в голове, когда Арсений ложился спать. Еще не было близости, но было уже то, после чего близость только вопрос подходящего момента и обстановки. При мысли о Зине, ему становилось грустно, хотя не

так грустно, как он ожидал. «Против женщины есть только одно верное противоядие — другая женщина».

Его сейчас искренно тянуло к Манечке. «Напускное у нее. Она милая девочка... Ее Макс, понятно, красивей меня... Но Манечка думает, что у меня много денег... И из-за этого она позволит делать с собой, что угодно. Должен-ли я сказать ей, что денег у меня нет? Позорное положение, глупо... Я живу в первоклассной гостинице, езжу в первом классе, а в кармане гроши... Но деньги будут, будут, будут...»

Арсений заснул с мыслью о Манечке — не о Зине, а о Манечке. Ему хотелось вырвать ее у Макса, увезти из Москвы, дать ей столько денег, чтобы она была довольна, заставить ее учиться, выдвинуться. Заставить полюбить себя...

Заснул, повторяя ее имя — вдруг оно оказалось таким благозвучным и милым:

«Ма-неч-ка... Ман-ечка... Ма-неч-ка... Ма-неч-ка... Ма-неч...»

* * *

Утром Данила Минаевич сообщил по телефону, что вчера не удалось никого застать. Сегодня снова поедет и примет всякие меры. В действительности, вчера он ничего и не намеревался делать, а ездил в Сандуновские бани, долго и с удовольствием парился. (Про это он, уже много спустя, как-то сознался Арсению). Знакомый, привычный парщик хлестал его веником до изнеможения, в самом жару. Данила Минаевич только голову мочил холодной водой и еще просил парить.

Он шел потом в мыльную, отлеживался и снова парился. Выходил в раздевальню, еле волоча ноги, красный, распаренный, довольный; одевался долго, размеренно, пил клюквенный квас и звал мозольного оператора. Это проделывал он каждую неделю, но не по субботам, ибо вечерню надо было служить, и народу очень много в этот день, мешают.

Если бы спросить Данилу Минаевича, какое самое большое для него удовольствие в процессе жизни, он сказал-бы: «банька». Однако, понятно во главе всего стояли деньги, потому что за деньги можно иметь и «баньку», и все, что хочешь... После бани ему легче думалось, и перед всяким серьезным делом он непременно шел в баню.

*

После завтрака пошли делать покупки.

Фрачные рубашки выбрали из самого тонкого полотна с ручной вышивкой и монограмами гладью. Гришка хотел с короной, но Арсений отсоветовал.

«Возьми еще несколько цветных».

Гришка слушался, хотя ему и казалось странным, как можно брать такую мужицкую рубашку — в красную полоску.

«Я такие подштаники в детстве носил...»

«То были ситцевые... А это самое дорогое голландское полотно».

Носки шелковые. Дюжину галстуков в цвет носков.

«Вот галстук красный нельзя... это другое дело». — учил Арсений. «К рубашке с красным можешь надеть зеленый... не светло-зеленый только... Или черный..»

Долго выбирали носовые платки. Потом духи.

«Духи только мужские, чуть-чуть на платок... а еще лучше — английский одеколон».

«А как насчет бриллиантового кольца?» — спросил Гришка. Ему давно хотелось такое бриллиантовое кольцо, как он видел у одного польского помещика, — «Если очень хорошее, оно, ведь, показывает...»

«Бриллиантовые кольца только шулера носят», — ответил решительно Арсений. Гришке это не понравилось.

«Почему-же польский граф постоянно носит?.. я сам видел. Если кольцо несколько тысяч стоит, оно сразу показывает, что человек богатый».

«Тогда припечатай к кольцу еще нотариальное удостоверение, что оно не фальшивое».

С этим доводом Гришка согласился.

* * *

«А нет-ли такой книги, чтобы все эти этикеты вызубрить?»

«Есть» — «Хороший Тон». Но если все по ней станешь делать, тебя выведут из первого же приличного дома».

«Да почему-ж так?..»

«Трудно сказать, почему, а нельзя... Кажется просто, а не напишешь... Воспитанность — вещь сложная, приобретается только с годами. Я где-то читал перечень, что нужно знать, чтобы быть в обществе интересным человеком и ловко себя чувствовать. Нужно знать: иностранные языки, музыку, умет танцовать, хорошо играть в теннис, знать фехтование, верховую езду, хорошо играть в бридж, прилично — в шахматы, хорошо — в покер... Много еще чего нужно».

«Я, брат, этого ничего не знаю», — почти испугался Гришка. — «Разве что верхом ездить. Ездил без седла, когда лошадей в ночлег водил... Сложная машинка... А ты это все знаешь?»

«Нет... Мы ведь с тобой воспитание получили одинаковое. Я тоже верхом в ночлег ездил и бучом воробьев ловил... и на языке вроде твоего разговаривал».

«Зачем нужно все это?»

«Вот это философский вопрос!.. между прочим, это нужно для охраны твоих миллионов...»

«Чорт ону знает... сложная машинка!» — как-будто понял Гришка.

Шли Пассажем.

«Ну и девочек тутока!..» — понравилось ему.

Некоторые нравились и Арсению. Но он их боялся.

Он иногда как-будто завидовал Гришке: тому уже ничего не страшно, всем был болен.

«Однако, какой-же он мерзавец!.. Скольких он заразил».

Гришка рассказывал, что он на свою болезнь долго не обращал никакого внимания и даже, когда лечился, не прекращал своих амурных похождений. — «А теперь жениться на здоровой девушке и, если даже не заразит ее, будут больные дети... И женщины сами лезут из-за миллионов».

Арсений почувствовал вдруг острую ненависть к Гришке.

IX.

СВЕТЛЕЙШАЯ.

Дарья Ивановна жила в переулке у Цветного бульвара. У нее был самый шикарный в Москве дом свиданий. Ее знал не только лихач, знали все богатые москвичи. Только одна портниха Мизанго на Петровке могла претендовать на еще большую шикарность. Не потому, что у нее была обстановка лучше или что бывали лучшие женщины («Женщины все те же, сами не фабрикуем» — говорила Дарья Ивановна — «и все потому, что у нее была обстановка лучше или что быданья были как бы случайные: приезжали примерять или заказывать и случайно встречались с мужчинами.

Дарья Ивановна о Мизанго говорила:

«Чего там наводить тень на ясный день... Богу молиться хочешь — иди в церковь, а хочешь девочку — так для этого дом свиданий... Сама не ханжу и ханжей не люблю. У каждого своя специальность и каждый должен в своей специальности честно работать.

Состарюсь — может в монастырь пойду и капитал на дела богоугодные пожертвую, а пока я свою специальность уважаю... Не так ли?!..»

Арсений давно рассказывал Гришке о Дарье Ивановне.

* * *

Отворила горничная, настолько хорошенькая, что Гришка дальше готов был и не ходить. Провела в гостиную с большими зеркалами, с асортиментом подушечек и накидочек на диванах и креслах. На столе было несколько альбомов с фотографиями женщин. Много молодых и красивых, но не тех, которые бывали здесь: могли бы получиться неприятные истории.

«Зачем же эти альбомы тогда положены?» — спросил Гришка.

«Вероятно на том же основании, на каком спортсмены обвешивают свой кабинет фотографиями знаменитых лошадей и боксеров... для возбуждения аппетита», — ответил Арсений.

* * *

В ожидании хозяйки Гришка посматривал на горничную. Арсений ловил его взгляды. Гришкино отношение к женщинам было ему опять противно. Так делали все, но была у других хотя декорация, доля уважения к женщине. А этот покупал их за деньги так же, как нанимают извозчика. Было обидно, что ни одна из них до сих пор не дала отпора, не отделала Гришку, как следует... Ни об одной Гришка потом не вспоминал, не стремился встретиться снова. Если встречался, то случайно или потому что не было другой. Ему необходимы были женщины, но все, сколько их есть на земле, а не какая-нибудь определенная. Ища все новых, он точно торопился — надо использовать большее количество. А все они все равно принадлежат ему...

* * *

Было пять часов, неурочное время. Хозяйка спала. Пока одевалась, прошло минут пятнадцать. Наконец, она неслышно вошла, мягкой развалистой походкой, точно выплыла.

«А, Арсений Иванович!..» — она знала его под таким именем, и совсем не знала фамилии. — «Сколько лет, сколько зим! Вы кончили уже, где теперь поживаете?» — обрадовалась она, как родному.

«Мой кузен», — представил Арсений, и, выбрав удобный момент, добавил вполголоса:

«У него миллионов десять, настоящих...»

Дарья Ивановна повела сначала светский разговор. Потом вопросительно посмотрела на Арсения. Тот показал глазами на Гришку.

«Вам нравятся больше блондинки или брюнетки?..»

«Он не любит маленьких... ему поразмеристей,» — подсказал Арсений смеясь.

«Хотите артистку или даму общества?»

«Да все равно, лишь бы интересная» — мялся Гришка и масляно улыбался.

«Сто рублей вам не дорого?» — продолжала Дарья Ивановна.

Последовал продолжительный обмен мнений. О женщинах говорили, как жокеи говорят о лошадях. Гришка забыл в пальто носовой платок. Когда он вышел в переднюю, — в действительности не за платком, а в надежде сговориться там с горничной, — Арсений сказал Дарье Ивановне.

«Познакомьте его с такой, чтобы показала ему, где раки зимуют...»

Дарья Ивановна сейчас-же решила.

«Знаете что», — обратилась она к входящему Гришке, — «есть случай! могу вас познакомить с самой интересной женщиной в Москве... редкостный случай. Только вчера приехала из Ниццы, там у нее вилла, светлейшая княгиня, красавица... у королей во дворцах бывает... Не смейтесь: не уплатите ни копейки, пока не убедитесь, что все, что я говорю — сущая правда. Сюда она не поедет, но я думаю, что уго-

ворю ее приехать сегодня вечерком куда-нибудь в театр: она сейчас в таком настроении, что приедет... надо ловить момент... Другой раз такой женщины за большие тысячи не достанете. Возьмите ложу куда нибудь».

«А сейчас нельзя?» — спросил Гришка. Ему совсем не хотелось канители с театром, даже и ради светлейшей княгини.

«Нет, невозможно... что вы! Невозможно! Вечером только, после обеда, часиков в десять... Но только за эту я копейки меньше двухсот не возьму. И то, ведь, вы сами понимаете, это не цена для такой женщины, это — случай... Светлейшая княгиня, первая красавица...»

Гришка верил и не верил. Неужели может быть, что светлейшая княгиня?.. «Посмотрю паспорт — если врет, заплачу четвертную» — шепнул он Арсению и согласился.

* *
*

Горничная принесла чай с домашним печеньем, с тяжелым кэком с коринкой, фрукты. Просидели еще с полчаса, мило беседуя.

Звонили несколько раз по телефону. Звонили на парадном. Дарья Ивановна выходила и возвращалась; один раз сделала знак рукой на сообщение горничной, что «звонят из № 146». Горничная сразу поняла и стала что-то таинственно объяснять по телефону...

Дарья Ивановна любила бега и крупно играла, знала всех наездников; один был приятелем и бывал у нее. Имени она не называла, но, смеясь, рассказывала:

«За женщину — лошадь... Так и говорит... И тогда можно наверняка играть... Они знают лошадей, христопродавцы!..»

Когда прощались, Гришка хотел заплатить за чай, но Дарья Ивановна категорически отказалась, даже обиделась.

«Что вы?.. что вы, у меня не чайная».

Гришке это понравилось. Он дал горничной два рубля и ущипнул ее за грудь.

«Совсем как в семейном доме», — говорил он.

Решили, что Гришка один приедет в десять. Арсений хотел пойти в театр: он имел в виду не театр, а Манечку.

* * *

На завтра Арсений встал поздно, но Гришки дома не было: он не ночевал. Это обеспокоило: не вышло-ли какого либо скандала? Собирался уже телефонировать Дарье Ивановне, как явился Гришка. Улыбающийся, с масляными глазами.

«Где же ты пропадал?»

«Да, брат, знаешь чудеса... Чудеса и есть... Верно — светлейшая княгиня!.. чорт ону знает, что такое! Приехал я, понимаешь, к этой Дарье Ивановне. Говорит, все устроила, но светлейшая княгиня ни за что к ней ехать не хотит, неприлично, говорит, а чтобы встретиться где-нибудь нейтрально, в театре или в кабинете, говорит. И чтобы Дарья Ивановна при этом была, а она одна с незнакомым мужчиной не согласна... Не фокус-ли, думаю!.. Еще завезут куда-нибудь, а потом шантаж выйдет... Говорю, если угодно, в кабинет «Метрополя», у нас, значит... Та позвонила, поговорила, хорошо, говорит, едем, княгиня сейчас там будет...

Дарья так разоделась, такая дама, что сама твоя герцогиня — в брилиантах, в соболях... фу-ты, ну-ты, шестом головы не достанешь... В кабинете и встретились. Баба бывалая, виды видавшая... Тоже в этом сером — как его — мехе, шаншила, и брильянты в ушах... статная баба, я тебе скажу, есть что в руки взять... Ужинали, вино какое-то особое пили... Я думал, она ко мне в номер пойдет: нет, говорит, проводите меня домой... «Вы», говорит, «дичок... приручить вас надоть». Я зашел раньше в номер, лишние деньги оставил. Кто ону знает, еще ограбят... Тебя дома но было. У ее, брат, такая квартира, что царю

жить... Светлейшая княгиня Трубицына! Я паспорт видал. И карточка на дверях, и потом дворника спросил — светлейшая... Вот так фунт! Говорит, при дворе бывает, всех великих князей знает...»

Гришка размахивал руками в особенно патетических местах или гладил усы вверх.

«Какие случаи бывают... Это дела можно будет делать, если у ей такие связи».

* * *

Арсений перебирал в уме шикарных кокоток и содержанок Москвы, но ничего подходящего не находил. «Андрей знает» — решил он.

Андрей — один из швейцаров «России»; не было интересной женщины в Москве, которой бы он не знал. Андрей не только устраивал знакомства, но и сам — молодой красивый парень — был участником романических историй.

После завтрака, когда Гришка улегся спать, Арсений поехал в Петровские линии. Андрей действительно знал.

«Да это Катька Казакова! Она живет тут вот недалеко, на Петровке, в доме Гудинова. Светлейшая княгиня, это правильно. Красивая баба. Еще не старая, лет под сорок... Знаю ее, как же... Она у «Яра», в русском хоре служила. Оттуда взял ее известный миллионщик Чижов, старик... Жил с ней несколько лет, а, умирая, оставил ей миллион. Языкам обучил, гувернанток ей держал, совсем образованную сделал... Настоящая дама. После смерти Чижова она нашла старого больного светлейшего князя Трубицына... За сорок тысяч тот обвенчался и помер вскоре, а она осталась светлейшей... Правильная, по закону княгиня... Богато живет... Своих два выезда, рыжих пара знаменитая. Заграницу часто ездит. Говорят, там большие деньги в рулетку проиграла, в Монте-Карле... Ну, да она еще не одного в трубу пустит, на то Трубицына... Бой-баба, столичная...» — говорил Андрей. — «А вы

что, познакомиться хотите, Арсений Павлович?» — лукаво улыбнулся он.

«Нет, мне не по карману... Просили узнать...»

«Как не знать. Катьку Казакову, кто ее не знает?» — разохотился Андрей. — «Года два назад, говорили, такой случай был: быдто ее в Монте-Карле к королеве английской на обед пригласили, потому что светлейшая, по-ошибке, а потом за это всех придворных со службы выгнали, когда узнали, какая это светлейшая. В газетах быдто писали... Как не знать?.. Кто ее в Москве-то не знает?.. Поезжайте на бега, она там часто бывает, своя ложа постоянная... Когда заграницей живет, экономка ложей пользуется, а никому не уступает. Так и известно — ложа светлейшей княгини Трубицыной. Бой-баба, одним словом...»

Арсений решил ничего не говорить Гришке.

X.

У НЕВЕСТЫ ГУБИНОЙ.

Сидели за утренним кофе в гостиной, разделявшей спальни, когда лакей пришел доложить, что «желают видеть Феоктиста Григорьевна».

«Какая Феоктиста Григорьевна? Какого нечистика» — удивился Гришка. Ему сразу пришло в голову, что это одна из тех девиц, с которыми он сговорился в Пассаже. — «Молодая? старая? где она?»

«Они тут в коридоре... говорят, что вы знаете, по какому делу... оне пожилые, в платке... говорят — доложите, что Феоктиста Григорьевна».

«Да это, о которой говорил Данила Минаевич» — вспомнил Арсений.

Гришка выскочил, чтобы поправить свой туалет. Вошла женщина в черном платке и старинном салопе с выцветшим енотовым воротником. Хотела помолиться на икону, но раздумала и только низко поклонилась.

«Меня к вашей милости Данила Минаевич послал... Вы будете Григорий Данилович?..»

«Он сейчас придет... садитесь, пожалуйста».

«А вы, значит, сродственник евоный будете?.. так... так... А как величать-то вас? Арсений Павлович... так... так...»

* * *

Когда вошел Гришка, она встала, опять низко поклонилась и снова села, подальше, у двери.

«Меня прислали сказать, что сегодня вечерком вас на чаек у Губиных ожидают... Губины, чаеторговцы, изволите знать, на Таганке... Вечор там мы с Данилой Минаевичем были и приглашенье для вас получили, чтобы значит сегодня встретиться... ждать будут... так... так...»

Гришка стал распрашивать о барышне — красивая-ли? блондинка или брюнетка? сколько лет? была ли в гимназии?..

«Это владельцы фирмы П. К. Губин и Ко.?» — спросил Арсений.

«Те самые... владельцы... так... так...»

Арсений вспомнил, что в «Сборниках известных судебных просессов» он читал когда-то о громком деле чаеторговцев Губин и Ко., но не мог припомнить, в чем собственно был процесс, за что их судили и чем кончился...

Феоктисте Гришка дал «на расходы» десять рублей и просил передать, что будут.

«Почему только у них чай в такое неподходящее время?» — заметил Арсений. — «Вероятно дочка при вечернем освещении лучше выглядит?..»

«Ничего, мы и днем осмотрим.»

Гришка решил после завтрака поспать часиков до пяти, чтобы голова была свежая. «И хорошо бы девочку...»

Арсений заказал ему парикмахера на половину шестого.

«Да... да...» — понравилось это Гришке. Он сам не догадался позвать в номер: «так и не устанешь, и солиднее», — согласился он, входя в роль настоящего миллионера.

«А что одеть надоть?»

«Надеть надо», — поправил Арсений, как было условлено: — поправлять, когда вдвоем.

«А что надеть надо — «смокин»?» — повторил покорно Гришка.

«Нет в черном пиджаке или в жакете... как хочешь?»

«А ты в чем поедешь?»

«Я в пиджаке».

«Ну, и я, значит, в пиджаке... А галстух какой?»

«Все равно, какой... тёмный».

«А какой лучше?.. а ты в каком? А булавку можно вколоть?»

«Можно... вколи жемчужную, что вчера купили».

«А у тебя нет булавки?»

«Это неважно... я, ведь, не жених, на тебя смотреть будут, а не на меня».

«Я хочу, чтоб не смешно было... Как это принято лучше?.. А цепку тонкую или толстую?»

«Тонкую...»

Разговор продолжался еще. О всех деталях, включая носки, ботинки, перчатки, кашнэ, носовой платок, нужно-ли целовать руку, как отличить замужнюю от незамужней, чтобы знать, кому целовать, а кому нет.

* * *

Подъехали, без трех минут семь, но, чтобы не вышло слишком рано, объехали еще кругом несколько

кварталов и в пять минут восьмого остановились снова у большого двухэтажного особняка с колоннами.

Отворила горничная в белом крахмальном переднике и наколке и без доклада повела в залу. Гришка на ходу поправлял вверх усы и пробовал галстух.

Большая зала в два света, с хорами, как в старых дворянских домах, две хрустальных люстры, золоченая мебель и два рояля. Арсений показал Гришке жестом на рояли, но тот и сам уже заметил.

«Попали мы, брательник, в музыкальное...»—сказал он вполголоса. — «Ты с музыкой вывози, а то как заведут тамока на счет этой сенаты или сенфонии, все дело пропадет...»

Из столовой вышла мамаша Губина и пригласила за стол к чаю.

«Григорий Данилович? Арсений Павлович?..»

Очевидно, и имена и внешность, и остальные данные были ей подробно сообщены.

Феоктиста, в том же платке, но без салопа, сидела уже в столовой; не за столом, а в сторонке. Она встала и низко молча поклонилась. Как сидела положивши руки на колени, так и встала, не отнимая рук, и опять села.

«Вы надолго в Москву... знаете хорошо нашу столицу? часто бываете тут?..» — повела разговор хозяйка.

Через минуту-две вошла маленькая блондинка, довольно миленькая, и с ней какая-то дама.

«Липочкина учительница музыки», — представила хозяйка.

«Почему Липочка звучит сладенько и пошленько... Почему именно с этим именем связалось такое впечатление?..» — подумал Арсений, разглядывая самое Липочку.

«Еще Груша — тоже... А они тоже все на минуты расчитали, тертые калачи...»

Мамаша говорила что-то Гришке, а он искоса поглядывал на дочь. Та краснела от этих взглядов, ласковых и любезных, но обидных.

Арсений постарался сгладить неловкость, начался общий разговор, но как раз о музыке.

Оказалось, что Анюта бывает на всех симфонических концертах в Дворянском Собрании и любит музыку.

«На что перевести разговор, чтобы Гришке подходило?» — спохватился Арсений. Решил о деревне: «Вы деревню любите?»

Гришка вставил несколько фраз о деревне, и дело наладилось. Но было ясно, что тут толку не выйдет. На такой маленькой Гришка ни за что не женится... «И о процессе придется сказать: никак не могу вспомнить подробности, не сослан ли был ее отец?.. Из разговора, что он умер, но где и когда?.. да и богаты ли они сейчас?.. Не похоже тут на миллионы...»

* * *

Липочка отделывалась ответами «да» и «нет», разговор за нее поддерживала учительница музыки.

Она нагнулась к Липочке и сказала ей что-то вполголоса по французски. Та отрицательно мотнула головой и еще больше оттопырила мизинец на правой руке, — она держала в ней ложечку с вареньем.

Вмешалась мамаша.

«Липочка, сыграй что-нибудь... Она у нас превосходная музыкантша... Вы любите, ведь, музыку?» — обратилась она к Гришке.

«Очень даже...» — брякнул Гришка, не зная как быть. К этому именно не приготовились.

Арсений чуть громко не рассмеялся, глядя на Гришку, когда шли в залу. «Но всетаки я обязан выручить его... Надо попросить скорее, что играть, а то его спросят... Чорт ее знает, что она играет. Не туда попадешь... Я ведь сам в музыке тоже вроде Гришки...»

«Сыграйте какой-нибудь вальс—шопеновский... или штраусовский. Мы с Григорием Данилычем не особенные музыканты, но он, говорит, что вальсы его всегда настраивают возвышенно...» — говорил Арсений Ли-

почке, пока та рылась в нотах. Ноты — и именно вальсы — были приготовлены, а рылась она только для виду, и Арсений сказал о вальсах, потому что увидел их.

«Всетаки глупость сморозил» — подумал он — «да чорт с ними, тут все равно впустую...»

Просидели с час. Когда уходили, на лестнице выросла Феоктиста Григорьевна.

«Мне к вам завтра зайти?.. аль как прикажете?..»

«Да... да... пожалуйста... будьте так любезны, завтра» — ответил Гришка.

«Завтра утречком... так... так», — она опять низко поклонилась.

* *
*

На следующий день Гришка еще спал, когда Арсений нашел у Карбасникова тот сборник, где было дело Губиных. Отца Анюты судили за подделку этикеток и другие мошенничества и сослали на поселение. Гришка, прочитав приговор, посмотрел вопросительно на Арсения.

«Так, значит, нас объехать хотели?.. вот-те фунт... Эту Феофилакту Григорьевну надо к нечистику послать... чорт ону знает, как въехать можно...» — волновался Гришка. — «Но как-же Данила Минаевич! Ведь, он должон был знать об этом... что пятно на фамилии...»

«Первый блин комом, так полагается» — шутил Арсений. — «Хорошая примета...»

* *
*

С Данилой Минаевичем был серьезный разговор. Выяснилось, что он знал об этом процессе, но не придал этому особенного значения: «люди богатые и на моленную жертвуют много».

В действительности было не так. Губины давно были разорены, и только на последнее поддерживали прежний дом, чтобы выгодно выдать замуж Анюту и

этим поправить дела. Мамаша обещала хорошую мзду и Шитикову, и Феоктисте, если найдут хорошего жениха; хорошего — значило богатого. Для этого и в симфонические концерты ездили.

Этого Шитиков не сказал, но решил впредь быть осторожнее, чтобы не потерять такого клиента.

С Воскобойниковыми было не так легко. Те действительно были богаты и на предложение Шитикова ответили, что узнают, соберут справки. «Папку» им Шитиков передал, и так распинался о миллионах Аристарховых, точно он их сам считал, и половина — его.

«Устрою и с Воскобойниковыми... беспременно устрою, не торопите только, нельзя с такими людьми как на пожаре... Брак — дело серьезное. Муж и жена едина», — уговаривал Шитиков.

Гришка долго еще волновался — как же это можно?! Ему Аристархову, хотели подсунуть невесту из запятнанной фамилии, дочку ссыльного... Но Шитиков был пока нужен, и ссориться с ним нельзя было, поэтому говорил с укорами, но мягко. Гришка давно усвоил правило Сидора, что, пока люди нужны, с ними ссориться нельзя ни в каком случае. «Он тебя брыкающий, а ты его погладь...»

XI.

У ВОСКОБОЙНИКОВЫХ.

Приехали курьерским. Думали, что их встретит у вагона лакей, но его не оказалось.

О богатстве Воскобойниковых столько говорили.

«Живут по-царски», — рассказывал Шитиков, — «не то, чтобы новые миллионы, а дедовские, давнишние...»

Арсений и Гришка были в недоумении. Успокоились, когда увидели у подъезда превосходную тройку, кого-то поджидавшую.

«За кем вы?» — спросил Арсений.

«Воскобойниковская... не за вами-ли будет?.. Двух баринов из Москвы жду», — ответил молодой кучер в казакине, в малиновой рубахе и в шляпе с павлиньим пером. Говорил почтительно, почти подобострастно; хотел снять шляпу, но пристяжные стали так дергать и мотаться, что пришлось схватиться за вожжи обеими руками.

«Ишь, чеченцы неугомонные!» — не то сердито, не то ласково окрикнул он.

Коренник, орловский рысак, с тяжелой дугой, совсем ненужной для этого экипажа, но очень стильной для всей упряжи. Пристяжные — чистокровные кабардинцы — так и извивались, ни секунды не стояли. Коляска на резиновых шинах; на переднем сиденьи плюшевый плэд и два парусиновых пальто от пыли, только что выстиранных.

* * *

Проехав немного по шоссе, переехали железнодорожный мост и свернули на песчаную дорогу. Гришка разговаривал с кучером:

«Тебя как зовут?»

«Анкудином», — ответил тот таким тоном, точно это имя было особенно почетное и указывало на какое-то высокое происхождение или заслуги.

«Ты что-же, старший кучер?» — польстил ему Гришка.

«Никак нет... я из младших».

«А сколько ж у вас всего кучеров?»

«Пятеро старших и восемь младших».

«А лошадей сколько-же?» — удивился Гришка, но постарался ничем не выразить удивления — значит так нужно у больших миллионеров.

«Выездных семьдесят восемь» — ответил Анкудин. — «Прошедшим летом восемьдесят четыре было, да две тройки старшей дочке в Орловскую отдали».

«Зачем-же так много?»

«Да не много... Для самой две тройки, да две одиночки, да трем дочкам по тройке, да трем сынам по две тройки, да разъездные для гостей шесть троек, да верховых по две, да детям еще парные — в колясочку маленькую запрягаем, — да шарабанных три...» — перечислял Анкудин. Он, видимо, считал, что для таких людей, как Воскобойниковы, и семидесяти восьми мало, и что, отдавши этих шесть в Орловскую, себя очень стеснили.

Гришка подмигнул Арсению:

«Это я, брат, понимаю... Семьдесят восемь выездных!.. Это вот настоящие миллионы!»

«Это самой тройка», — пояснял словоохотливый Анкудин.

* * *

Сама, Васса Прокофьевна, старуха, глава и владетельница фирмы Воскобойниковых, уже шестнадцать лет вдовствующая. Верная заветам мужа, она крепко держала в руках бразды правления, крепче даже, чем сам покойный старик. По мере того, как дети выростали, держать бразды было все труднее... Но пока она справлялась. Старшая дочь своевольно вышла замуж, и только в прошлом году, когда овдовела, мать с ней примирилась. Сыновья все больше тратили, а главное, хотели иметь доверенность в делах и даже требовали. чтобы фирма была переведена на имя всех. До сих пор было: «Васса Прокофьевна Воскобойникова», — не было ни «с сыновьями», ни «с компанией». Это, между прочим, давало фирме особый кредит: векселя ее считались превосходными, даже самые строгие банки, принимали их в любом количестве.

Когда шестнадцать лет тому назад умер Воскобойников, он оставил необычное завещание:

«Все завещаю жене моей Вассе Прокофьевне» — и ничего больше. Хотя два юриста, присутствовавшие при составлении завещания, и свидетели, уговаривали его написать подробно, как полагается, старик остался при своем:

«Сказано всё, значит всё, чего зря растабарывать...»

Для уплаты наследственных пошлин имущество было оценено в семь миллионов, а в действительности стоило больше.

С завещанием произошел небывалый юридический казус, — тогда об этом много писали. Васса Прокофьевна оказалась незаконной женой Воскобойникова, и суд не утвердил завещания. Вмешались дальние родственники мужа, и миллионное состояние могло уйти от семьи. Но было выяснено, что семья Воскобойникова принадлежит к раскольничьему толку, не приемлющему брака, и потому они были не венчаны и нигде не записаны. Свидетелями из именитого купечества и другими влиятельными лицами было установлено, что это — настоящая, законная семья. Дело было доложено государю, и по высочайшему повелению имущество перешло, согласно воле завещателя, к Вассе Прокофьевне.

* * *

Въехали в лес. Шла все та же песчаная дорога, уже верст пятнадцать. Теперь еще прибавились корни и пни вплотную к дороге стоящих сосен. Даже эта отборная тройка в некоторых местах еле вытаскивала коляску.

Анкудин рассказывал:

«Ткацкая фабрика, значит, у нас в городе, а красильня — в Воскобойникове... в самом, куда едем. Товар возим из города в Воскобойниково на лошадях; там, значит, красим, а потом обратно на станцию, в Москву, в амбары отсылаем... По этой самой и возим, другой нет дороги никакой...»

«Да ты, может путаешь», — отказывался верить Арсений, глядя на этот сыпучий глубокий песок.

«Что вы, барин! Что путать-то... Здесь и родились, слава Богу...»

Анкудин не понимал, чему удивляются гости.

«Знамо дело, сыпучая дорога, песшаная, не шоса тебе...»

Лошади уже были в пене, хотя не было жарко. Колеса тонули в песке.

Направо показались две фабричных трубы, прямо видна была ограда парка.

«Воскобойниково!» — обрадовался Анкудин, и лошади с новой удалью вынесли коляску на пригорок. Теперь виден был и большой барский дом, с рядом служебных построек и оранжереей в парке, и — направо — большие фабричные здания.

«А вон, подальше Ока блескает» — указал кнутом Анкудин. — «И по той стороне вся излучина наша. Знатные луга, заливные... Восемьдесят коров для себя там держим, а на лошадей — и на своих, и на заводских сена хватает».

* * *

Через двойные каменные ворота въехали в парк и, обогнув большую клумбу с фонтаном в середине и с дорожками по радиусам, подъехали к дому. В воротах была открыта только правая сторона, въездная. Гришка тихонько перекрестился под парусиновым пальто.

«К удаче», — сказал он тихонько Арсению. — «Туда въехали, а назад не уедем, тут и останемся...»

Остановились не у главного подъезда, а у бокового, за углом, где уже поджидали два лакея. Без торопливости они помогли выйти из экипажа, сняли пылевые пальто и повели в комнаты для гостей почиститься и «если угодно, отдохнуть с дороги».

Арсений примечал каждую мелочь. Гришка был доволен, чувствуя запах настоящих миллионов. «Жареным пахнет», — шепнул он.

С подъезда в виде стеклянной террасы, теперь раскрытой и заставленной цветами, дверь вела в большую переднюю, вернее — целую залу, с окнами высоко вверху. Стены — рубленые из толстых нетесаных бревен, выстроганных и покрытых лаком. Такой же деревянный потолок не то готического, не то русского стиля. Точно проект был составлен талантливым архитектором, с большим размахом, но при постройке вмешивался чей-то другой вкус, который портил первоначальное задание. По двум сторонам передней, вверх вели две лестницы с резными, такими-же лакированными, баллюстрадами.

В комнатах для гостей было все, вплоть до зубных щеток и приборов для маникюра, и даже по нескольку галстуков, носовых платков и ночных полотняных сорочек. Гришке нравилось, и через отворенную дверь он вполголоса делился своим восхищением:

«Это я, брат, понимаю!... Вот так живут! Так у них в деревне, а как-же в городе?!..»

Тот же лакей через некоторое время сообщил:

«Чайку выпить и закусить с дороги... Васса Прокольевна просят».

* * *

В большой, летней столовой были накрыты два стола. На одном, посредине, стоял серебрянный самовар, человек на сорок, целая кондитерская печений и сластей, а в конце столовой другой стол, немного меньше, сплошь был заставлен едой, начиная с двух больших банок икры во льду, балыков и нескольких пирогов, и кончая грибами. Арсений подсчитал, что грибов было семнадцать сортов! белые грибы, грузди, рыжики, сыроежки, опёнки, сморчки, маринованные, солёные, полумаринованные и полу-солёные, пареные, — Бог весть еще какие. Возле самовара сидела Васса Прокофьевна.

Лакей хлопотал у стола с закуской, что-то еще добавляя, а в почтительном отдалении, у двери в буфетную стояла горничная.

Тут уже вполне определенно доминировал русский стиль. Пилёные петушки, сосновая мебель с такими же пилёными и крашеными украшениями. Вышитые полотенца, над панелями стен полки с серебряной посудой и блюдами, тоже всё с петушками и полотенцами, но среди них несколько превосходной работы, с рисунками со старых русских манускриптов, глубокой и тонкой чеканки.

«Добро пожаловать», — приветствовала старуха.

Было условлено раньше, что у хозяйки нужно целовать руку. Та этому, видимо, не удивилась, как удивлялись раньше в некоторых домах.

«Может быть, раньше закусить чего-нибудь?... Все-таки дорога не близкая, проехать к нам не так-то легко, очень песчано», — сказала хозяйка.

Крепко сложенная седая женщина, лет под шестьдесят. Клетчатое серое платье; на плечах косынка. Держалась с достоинством, не слишком ласково, но достаточно любезно.

Прежде чем сесть за стол, Гришка оглянулся, ища глазами икону. В одном из углов было несколько икон, покрытых полотенцами. В некотором замешательстве посматривал на Арсения: — забыли условиться — молиться или не молиться? Старуха, видимо, поняла колебания Гришки и сдержанно улыбнулась.

* * *

За столом разговор пошел совсем гладко. Старуха интересовалась политикой, хотя своих мнений не высказывала, а только распрашивала. О политике Гришка мог говорить. Он читал «Новое Время» и «Русское Слово» и повторял схваченное оттуда. Любимой темой его было — будет-ли война, и кто с кем будет воевать?

Арсений рассматривал два больших старых полотна совсем потемневших; они висели высоко под потолком и были в полном диссонансе с остальной обстановкой.

«Не знаю, зачем это все навезли?.. и повесить-то негде. Весь чердак завалили», — сказала Васса Прокофьевна, заметивши. — «Мой старший сын, Анкудин, купил в Москве по случаю, цельную галлерею. Говорит — редкостные. Я в этом не понимаю...»

Такие же картины висели в зале, в гостиной, в комнатах для гостей, по коридору. Они были неуместны на этих рубленых стенах и резали глаз.

«Иконы, вот, я люблю» — продолжала Васса Прокофьевна. — «Старого письма есть у меня... хорошие иконы».

Арсений делал вид, что очень интересуется иконами. Попросил старуху показать моленную. Та обещала.

* * *

В комнату вошла девушка лет тридцати, такая же дородная, как и мать, в белом, с гладко зачесанными на пробор волосами, с большими, но не рабочими руками.

«Анна Олимпиевна... моя вторая дочь», — познакомила старуха.

Анна держалась так же просто и уверенно. Поздоровавшись, села за стол у самовара, но сама наливать не стала. Подбежала горничная и налила ей чашку. Гришка вертелся у закусочного стола, не решаясь, подойти ли ему к дочери или продолжать закусывать. Старуха и это заметила и вывела его из неловкого положения:

«Кушайте, кушайте, пожалуйста. Еще до обеда вот сколько времени... А где Степанида?» — обратилась она к Анне.

«С Кондратий Иванычем поехала верхом».

Четвертую, самую младшую дочь, звали Анфисой. и про нее еще Шитиков намекал, что она «чудна́я». В Москве про нее ходили целые легенды. Говорили даже, что она ненормальная, спит днем, а ночью гу-

ляет и все время со зверями проводит, а людей дичится; надолго одна куда-то уезжает и никому не говорит, куда ездит, и ничего с ней поделать не могут.

За чаем Анна перекинулась с гостями только несколькими фразами, но Гришка про себя уже определил, что она может подойти: девица здоровая, видная, большого росту, хотя и не красивая. Миллионы скрашивали ее окончательно. Впрочем, ее нельзя было назвать некрасивой. Только в манерах что-то мужское.

«Волосы хорошие и грудь, видать, крепкая» — говорил Гришка, когда после чаю вышли в сад.

«Что там волосы!.. Ты лучше миллионы посчитай», — ответил Арсений с иронией, но Гришка понял прямо:

«И то верно...»

* * *

Старуха повела в моленную.

Из той же громадной прихожей вниз шла каменная лестница. У старухи был ключ от массивной железной двери. Вошли в большое, сводчатое помещение без окон. Зажгли электричество. Две стены были покрыты сплошь иконами. Перекрестились и отвесили низкие поклоны. Арсений хотел подойти осматривать иконы, но старуха остановила:

«Это только притвор наш, пойдемте дальше, тут у меня редких нет».

Еще железная дверь вела в такое же сводчатое помещение, больше первого. Три стены прдставляли сплошной иконостас. Впереди был клирос, на две ступеньки выше. Два аналоя, покрытые черными бархатными накидками, шитыми темномалиновым шелком. Весь пол был затянут толстым малиновым ковром. На стене около аналоев висели подручники из разноцветных кусочков и вышитые бархатные; тут же рядом лестовки — бисерные, кожаные, еще какие-то. Окна с толстыми железными переплетами были закрыты. Мо-

ленная освещалась только двумя лампадками и светом, попадавшим через дверь из соседнего помещения.

«Св. Олимпий, иконописец» — рассмотрел Арсений еле заметную надпись в завитушках одной из икон.

Пахло сильно ладоном, восковыми свечами, лампадным маслом, старыми иконами. Было тепло, почти душно. Звуки извне не доходили сюда. Железные двери, полумрак, тёмные лики икон, эта душная атмосфера — все создавало мистическое настроение. Васса Прокофьевна стояла, строгая и спокойная, в чёрной косынке, с ключами в руке... Даже Гришка проникся настроением и на минуту забыл вероятно о миллионах и о том, как надо себя держать: он широко крестился и кланялся то одной иконе, то другой...

* * *

Васса Прокофьевна стала зажигать тоненькой, свернутой, как пружина, свечечкой большие желтые «свещи» в массивных серебряных подсвечниках, но потом раздумала, подошла к окну и нажала кнопку: тяжелые жалюзи безшумно поднялись.

«Вот икона старинная редкостная» — подозвала она. — «Казанская божия матерь, до-никоновского письма... А вот тоже ушаковская, подлинная «Отца безначального, сына собезначального...»

Показала еще другие, каждую чем-нибудь отмечая: видимо, наслышалась.

«Иван Никанорович Воскресенский — знаете наверное? — известный знаток икон, говорит, что вот эта ценнейшая — «Страсти господни, пятнадцатого веку...»

Несколько икон были тонкого итальянского письма, более поздних, но тоже все с двуперстным сложением; одна с крупными изумрудами и рубинами, несколько сплошь обложенных жемчугом.

Старухе нравилось, что ее иконами интересуются. Она говорила все охотнее и теплее; точно какая-то связь установилась, точно десять лет уже были зна-

комы. Арсений вспомнил моленную Четвериковых, которую он видел несколько лет назад в Москве — у Воскобойниковой моленная была богаче, больше икон. Он сказал ей это и этим совсем ее расположил...

* * *

Не успели выйти из моленной, как позвали к обеду. Опять, помимо обеденного стола, был другой, сплошь покрытый закусками: кроме прежних, холодных, целая коллекция горячих и всяких пирожков.

Степанида пришла к обеду в сопровождении Кондратия Ивановича, соседа-фабриканта. Гришка сразу уставился на него в упор и расценивал про себя, кто более завидный жених: он ли, Гришка, или этот Кондратий Иванович? Он считал, что тут ему грозит большая конкурренция, но к счастью Степанида ему меньше подходила: ниже ростом, хрупкая, не такая здоровая, как Анна — хотя и красивее...

Волновалась около стола не то экономка, не то родственница, Лукерья Минаевна. Ей за столом полагалось место, но она сидела, как на иголках, и все беспокоилась, чтоб у лакеев не вышло заминки с блюдами; особенно в начале обеда — в правильном ли порядке ставят тарелки, кому подают первому. Она старалась поймать взгляды Вассы Прокофьевны: довольна ли та, правильно ли сделано?..

«А Анфиса где, опять ей нездоровится?» — спросила старуха. И потому, как она произнесла «нездоровится», чувствовалось что-то другое.

«Анфисушка верхом поехала и сказала к обеду не ждать», — ответила Лукерья Минаевна. — «А Иван Олимпиевич в город уехали».

Олимпий Олимпиевич, старший сын, пришел к обеду одним из первых и осушил целый графинчик водки, стараясь напоить и Гришку. Арсений от водки отказался, чем сразу вызвал неудовольствие Олимпия. А с Гришкой они сошлись, хотя Гришка тоже выпил всего одну рюмку.

Обед был жирный и сытный. Опять с пирожками и кулебякой. Хотя все съели много закусок, но ни от чего не отказались и в обеде. Подавали вино, но только мужчинам.

После обеда опять гуляли по саду, громадному, заросшему, оврагом спускающемуся к Оке.

Ходили медленно, еле-еле двигались: так наевшись, двигаться было тяжело, и всех клонило ко сну, но нельзя было пойти спать, не поевши снова.

В десять был чай, с массой всякого печенья, а когда в двенадцатом часу шли спать, то еще предложили чего-нибудь закусить на ночь. И опять все ели заливное из стерляди, мочёные грузди и какой-то паштет.

* * *

Арсению плохо спалось. «Неудивительно, после такой еды», — думал он, ворочаясь с боку на бок.

Когда рассвело, он открыл окно. Окно выходило как раз на сиреневую аллею, теперь в полном цвету, благоухающую. Дальше, над лугом, у берега Оки все было застлано туманом. Среди кустов сирени мелькнула женская фигура. Арсений спрятался за портьеру. Он догадался, что это Анфиса, как раз ночью не спит, кто же другой? «Какая странная девушка...»

Стараясь не разбудить Гришку, он быстро оделся и вышел в сад. На аллее уже никого не было.

Он пошел дальше вглубь сада и свернул наугад к какой-то постройке, похожей на большой амбар, уже почти на самом обрыве к Оке. Амбар был обнесен забором; вплотную было пристроено несколько проволочных клеток, в клетках сидели какие-то звери.

Он подошел ближе. С другой стороны тоже была большая клетка, и в ней сидело два медведя, а еще в другой, — несколько медвежат. Внутри клетки с медвежатами была Анфиса, поила их из бутылки. Один пил, а два других ворчали, лезли на нее и старались вырвать бутылку. Анфиса была одета неожиданно элегантно. Ее синий фланелевый костюм, видимо сши-

тый у лучшего портного, шелковые чулки и перчатки подходили больше для Биаррица или Трувиля, нежели для усадьбы, да еще в такой час.

* * *

Анфиса спокойно обернулась, без всякого удивления, не спеша вышла из клетки и протянула руку:

«Здравствуйте, я — Анфиса... А вы — Аристархов? у нас гостите...»

«Да, мы вчера приехали, но вас до сих пор не удалось видеть».

«Вы с братом у нас?»

«Да, с двоюродным».

«Вы, младший? Арсений...»

«Арсений Павлович».

«Отчего вы так рано встали?»

«Я хотел вам предложить этот вопрос».

«Я всегда встаю в четыре часа».

«Всегда в четыре часа?! Так рано?..»

«Да, иногда еще раньше... я кормлю моих зверьков, потом иду молиться Богу в пять часов, потом в шесть еду верхом».

«Молиться Богу?..»

«Да, вот скоро надо идти... пять скоро. А вы удивляетесь тому, что я иду молиться Богу?»

«Нет... отчего-же... А что у вас за книга, можно посмотреть?»

«Пожалуйста».

«Лассаль!.. Вы читаете Лассаля?»

«Это вас удивляет?.. Я читаю Лассаля там внизу, в моленной, у святых, и это я считаю молитвой. Я смотрю в полумраке на лики святых на иконах — старых, старых святых — им некоторым по триста-четыреста лет... Они улыбаются, когда я им читаю Лассаля... Вы думаете, что я сумасшедшая?»

«Нет, что вы...»

«Да, вы это можете думать. Может быть, я и действительно не совсем нормальная... Это хорошо,

когда человек не совсем нормальный. Нормальное пошло. Святым гораздо приятнее, когда им читают Лассаля, чем Часовник или Четьи-Минеи. Те книги они давно знают, и там много неправды. Они сами читали бы Лассаля, если-бы он был тогда, когда они жили... Почему перед иконами нужно непременно читать старые церковно-славянские книги: почему им нельзя читать Лассаля? Ведь это тоже святое. Но, об этом не стоит говорить, вы все-равно со мной не согласитесь».

«Почему вы думаете, что я не соглашусь?»

«Потому что это нелепо с вашей точки зрения... и потому, что вы всетаки думаете, что я — сумасшедшая. Вам наверно уже кто-нибудь говорил обо мне?»

«Да, мне говорили. Но я, главным образом, к вам сюда и ехал ради того, чтобы познакомиться именно с вами... Вы знаете, зачем мы к вам приехали?»

«Знаю... Вы ищете невесту вашему кузену».

«Как вы на это смотрите?»

«Никак... Вернее, смешно... Впрочем, это не мое дело. Надеюсь, не ко мне он намерен свататься».

«А как ваши сестры к этому относятся?»

«Которая? Впрочем, не знаю... это не мое дело».

Анфиса ввела Арсения в амбар.

«Мне этот старый амбар под зверинец отдали».

* * *

Арсений любил детективные романы, особенно Шерлока Холмса. Пробовал применять в жизни теорию этого героя Конан-Дойля. Попадая в новое место, он никогда не забывал внимательно изучать детали, осматриваться кругом. Ему казалось, что эти романы принесли уже пользу — пройдя один раз по улице или побывавши в доме, он никогда не забывал дороги: замечал, что против дома вывеска с белыми буквами, или, что рядом цветочный магазин, или что на двери большая красная царапина. Иногда эта наблюдательность действительно помогала...

В амбар вели три ступеньки. «Зачем такой высокий фундамент?» — подумал Арсений. «Что вывел бы из этого Шерлок Холмс, если бы он действительно существовал... А разве он не существует?! Понятно, существует — он рожден Конан Дойлем и стал безсмертен... В этом отношении доля писателя завидна — он может рождать безсмертных...»

Снаружи он заметил, что на оштукатуренном фундаменте выделяются три более позеленевших пятна, точно бывшие когда то окна. Очевидно внизу был раньше подвал, окна заложили и по свежей кладке оштукатурили — и потому эти более сырые места. покрылись сильнее мохом и плесенью... Так решил про себя и был доволен своей наблюдательностью. «Да... но зачем это? Люди больших мыслей обыкновенно рассеяны, они так заняты своей идеей, что не замечают окружающего, им некогда обращать внимание на мелочи... Может быть, большая наблюдательность в мелочах есть признак отрицательный, — значит мозг слишком свободен?.. Нет, кто-то остроумно сказал, что меньше всего места в пустой голове...»

* * *

Пол в амбаре был покрыт асфальтом, но около одной из клеток в полу остался незалитым деревянный брус, — видимо, тут была когда-то лестница вниз...

Арсений улыбнулся своим выводам. Они были правильны: под амбаром был раньше подвал, и отсюда шла внутренняя лестница.

Два медведя тоже пришли внутрь, в свою клетку, и большой, ласково рыча, протягивал лапу.

«Вавила Абрамыч, позвольте познакомить...» — шутя сказала Анфиса. — «Он знает, что его зовут Вавила Абрамыч... Если издали крикнуть — отзывается... Вавила Абрамыч, отстань, ты уже свою порцию получил».

Казалось, медведь, действительно, понимает, что ему говорит Анфиса.

Эта обстановка, эта девушка, это вставанье в четыре часа утра, — все казалось странным. «Вавила Абрамыч...» вдруг мелькнуло у Арсения — «где я слышал уже это имя?.. и именно так же звали медведя...» И он вспомнил — как-то вдвоем с Оконинным они гуляли в Зоологическом саду; Оконин подошел к клетке медведя и сказал ему: «Здравствуй, Вавила Абрамыч...» Сразу протянулась целая цепь мыслей. Арсений с удивлением посмотрел на Анфису и спросил:

«Вы знакомы с Оконинным?»

Анфиса не выразила удивления или постаралась скрыть его; но всетаки от Арсения не ускользнуло, что вопрос смутил ее.

«С Оконинным?!.. Каким Оконинным?.. Нет, не знакома... Почему это вас вдруг заинтересовало?»

«Да нет, так...»

«А всетаки — почему вы спросили?»

«Мне вспомнилось, что он тоже как-то звал медведя «Вавила Абрамыч»... Такое странное для медведя имя... Я и подумал, что он от вас его слышал или бывал тут и знает вашего Вавилу Абрамыча».

«Нет... он тут не бывал... Изивините, мне пора уже в моленную», — и Анфиса быстро ушла, замкнувши амбар и калитку в заборе.

* * *

Пробыли в Воскобойникове еще целый день. Полдня ели: ели ранний завтрак, потом просто завтрак; закусывали опять во время чаю, в четыре часа обедали, закусывали с вечерним чаем. Ездили на тройках на берег Оки и там тоже ели. Свои рыбаки ловили неводом рыбу и тут же на берегу варили уху, а из дому была привезена целая гора готовой еды.

«Если я проживу у вас еще один день, придется все костюмы перешивать», — шутил Арсений. — «Все так вкусно, что нет сил отказываться».

Старухе нравилось, что так говорят. Гришка повторял за ним, как попугай.

Здесь был спорт хлебосольства. Сами любили поесть. Столько времени уходило на еду, что некогда было скучать от безмыслия.

Анфиса была тут же, но ехала не в линейке, а верхом на своей кабардинке. Все время уносилась вперед и потом сидела где-нибудь, поджидая пока подъедут, раскрасневшаяся, возбужденная быстрой ездой, гораздо более интересная, чем ее сестры.

Гришку посадили в экипаж со старшей дочерью Евдокией. Это удивило и его, и Арсения. Почему посадили не с Анной, а со старшей, с вдовой?.. Вдова была еще дороднее, женщина в самом соку, но Гришке и в голову не приходило, что его могут прочить ей в женихи. На вдове он не собирался жениться. Он уже определенно решил, что ему подходит Анна. Единственное объяснение было, что вышло, может быть, случайно.

«Придется еще раз приехать для предложения. Сразу неудобно, пожалуй... как ты думаешь?» — говорил Гришка. — «Да и вообще, брат, поговори сам ты с ней раньше...»

«Почему я?! Ведь ты же жених, а не я».

Долго обсуждали и решили, что во всяком случае в этот приезд ни прямо, ни косвенно делать предложения нельзя. Нужно еще раз приехать, и тогда Арсений поговорит со старухой о размере приданого, а потом уже можно говорить с самой невестой.

«Пока-что в других местах посмотрим», — решил Гришка. — «От добра добра не ищут, оно верно, но всетаки, может быть, где еще лучше есть... чтобы потом не жалеть».

Арсению хотелось остаться на следующий день до полуденного поезда, но вышла неловкость. Вечером за ужином Гришка спросил, какие поезда есть в Москву, и Анна Олимпиевна ответила, что они всегда ездят скорым, он самый удобный. И вышло, что надо ехать со скорым, утренним.

Езды до станции было по крайней мере час с четвертью — надо было выезжать в шесть.

* * *

Арсений встал в четыре, быстро оделся и пошел к зверинцу, чтобы опять встретиться с Анфисой. Ее там не было. Он подождал немного и пошел наугад к фабрике. Все еще спало. Он побродил с полчаса и решил возвращаться. В это время у одного из фабричных корпусов увидел Анфису: она стояла с каким-то мужчиной, в руках у нее опять была книга.

Она заметила его и пошла навстречу.

«Вы уезжаете сейчас?.. Жаль, приезжайте еще... Мне кажется, что с вами можно поговорить», — сказала Анфиса.

«С удовольствием, понятно... Я думал, вчера удастся, но вы неуловимы».

«Я уловима, но я приглядывалась к вам».

«Что же вы хотели найти во мне?»

«Мыслящего человека — их так мало... Вы тоже ведь раскольник?»

«Да, раскольник», — ответил Арсений, и его удивило, что она говорит «раскольник», а не «старообрядец», точно хвастается этим словом.

«Почему вы это спросили и поставили рядом с мыслящим человеком — что общего?..»

«Общее есть. Мы, раскольники, столетиями жили вне рационального мышления, и если кто из нас начинает мыслить, то это выходит хорошо. Мы мыслим фанатично и безстрашно, как фанатично и безстрашно верили несколько веков... Когда долго сидишь в темноте и потом выходишь на свет, все кажется особенно ярким. Во всей красоте замечаешь то, чего не заметит привычный глаз... Вы едете со скорым?.. Идите, там уже ждут с завтраком, а то опоздаете... До свиданья!.. Мне в другую сторону», — она протянула руку в перчатке.

XII.

В СКИТУ.

Уже недели две жили в Москве.

Ничего дельного не выходило. Познакомились еще с двумя невестами, но зря. Одна была недурненькая, но всего приданого, по словам Гришки — «старая бабушкина шубейка». Другая была «мурло» и только с пятидесятью тысячами.

«Неужто во всей Москве богатых нету?» — пенял Гришка Шитикову.

Гришка, между тем, бывал у светлейшей и все больше удивлялся.

«С великими князьями на ты... Чорт ону знает!.. Виды баба видавшая, одно можно сказать... Учила меня галстух завязывать. Говорит, готовый только приказчики носят... Видишь, вот сам завязывал! Из ботинок заставила блестящие пряжки снять и черные поставить. (Гришка никак не мог постичь премудрости, где надо «из» и где «с»). Заезжала со мной в магазин на ейной рыжей паре. Даже неловко с ей ездить, очень уж внимание обращающая баба. И денег не берет, понимаешь!.. Предлагал сколько раз — сердится...»

Гришка приписывал это своим особым физическим качествам.

Арсений возобновил старые студенческие знакомства. Бывал на даче под Москвой. Встретил товарищей по университету. Но больше проводил время с Манечкой. Эта деньги брала, брала бы и больше, если бы давал.

«Денежки, милые денежки», — напевала она, рассматривая бумажки.

«Тридцать пять рублей за встречу, в среднем», — подсчитывал Арсений.

А Сидору Гришка писал:

«Дело, с божьей помощью, налаживается, тебе известное...»

Пора уже было опять поехать к Воскобойниковым. Уже собирались звонить в Воскобойниково, как явился Шитиков, со «срочным делом большой важности». Он привез письмо от своего «брательника» из Нижнего, старшего наставника Бугреевской моленной.

«Изволите знать Бугреева?»

«Это миллионер?.. На Волге?..»

«Да, уж чего сказать — мильонер... Богатей на всю матушку-Рассею будет. Мильонерам мильонер. Двое их таких на Волге и есть: Бугреев да Детюхин. Бугреев, как изволите знать, бездетный. Были у него два сына, оба померли. Сам уж старик глубокий, и неизвестно кому агромадные свои мильоны оставит... Но тут, позвольте сказать, другая комбинация», — употребил ученое слово Шитиков: — «Детюхина фамилию тоже слыхали?.. Трудно сказать, кто из них покрупней еще будет. Бугреев аль Детюхин. Он в Балакове резиденцию имеет. Больше трехсот тысяч десятин у него по Волге. Левый берег верст на полтораста, все его... Есть еще в Самаре богатеи — Ждановы да Тихобаевы, знаменитые богатеи, но их вместе сложить, одного Детюхина не получится... Так вот у этого Детюхина, Феоктиста Пимановича, есть единственная дочь и наследница, двадцати лет. За ней сейчас наличными — мильон, а дальше — сами понимаете, какие это люди... И не сосчитаешь...»

* * *

Шитиков остановился и несколько секунд смотрел на Гришку, чтобы тот проникся размерами возможностей.

Гришка разгладил усы и облизал губы от таких цифр.

«А вы, значит, знакомы с Детюхиным, Данила Минаевич?»

«Я лично чести не имею, а вот мой брательник, который пишет, имеет честь в близости состоять. Но позвольте вам сказать, так прямо знакомство устраи-

вать трудно с такими высокими людьми. Я такой план себе составил, оно очень счастливо складывается и удачно. Детюхин сейчас находится в Нижнем и в конце недели выезжает к себе в Балаково. Это точно известно. Ежели бы вы выехали туда сейчас, то там у брательника можно как бы случайно познакомиться и потом, тоже как бы случайно, вместе на пароходе оказаться. А дорогой, за икоркой да за водочкой, можно было бы поближе сойтись и взаимно заинтересоваться...»

Гришка посмотрел на Арсения, подумал, и нашел, что это действительно подходит. Фамилию Детюхина он знал давно. Решили сегодня же вечером ехать в Нижний.

Шитиков уехал, получивши еще сто рублей на моленную, а Арсений пошел заказывать билеты.

«Ты уж мне отдельное купэ возьми» — попросил Гришка. — «Я себе кое-что приготовил... я ее с собой возьму».

Арсений больше не удивлялся.

«Кто такая?»

«Да так... что в Пассаже познакомились. Она мне письмо прислала. Я ее с собой только до Нижнего возьму, а там айда назад».

«А если не поедет?»

«Как не поедет? ведь я ей заплачу».

Поезд отходил в восемь. Гришка лег отдохнуть, а Арсений послал к Манечке посыльного, чтобы ехать обедать в «Мавританию».

* *
*

Манечка чувствовала себя как дома в беседке «Мавритании». Она уселась на камин, болтала ножками и сама любовалась ими. Ей нравилось, что они в красных шелковых чулках; шляпа черная с красным и сумочка с красной застежкой. Ей давно хотелось такой костюм.

Манечка была совсем новой. Арсений никогда ее такой не представлял.

Пили шампанское, опять ели скоболевские битки. Манечка брала рукой большие сочные листья салата ромэн и ловила ртом капли прованского масла с эстрагоном, чтобы не капнуло на костюм. Это тоже нравилось Арсению.

«Как Макс, Манечка? Догадывается?» — спросил он.

«Ничего ровно... Он, милый мой Максик, наивненький...»

Манечка игриво смеялась и показывала руками, как она его ласкает: он утыкается ей головой в колени и плачет от счастья...

Манечка хотела провожать на вокзал, но он сказал, что лучше не нужно.

«Еще кто-нибудь увидит».

Манечка быстро согласилась. Взяла пятьдесять рублей.

Арсению было неприятно, что она так быстро согласилась.

Светлейшей Гришка послал телеграмму, что уезжает неожиданно, вызвал срочно брат. Гришка чужим писем не писала, как и Сидор — только телеграммы.

«В телеграмме ежели неграмотно, подумают, что телеграфист неграмотный».

«Как же ты так?!.. Она так мила с тобой, а ты удираешь тайком», — пошутил Арсений.

«Приедем назад, тогда объясню: нельзя с ей ехать, шуму наделаешь на всю Волгу».

Гришка нередко применял этот способ — исчезать неожиданно по срочным делам.

* *
*

Запершись в купэ с ворохом газет, Арсений пробовал читать, но не мог: мысли не давали. Уже два года он у Аристарховых и ничего определенного. Ни-

сколько не ближе к миллионам. «Распродаю душу по кусочкам, и никакого результата... Занимаемся подлостью...»

Арсений понимал, что роскошная и бездельная жизнь его засасывает. Начинало казаться и ему, что действительно количество наслаждений, переживаемых человеком, пропорционально количеству женщин: влияла гришкина философия. «Только не гришкиных женщин...»

В студенческие годы Эрос занимал пол-жизни, теперь ему отдавалось три четверти. — « А может быть это и нормально?.. У кого это я прочел «вся жизнь — одно половое стремление». Да, да... Жизнь мира — это массовый грандиозный половой акт и нужно итти за стихией, все остальное не важно... Люди только притворяются и делают вид, что их интересует другое, а в корне то же самое... Сексуальность правит миром...»

Рядом в купэ спутница возбужденно хохотала...

* * *

На вокзале в Нижнем Гришка без церемоний отсчитал своей даме стоимость обратного билета первого класса и двадцать рублей.

«Можешь во втором ехать, больше останется», — прибавил он ласково.

«Брательник» Шитикова жил на краю города, у самой моленной. Он ждал их.

«Феоктист Пиманович — человек весьма занятой» — сказал он. — «Они здесь хлеб свой продают и тоже насчет лесных операций. Два года хранили, а теперь продают... Умнейший человек... Цена двойная супротив третьего года... Не знаю, как Бог поможет ваше знакомство устроить. Советовал бы вам на всякий случай на пристань поехать и на пятницу, субботу и воскресенье билеты себе оставить. Они непременно на «Кавказе и Меркурие» поедут, потому что Феоктист Пиманович крупные пайщики на этом па-

роходстве. На каком пароходе именно — тоже кассир знать будет. Вы ему трешку дайте, он вам все уладит и каюту рядом устроит...»

Так и сделали.

Пока, в свободные дни, наставник предложил осмотреть Бугреевский скит.

«Много богатейших скитов разорили, как вам известно. И этот бы закрыли, да только сила Бугреева... Прежнего хотя нет... Всего семнадцать в скиту живет — десять старушек, да семь старцев, древние старцы уже».

«Очень интересно, очень желательно», — говорил Гришка, — «поехать и благословление получить от святых старцев».

Он как и Сидор верил в силу этого «благословления» и полагал, что оно поможет насчет больших миллионов. Бог и деньги жили вместе в его мозгу, и Исус Христос заведывал раздачей миллионов, равно как и божия матерь и святые великомученики и прочие отцы церкви...

* * *

Для скита надо было изменить внешность: Арсений заменил золотое пенснэ очками в черной оправе, волосы зачесал назад, жирно намазавши репейным маслом. Гришка пониже опустил усы, вместо бобрика начесал волосы на лоб. Галстуки надели черные и мягкие воротнички; сапоги — вместо модных ботинок.

Скит был в предместьи Нижнего. Ряд деревянных домов, обнесенных высоким досчатым забором, с глухими воротами. Собаки на цепи стали злобно бросаться, когда постучали в ворота. Звонка не было; долго колотили железной скобой. Наконец, вышла старушка, приоткрыла калитку, посмотрела на них, не отстегивая цепочки.

«Кто такие будете?»

«Аристарховы... приезжие из Москвы... Вчера письмо сюда было».

Старушка опять замкнула и пошла спрашивать.

Наконец, впустили. Прошли мимо огорода, потом через сад с ульями. В глубине было двухэтажное здание, рубленое из толстых бревен, с крытым подъездом.

На скамейке сидел старичек с реденькой седой бородкой, никогда не стриженой. Он встал и низко, почти в пояс поклонился; посмотрел подозрительно, точно затравленный.

«Из Москвы будете?»

«Из Москвы... Аристарховы. Письмо тут было от бугреевского наставника».

«Было письмо, было...» — подтвердил старичек. — «Пожалуйте в горницу».

Из-под густых, нависших бровей он, как зверек, осматривал приехавших.

* * *

Вошли в большую горницу. По стенам стояли скамьи. В одном из углов — стол, покрытый суровой скатертью. В углу около печки сидела древняя, сухая старушка в черном; лицо едва было видно из под платка. Она тоже встала и, молча, низко поклонилась.

Арсений и Гришка стали молиться на иконы, крестясь широким староверским крестом.

«А где же у вас остальные старцы помещаются?» — спросил Арсений.

«По разным горницам наверху... Померли... мало осталось...» — с опаской отвечал старичек.

Один из углов занимала большая русская печь, и только теперь разглядели, что на печи лежали еще две старушки и пытливо осматривали незнакомцев.

Весь передний угол заполняла большая лежанка. Рядом висели две лубочные картинки — Страшный Суд и другая, изображавшая землю в виде блина, с левой стороны восходило солнце, а с правой — солнце садилось; третье солнце было под низом, а наверху

сидел большой петух.. Это должно было означать солнечную систему и ее хозяина — петуха. Остальные стены были пустые, закоптелые, засиженные мухами и прусаками. Только подальше, у окна, был приклеен еще ярлычек с пивной бутылки Жигулевского завода.

«Это чтоже, моленная ваша?» — опять спросил Арсений, чтобы нарушить неловкое молчание.

«Нет. Моленной нетути у нас... нет моленной... Царская власть моленные позапечатала... Последние времена... последние времена... Довлеет дневи злоба его...» Старичок стал бормотать еще какие-то тексты.

«Это Бугреевский, ведь, скит?»

«Милостивца нашего, Никодима Прокофьевича... его милостью великою живы» — сказал старичек и перекрестился. — «Умирать скоро... Перед судиею всевышним предстать... Его милостью живы... Царская власть все позапечатала... Книги святые побрали. Довлеет дневи злоба его...»

* * *

Старушка на печи всхлипывала, другая утирала глаза сморщенным кулачком. Сидевшая у печи подпёрла голову двумя руками, смотрела в землю и тоже плакала, шморкая носом...

«Великий грех... спаси, господи Исусе, рабу свою окаянную...» — пробормотала она.

«А кто же у вас тут настоятель?»

«Все рабы Божии равные... нет настоятеля... Я хозяйствую по воле милостивца нашего...» — и старичек опять забормотал непонятное.

Арсений старался запомнить, что он бормочет. Бессмысленное, не к месту, ничего общего, казалось, не имеющее с их разговором. Но во всем была общая черта: ни одной радостной фразы, хотя бы с надеждой, а все только печаль и страх, ожидание строгого, безжалостного наказания, беспощадной адовой кары.

«...Подати двойные брали... моленные печатью антихристовой припечатали... злобою преисполнишися... довлеет дневи злоба его...»

Всю жизнь под страхом — и земным, и небесным: Бог карающий и бесжалостный на небе; исправник, урядник, жандармы и другие царские слуги — на земле; а там еще, в неведомом антихристовом Петербурге сам царь-антихрист, от которого идут все приказы о притеснении и умерщвлении праведной веры Христовой...

* * *

«Милостивец наш, заступник, спаси господи Исусе Христе и присвятая богородице Никодима Прокофьевича... Пристанище благих разориша... Подати двойные... остатнюю коровушку забрали, колокола сняли, двери семью печатями припечатали... Антихрист и семь печатей его», — сваливал все в одну кучу старичек, вспоминая, видимо, свое детство, юность, постоянные преследования. И вдруг лицо его сморщилось еще больше, стало еще меньше, жиденькая лохматая бороденка затряслась, и он заплакал так же, как и старушка, совсем по детски...

Было жалко этих людей с детскими душами и мозгами. Арсению вдруг стал яснее смысл сектантства. «И у меня в душе тоже живет еще кусочек этого протеста и тоски, глубоких и неизгладимых», — подумал он. Он вспомнил, как ночью иногда ему хотелось плакать и кому-то жаловаться; на что-то, как вот этот старичек жаловался.

Ни одной богослужебной книги в комнате не было.

«Спрятаны... боятся... книги ведь отбирают... Какой абсурд!» — подумал он, и вспыхнула злоба против кого-то. Взял бы и уничтожил, задушил бы собственными руками всех этих, которые отбирают и приказывают отбирать; «По какому праву? кто они такие?.. власти придержащие? — к чорту их...»

* * *

Гришка дал на скит двадцать рублей, и старушка у печки, еще поплакавши, вспомнила:

«Не знаем, кормильцы, чем потчевать вас... Настòю малинового с медком, свой у нас медок, спаси господи кормильца нашего, липовый...

Она вышла из горницы.

Появился самовар и постный пирог с морковкой. Чашек принесли только две, и старушки со старичком за стол не сели. Опять встали и помолились на божницу. И старичку это, видимо, понравилось, и двадцать рублей оказали свое действие: он стал смотреть доверчивей. Рассказал, что зимой опять был обыск, но из книг и икон ничего не взяли, потому что милостивец Никодим Прокофьевич большие деньги заплатил исправнику и жандармскому. Еще какой-то приезжал миссионер и читал им долго, но они уши тряпочками забили, чтобы не слышать слов антихристовых...

Детюхина старичек хорошо знал, и Гришку это особенно заинтересовало.

«Богатей знаменитый, спаси его господи...» — говорил старичек, — «пол-Волги в его собственности состоит... Верхи у милостивца нашего Никодима Прокофьевича, а низы у Феоктиста Пимановича... Два и есть на всю Рассею-матушку... Они пополам царский дворец в Питербурхе купили, да царь потребовал, чтобы назад отдали, или все иконы заберут и сожгут... Довлеет дневи злоба его... Как отдали дворец, царь позвал милостивца нашего Никодима Прокофьевича чай пить с сахаром. А милостивец Никодим Прокофьевич сидит не пьет, только перекрестился и на царя смотрит. «Не могу, говорит, царь-государь, твоего чаю пить, хошь казнить вели...» «А почему это?» — вопрошает царь. — «Говори или голова долой...» «Потому царь-государь, что сахар твой с кровью человеческой... Вели, говорит, огня подать...» Подали огня, а он пожег сахар на огне, и стала красная капать кровь. Испужался царь, почему раньше на знал, и велел казнить управляющего... Велики силы адовы,

довляет дневи злоба его, нет ему прощения на суде живых и мертвых...»

Старушка на печи вдруг заголосила, захохотала, стала биться в припадке.

Стало жутко. Такое чувство Арсений переживал как-то в сумасшедшем доме, куда его сводил знакомый врач.

Поскорее уехали.

Арсений был разочарован. Он ожидал, что увидит настоящий, колоритный, хотя и умирающий быт раскольничьих скитов: но это, видимо, умерло уже раньше. Тут были только юродивые и кликуши, никому ненужные, вычеркнутые уже из жизни, попавшие в жизнь не в то столетие.

XIII.

НА ВОЛГЕ.

Все устроилось.

Попали на пароход вместе с Детюхиным. Провожал наставник и успел на пристани познакомить их.

Детюхин чувствовал себя, как дома, ему кланялись. Пассажиры расступались перед миллионами. Он оправдывал свою фамилию: большой, крепко сложенный, с густой черной бородой. На толстой золотой цепи звенели брелоки — жетоны железных дорог на пожизненный бесплатный проезд.

Детюхин был большим акционером Казанской дороги: на его средства производились сейчас изыскания новой ветки с мостом через Волгу. На чужие миллионы он смотрел скептически:

«Маленькие мильоны, надо полагать...»

Гришку обидело, что он не слыхал даже фамилии Аристарховых. Пришлось о себе и своих миллионах рассказывать, что Гришка выполнил в первый-же удобный момент по выработанной и неоднократно повторенной уме программе. Детюхин слушал, но мало скрывал, что это его отнюдь не трогает. Гришка, не смущаясь, продолжал свое.

«У кого миллионы настоящие, те о них не рассказывают, сами видны», казалось, хотел сказать Детюхин.

Но после того, как Гришка принес папку и больше часу назойливо вдалбивал, что миллионы настоящие, Детюхин действительно несколько проникся.

«Он от тебя убегающий, а ты его за хвост», — вспомнил снова Арсений сидорово наставление.

* * *

С Детюхиным ехал его приятель, Лаптев; лесоторговец, тоже старовер. Лаптев был еще дороднее Детюхина, и цепочка еще толще. Он звал себя Лаптёв, а не Лаптев.

Несколько раз обгоняли караваны запоздавших плотов. Лаптёв стоял на палубе, сложивши на животе руки, и рассматривал плоты. Когда они равнялись с пароходом, он приставлял руки ко рту рупором и кричал на пол-Волги, неожиданным детским дискантом:

«Чьи плоты — те?..»

«Лап-тёв-ски-е...» — отвечали оттуда.

Лаптёв обводил глазами пассажиров, поглаживал живот обеими руками и говорил:

«Мои — те... плоты — те...»

Через полчаса повторялась та же история. Лаптёв кричал, заранее зная, что плоты его, и опять торжествующе гладил себя по животу.

Детюхин похлопал Лаптёва по плечу и попробовал его усовещивать.

«Чего кричать-то?.. знаешь и так, что твои».

«Почтительно как-то», — ответил Лаптёв и продолжал свое, пока прошли все караваны.

Гришка иронизировал, глядя на Лаптёва, но быстро свел с ним дружбу и даже выпили вместе рябиновки, отчего стал еще ласковее всем улыбаться. И ироническое выражение пропало.

* * *

На пароходе оказались две девицы, ищущие приключений временного характера. Одну из них, высокую, полную, сразу выделил Гришка, но ограничился только разговором, боясь, что может заметить Детюхин.

Вечером в первом классе студент играл на пианино, и девицы танцовали; кавалеров позвали из второго класса. Присоединились две дочери тамбовской помещицы — худенькие, анемичные барышни, скромные до противности.

«Все-одно, что голая доска... занозиться можно», — говорил про них Гришка.

Оказалась еще писательница, молодящаяся, с сиплым голосом и необъятным бюстом. Она первая познакомилась со всеми, бегала от одного к другому, из первого класса во второй, и без умолку говорила.

«Надо объединиться, господа... Человек животное стадное... человек силен в коллективе. Не надо быть буками, господа... молчание — знак смерти, человеку свойственно говорить...»

Она тащила дочек помещицы и со всеми знакомила. Те делали книксены, краснели и танцовали точно обложенные сырыми яйцами.

«Надо, господа, стирать классовые грани, ломать перегородки... Общение, господа...»

«Какая милая дама», — восхищалась помещица. — «Видишь, Симочка... видишь Танечка, как надо себя держать, не надо дичиться».

Полная девица сразу не взлюбила писательницу:

«Чего она разоряется?.. Сами познакомимся, с кем надо».

Писательница приглашала кавалеров танцовать. Хотя ей было не легко: каждую минуту наново пудрилась, но все равно нос блестел и были видны веснушки, а одна бровь размазалась.

«Вот бы тебе, Гришка, объединиться», — указал Арсений.

«Ну ее к нечистику... как банный лист потом прилипнет».

Но всетаки Гришка перед бюстом не устоял и после танцев зашел к ней в каюту.

* * *

Мамаша мило беседовала с девицами. Она ехала по Волге в первый раз и всем восхищалась. Даже тем, что крючники носят на спине семипудовые мешки и мостки ломаются, а кости целы...

Выгружали мешки с известью. Крючники стали совсем белыми, глаза засыпало. Капитан кричал сверху и торопил.

Крючники поехали дальше. Они улеглись на нижней палубе, по прежнему белые, подложивши под голову мешки. Некоторые жевали тоже белый от известки хлеб, запивая водой. У одного оказалась селедка. Он ее разорвал и роздал по кусочку.

Пол был залит нефтью, мокрый от таявшего льда из ледника, вонючий от кухонных отбросов и селедки, заплеванный. Пахло порченой рыбой и кислым потом.

Рядом в ящике плавали стерлядки; повар вылавливал их на ужин в первый класс.

Детюхин и Лаптёв сидели в углу на диване. Гришка сейчас же к ним присоединился. Детюхин заказывал:

«Рябиновочки с икоркой дашь нам, свежей и паюсной... А на горячее сделай ты мне отварных стерлядок, две штучки порционных, а то еще лучше одну,

пожирнее которая... Вели ты ему отварить, как на уху, но чтоб ухи самой было со стакан, не больше. Понимаешь?.. Можно сказать, отварную с рассольчиком, в своем соку...»

«Раки отборные, не прикажете-ли, Феоктист Пиманович?»

«Хорошо и раков под рябиновку, только укропцу побольше... А в икру свежую — лучку зеленого, а на паюсную — лимончик, знаешь, как полагается... Да ты живо все это, а то спать пора... Балычек осетровый дай, аль белорыбий лучше?.. Ну, белорыбий, так белорыбий, ладно. Тешки тоже, если хорошая...»

* * *

На утро Гришка опять пристал к Детюхину.

Завтракали вместе.

С Лаптёвым ему было разговаривать легче; с Детюхиным говорил больше Арсений.

«Постоянно в Балакове живете?»

«С полгода. Остальное время в разъездах. В Петербурге частенько бывать приходится...»

«А семья постоянно в Балакове?»

«У меня вся семья — одна дочка. Летом живет в Балакове, а вот в этом году заграницу уехала... Зимой на курсах в Петербурге, на филологических...»

Гришка даже на стуле заерзал, услышавши о филологических. После завтрака он заявил, что голова совсем не работает, и с горя пригласил к себе в каюту полную девицу.

Было ясно, что таких настоящих миллионов как у Детюхина, редко сыщешь. И такой случай — единственная дочь, и староверка, и видимо дородная, судя по отцу... И такая неудача!

Арсений еще подвинчивал:

«Здесь стоит поработать — это получше миллионного подряда... Сидор во всю жизнь того не наколотит, что ты можешь тут шутя, одним махом... Не те много зарабатывают, кто много работает...»

«Так что ж делать, если она заграницей?»

«Нам дорога тоже не заказана — поехать и познакомиться».

Это засело у Гришки. Он решил тотчас же написать Сидору, еще прикрасивши факты.

Из дальнейших разговоров выяснилось, что у Груши, дочери Детюхина, слабая грудь, врачи опасались туберкулеза и послали ее в Ментону. Теперь ей лучше, но она, вероятно, со своей компаньонкой останется там и на зиму.

«Как сумел человек такие громадные миллионы составить?» — расспрашивал Гришка Лаптёва.

«Так вот, сумел... башковатый малец», — пояснял Лаптёв. — «Евоный дед бурлаком ходил, как вот эти», — указал он на крючников — «баржи с хлебом грузил да плоты гонял... Деньгу где-то зашиб... уж как там случилось, одному Богу известно... У киргизов земли немного купил, с этого и пошло... А батюшка уже по настоящему приумножать стал. У киргизов все прикупал да прикупал... Потом хлебом занялся, но главное оно все-таки землица-матушка: от киргизов по гривеннику десятину брал, а теперь, эвона, триста рублей...»

«Теперь так миллион не сделаешь» — думал Арсений, слушая рассказ. — «Надо как-то иначе, скорей... Земля теперь по гривеннику не продается... Откуда он взял первые деньги?.. — зарезал кого-нибудь по дороге? Бурлакам больше тридцати рублей в лето не платили... Потом обмошенничали киргизов... Будто чужие деньги впрок не идут: идут, и еще как, оказывается. Деньги все чужие...»

* * *

Прощаясь в Балакове с Детюхиным, Гришка рассыпался:

«Очень приятно, очень приятно было познакомиться; единоверцы, так сказать... Милости просим к нам, если в тех краях будете... Большую честь ока-

жете... Наши наставники, так сказать, брательники. Мы вот с Арсением Павловичем собираемся за границу в скором времени, так позвольте там поклон от вас дочери вашей, уважаемой Аграфене Феоктистовне, передать, если приведется встретиться...»

И Гришка сумел добыть от Детюхина его визитную карточку с адресом санатории, где дочь жила. Детюхин нехотя, но дал все-таки.

«Вот тебе и рекомендательное письмо для контакта», — был доволен Гришка, вынимая десятый раз из бумажника карточку Детюхина.

«Беря все за и против и учитывая факты, все-таки, брат, возможно, что клюнет», — Гришка поглаживал пышные усы и смотрел в зеркало на зубы — можно-ли заметить, что вставные?

В простых словах Гришка путался, а мудреное сразу садилось в голову, как и у Сидора. Он часто говорил «быть в контакте», «платформа правительства», «приходится констатировать», но на последнем все срывался на «константировать».

«Это совсем не от Константина», — сколько раз смеялся Арсений.

Особенно любил Гришка фразу: «беря все за и против и учитывая факты, как они есть». Это он совал всюду, потому что «и длинно, и грамотно, и учёно, и везде подходит... и не с закрытым ртом сидишь».

* * *

В ответ на письмо Гришки, Сидор из Петербурга телеграфировал:

> «Наводящим справкам имущество выдающее затрата стоющая если божьей помощью не зря по свету прыгающее обсудивши предварительно всесторонне чтобы не фигу получающее конфузное крепко обнимаю целую Сидор».

«Фига» и «конфузное» произвели на Гришку большое впечатление. Тем не менее аппетит к миллионам Детюхина все усиливался.

«Надо ехать... Нельзя упустить...» — решил он.

«Поехать — поедем, но может быть лучше не так быстро... Подождем, посмотрим еще, да ты и подучиться за это время можешь».

Арсению не хотелось ехать на Ривьеру теперь. Лучшео зимой, в сезон. Гришка согласился:

«Подучиться надоть — это верно».

«Надо», а не «надоть».

«Купи мне, брат, завтра-же всякие книжки научные и будем каждый день заниматься два часика... Проходи со мной курс... Трудная машинка, а без нее неудобно».

XIV.

АФРОНТ.

Вернувшись с Волги, в Москве первым делом позвонили Воскобойниковым: хотели назавтра же к ним ехать.

Чем больше Гришка думал о Детюхиной, тем больше его смущала ее образованность, «филологические». Повлиять на нее миллионами тоже трудно: у нее своих больше. «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь». Гришка любил пословицы... «К тому, же худая и болезненная, говорят — это, брат, тоже значение большое имеет... А тут у Воскобойниковых дело вернее и баба тоже: — есть что в кровать положить... Теперь можно и предложение сделать», — рассуждал он. По его мнению, срок уже

истёк достаточный, и справки собраны о нем хорошие. Он был уверен, что хорошие. Ведь миллионы настоящие, а не какие нибудь там дутые.

«Только ты, брат, выпытай у маменьки насчет приданого предварительно, чтоб в калошу не сесть...»

Но вышло совсем неожиданно.

* * *

К телефону подошла сама Васса Прокофьевна:

«Здравствуйте, здравствуйте... Как поживаете?.. Как ездилось?..» — спокойно и деловито говорила она. — «Рада буду повидаться... Я послезавтра в Москве, заезжайте, часиков в пять... Вы адрес наш московский знаете?»

Гришку ошпарило. Он отошел от телефона огорошенный, разводя руками, и уставился на Арсения.

«Вот-те фунт!.. В Воскобойниково-то не зовут... чорт ону знает, брат», — растерянно говорил он, забывши опять, что «чорт ону знает» записано первым номером в «хрестоматии».

Строили всякие предположения. Остановились на том, что просто сейчас позвать почему-то не могут и старуха пригласит в Воскобойниково при личном свидании, после-завтра.

К вечеру позвонила светлейшая. Ей дал знать швейцар гостиницы, что Аристарховы приехали: за это было заплочено. Может быть, по своей инициативе Гришка и не поехал бы к ней, а вызвал бы какую-нибудь знакомую по своей адресной книжке: у него уже было много адресов и на Москву. Впрочем, адресами он редко пользовался. Чаще выходило случайно, без всяких адресов, кто подвернется под руку.

Приходилось ехать к светлейшей. Было приятное сознание, что им так интересуются, и все-таки ни кто-нибудь, а светлейшая... «Хошь и от Дарьи пошло, а все-таки светлейшая». Он начинал верить, что к Дарье Ивановне она попала, действительно, случайно, что она взбалмошная светская дама, что такие иногда

с жиру бесятся и выкидывают всякие штучки, и что им она увлеклась. И в то же время он ее побаивался.

* * *

В назначенное время поехали к Воскобойниковой. В Москве они жили редко, в последние годы приезжали на день-на два, и прислуги настоящей тут не держали, только две старушонки-приживалки.

Угощали чаем, был торт, печенье и фрукты и прочее, хотя далеко не так, как в Воскобойникове. Гришку это еще больше обезкуражило. Он понял, что перед ним особенно показываться не считают нужным. Он долго ходил вокруг да около, не решаясь подойти к цели, а старуха в Воскобойниково все не приглашала. Выпили уже по два стакана чаю, просидели уже с час, и дальше сидеть было неловко. Наконец, Арсений решил выручить из положения:

«Вы извините, Васса Прокофьевна, что я так прямо решаюсь спросить. Да Григорий Данилович сам все конфузится... Он у нас красная девица... Считаете ли вы возможным его сватовство к вашей дочери? Понятно, если с ее стороны будет согласие...»

Гришка сидел, потупя глаза, стараясь изобразить смущение.

«К которой?» — спокойно спросила Воскобойникова.

«К Анне Олимпиевне...»

«К Анне?!.. А почему же не к Евдокии?»

Гришку опять ошпарило. Он забыл о своем смущении и уставился на старуху. Ему прочили, значит, старшую, вдову, с двумя детьми?!.. В первый момент он решил обидеться и даже рассердиться. Решил, что об этом и разговору быть не может, и надо прощаться и уезжать. Но сейчас же передумал: может быть, это только торгуются, пробуют сначала сбыть товар с брачком, заваль, а не пройдет, так уступят и хороший. А затем главный вопрос: — сколько же приданого?

Этими своими настроениями он делился потом с Арсением, дома. — «Может быть, такие миллионы, что обо всем стоит подумать».

* * *

Старуха увидела, что ее предложение не нравится, и продолжала, обращаясь всетаки к Арсению, а не к Гришке:

«Вам не безинтересно выслушать, что мы строго старообрядчества держимся и принадлежим к толку, брака неприемлющему... И я не венчаная с мужем моим покойным, во грехе жила, и дочерям своим на брак благословения не дам... Против воли материнской могут, что угодно, делать, времена теперь такие, но я благословить на брак не могу... Если соблазн велик в молодости, пусть лучше во грехе живет и потом кается и у господа прощения просит, но принять брак нам не от кого, каждая девица христовой невестой должна остаться... Наши наставники совершать брака не могут, благодать духа святого на них не почиет... Как вам известно и по учению отцов, времена последние, и брака не может быть освященного. Старшая дочь без воли моей ушла из дому и в книгах записалась с покойным ее мужем, хотя тоже венчания никакого не было. Хотя она по закону государственному и была ему женой настоящей и дети узаконены... Она уже грех совершила, и что раз, что два — значения большого не имеет...»

Наступила пауза. Арсений не знал, куда направить разговор. Как ни знал он Гришку, было неясно, на что тот решится. Центр тяжести в приданом, а оно не выяснено. Обидеться ли за сделанное предложение или продолжать разговор? Но тогда это значит дать понять, что может быть Гришка и на старшую согласится.

«Вы Васса Прокофьевна, здесь до завтра пробудете?» — спросил Арсений.

«Пробуду до завтряшнего вечера, дела у меня».

«Позвольте к вам завтра еще заехать, предварительно этот вопрос обсудивши, как следует... Ведь вопрос очень серьезный».

Старуха не удивилась этому и согласилась.

* * *

Домой Гришка приехал расстроенный. Усы опустились. Долго обсуждали и решили, что Арсений завтра поедет один и все выяснит. Во-первых, стоит-ли вообще игра свеч. Сколько?.. Деньгами-ли или имуществом? Сейчас или только после смерти старухи? На чье имя будет имущество?.. Меньше всего беспокоил Гришку вопрос о венчании: раз она с ним уедет, то дома мамашенька и свои наставники все необходимое выполнят, как полагается, и «юридически по книгам оформят».

На следующий день Арсений был у Вассы Прокофьевны. Та повела разговор просто, деловито, точно речь шла о продаже мануфактуры:

«Капитал у нас достаточный и всем поровну принадлежать должен после моей смерти. Что касается старшей дочери, то я за ней решила сейчас дать двести тысяч на ее детей и ей так и объявила...»

Спокойная и уверенная, положивши правильно руки на колени, Васса Прокофьевна продолжала:

«Вчера я вам говорила, что на брак согласия дать не могу. Это могло бы произойти только без моего материнского благословения, хотя бы и с ведома. Вам, как человеку образованному и по нонешнему думающему, может быть, странным это показалось и хотя вы и из старообрядческого гнезда... Так я вот приготовила вам древнюю книгу, вероятно вам известную, чтобы мои слова подкрепить. Тут и в других еще древних книгах прямо сказано, что, если слаба плоть человеческая и влечет ко греху неудержимо, то все-таки лучше во блуде жить, чем еретическое венчание приять... «не вступить за неудержимость в неосвящен-

ное». «Лучше плотью согрешить, нежели духом», и потому я твердо и стою в своем убеждении... Как вам небезизвестно, древлехиротонисанного священства у нас нет и таинство брака совершить некому...»

Арсения это мало интересовало. И Гришку тоже. Еще дома был разговор со старухой Аристарховой и та, не желая стеснять выбора, находила компромисс — лишь бы правильное безпоповское, а приемлющих брак или не приемлющих — все равно. «Молодую домой привезешь, тут по своему обвенчаем...»

* * *

Арсений перевел разговор на семью Воскобойниковых, на лошадей и фабрику, вспомнил, какие у дочери Анны замечательные розы ее выводки, — ждал приглашенья в именье, хотел хоть это привезти Гришке. И самому очень хотелось еще побывать там из-за Анфисы.

По уклончивым ответам старухи было ясно, что о второй дочери она не хочет говорить и, если поставить вопрос прямо, получится отказ. И в Воскобойниково больше не позвала.

«За двести тысяч Гришка на вдове не женится... Да еще не ему, а детям... Оно и лучше — поедем искать дальше», — думал Арсений, едучи обратно в «Метрополь».

Гришке было не по себе. Первый раз ему пришлось задуматься над тем, что не только он будет выбирать, а и его. И что одних аристарховских миллионов, даже самых настоящих, еще мало для тех, у кого есть свои... Приходилось дальше действовать осторожнее и, может быть, сократить претензии.

Два дня Гришка провел с горя со светлейшей. Та понимала его настроение и пользовалась этим: взяла от него «на память» жемчужный кулон, вместе ездили его покупать и именно в том магазине, где она хотела. Светлейшей нужны были наличные и она по-

везла Гришку туда, где ей потом вернули деньги, взявши только десять процентов комиссии.

* * *

Через несколько дней Гришка оправился:

«Что щелчок, то щелчок, отпираться нельзя, но оно к лучшему... От судьбы, брат, не уйдешь, суженого конем не объедешь... Может быть, Детюхина мне Богом назначена, а там, брат, похлебнее», — рассуждал он. — «Всетаки осторожка лучше ворожки, мы и в другом месте еще посочим».

«Поищем», — поправил Арсений.

«Поищем», — покорно повторил Гришка — «Чорт ону возьми, каждый раз забываю... Хрестоматию повторяешь — помнишь, а как говорить станешь — и забыл... Голова плохо работает...»

XV.

НА РИВЬЕРЕ.

Арсений про себя не верил, что с Грушей Детюхиной может что-нибудь выйти, но хотелось поехать в Ниццу. Он рассказывал Гришке о лазоревом море, о карнавале, хотя и сам тоже не видал.

После конфуза у Воскобойниковых, гришкина самоуверенность полиняла, и теперь он тоже мало расчитывал на успех у Детюхиной, тем более, что она была на «филологических»...

Но дома, перед мамашенькой и Сидором был достаточно веский предлог для поездки на Ривьеру.

«Неужто такие мильоны агромадные?..» — который раз уже вздыхала мамашенька.

Через Шитикова навели справки, что Детюхина по-прежнему живет в санатории в Ментоне.

Было решено ехать.

* * *

В «Ницца-Экспрессе» Гришка быстро завел знакомство с сильно набеленной дамой, «из петербургского общества», и всю дорогу пробыл у нее в купэ. Когда перевалили Арльберг и после мороза и снега вдруг выехали в зелень и приветливое тепло, а еще немного погодя, около Генуи, к голубому радостному морю, Гришка ахнул. Он не бывал заграницей, никогда не видал юга и первые моменты глядел, точно зачарованный. Но хватило не надолго. Опять отправился к набеленной даме. И в купэ задернули занавески.

* * *

Из Ниццы поехали в Ментону. Но встретиться с Детюхиной не удалось. Узнали, что она гуляет в определенные часы, но как раз в этот день не гуляла. Решили приехать еще раз и столкнуться случайно, и как бы узнать ее по фотографии, которую показывал отец. Детюхин никакой фотографии не показывал, но наружность ее и компаньонки знали по рассказам швейцара.

Вернулись в Ниццу. Шоффер гнал машину бешено, нагло. Казалось, автомобиль сам шутя скользит по загруглениям дороги, не может итти иначе, а дрогнувшая рука принесла бы смерть.

Арсений не отрывал глаз от панорамы. Рука человека дополнила природу лучшего уголка земли.

«Счастливый край!.. Все должны быть тут счастливы», — думалось ему. — «Здесь колыбель древних культур... Наша северная природа враждебна человеку.. В мироздании мало мудрости творца... Почему

один должен жить в приятном климате, а другие нет?.. Прекрасен человеческий разум... Как пусто и холодно без любимой женщины... Надо, чтобы она тоже смотрела и радовалась... Радоваться ее радостью...»

«Вот бы в собственность приобрести такое имень-ице!» — перерезал мечты Гришка. — «Тутока с одних дач мильоны аренды получил бы...»

Потом он задремал. Проснулся у Ниццы:

«Голова плохо работает».

«Пойдем в казино. Там вероятно девочек пруд пруди... И какие!»

«Пойдем», — согласился Гришка. — «Только не долго бы канителиться... Не люблю я зря церемонии и етикеты разводить... А как я сговорюсь с ими?»

«Разве тебе надо сговариваться?!.. Тебя любая с первого взгляда поймет...»

«Это верно», — засмеялся самодовольно Гришка. — «Да чего, брат, тут и понимать, — везде одно, продольное... А сколько стоит, карандашиком пущай напишет, чтобы шантажу не было... Твой товар, мои деньги».

* * *

Потом. Уселись в баре на высоких табуретках.

Сначала Гришке все казалось чужим и странным. Но быстро освоился и даже превзошел других в смелости. Арсений оказывался застенчивее, когда Гришка знал, что и как делать.

Рядом сидела объемистая испанка, и на нее он сейчас же обратил внимание. Через несколько минут уже ощупывал. Не разговаривая, только улыбаясь. Слова были ненужны. Арсений кое-как сговорился за него: сторговались. Взял от Гришки бумажник и отпустил их. Испанка обещала доставить его в отель завтра к двенадцати в полной сохранности. Обещала его напоить кофе и даже завезти к парикмахору.

Арсений пошел в залы баккара.

Четыре стола были окружены плотным кольцом. Мужчины сидели, женщины стояли — женщинам нельзя садиться за стол. Женщины ласково жались к тем, кто крупно играл...

Крупье жонглировал колоссальным черным ножем, раздавая карты или деньги. Или еще более ловко сгребал груды костяшек.

«Купить банк, поставить все, что в кармане, удвоить и сняться», — решил было Арсений. — «Удвоить?!.. будет вместо девятисот франков тысяча семьсот... Какой толк?! Надо такую ставку, чтобы сразу стать богатым, как Гришка, а девятьсот или тысяча семьсот — безразлично... Играть на двадцать франков, по мелочи — самое глупое. У банкомета есть лишний шанс — около пяти процентов» — он точно высчитал... «Банкомет покупает после того, как уже роздал карты понтёрам, и в некоторых случаях может не купить на четверку и выиграть... Правильная игра только — сразу поставить большой куш. Поставить, выиграть и уйти...»

* * *

Переходил от стола к столу, заговаривал с женщинами. От каждой пахло по особенному, — резко, возбуждающе.

Метал банк австриец. Его все знали, он всегда крупно играл. Австриец купил банк за пять тысяч франков и метал уже с полчаса. Сейчас у него было около пятидесяти сысяч. Он принимал какие угодно ставки. Кругом ахали, когда он открывал «дамблэ». Некоторые сердито отходили от стола, но опять возвращались и ставили: на других столах ограничивали ставку... Все ждали, когда же кончится серия банкомета, когда счастье повернется? Наконец, он заплатил оба табло: сразу все бросились ставить, набросали больше двадцати тысяч. Но австриец бросил карты, встал и начал сгребать костяшки в деревянную чашку.

«Вот бы так сыграть!» — волновался Арсений.

Все больше хотелось играть. Он бросил на один из столов двадцать франков. Проиграл. Начал ставить по двадцать, пятьдесят, наконец по сто... Банкомету везло. Через полчаса от девятисот франков осталось сто.

«Как глупо итти против серии!.. Игроки всегда говорят, что нужно гнаться за серией. Нельзя ставить против банкомета, когда ему везет. Надо итти на тот стол, где раздают... Но как это сделать?.. Где раздают, там банк сейчас же кончается?..»

Он пошел к другому столу, где банки не держались: там трудно было найти покупателя на банк, шла мелкая игра. Волнуясь, дрожащей рукой, поставил сразу последние сто франков — и на этот раз банк выиграл! Проиграл все.

* * *

Он быстро вышел из игорных зал опять в бар. Хотел идти домой, но остановился. — «Так глупо, не осталось ни одного франка, завтра надо просить у Гришки денег, и придется сознаться, что играл».

Гришка относился к игре презрительно — это было внушено Сидором. Тот часто говорил:

«Который играющий — хуже вора».

Арсений скрывал, что любит игру, поддакивал Сидору.

«Как отыграться? Нет ни франка...»

Он вспомнил о бумажнике Гришки. Раскрыл — восемнадцать тысяч франков... — «Гришка никогда не знает сколько у него денег... Взять тысячу франков, отыграться... А если проиграешь опять?.. Тогда не говорить и при первом случае вернуть ему эту тысячу, также незаметно положивши в бумажник... Нельзя же украсть! А почему нельзя?! Разве все деньги Гришки не краденые?.. Разве они не обкрадывают казны? Разве они не обкрадывают владельцев имений, покупая их за гроши и наживая ни за

что сотни тысяч? Они воруют у того, кто в крайности, а ведь у Гришки миллионы... Нет, нельзя...»

«В последнем письме Манечка умоляет прислать денег. Она думает, что у меня много, а я не хочу дать. Не могу же я написать ей правду, уже хотя бы потому, что она тогда станет искать другого... Какая подлость, — деньги!..»

* * *

Подошел к бару, выпил бокал шампанского и опять вернулся в игорные залы. В руках была тысячефранковая бумажка из гришкиного бумажника. Подошел решительно к первому столу и купил банк за тысячу франков.

«Все банки здесь срывают, должен же наконец один удержаться... Нет, это я опять иду против серии?!.. Да, но по теории вероятностей должно же повезти на седьмой раз банкомету, если шесть раз подряд везло понтёрам... Ерунда! Все эти рассуждения ерунда — просто случай: «да» или «нет», без всякой зависимости от предыдущего...»

Десять процентов ушло в пользу казино, осталось девятьсот. Тут все ставили охотно. Сразу набросали на стол больше двух тысяч. Крупье уменьшил ставки до пятисот. Арсений роздал карты. И на правом, и на левом табло потребовали карту. Одному и другому дал фигуры. Пробежала волна теплой радости.

Казалось что выигрывает целую жизненную карьеру, так это было остро. «Вот в этом и прелесть, и острота игры...» — тут-же мелькнула мысль, в течение какой-нибудь сотой секунды. Но у него была двойка, нужно было тоже прикупить. Тоже фигура!.. Прокатилась другая волна, холодная, щемящая. Казалось, что руки сразу похолодели. Он открыл двойку... Выиграл и одно, и другое табло — на одном был «бак», на другом единица.

«Делайте ваши ставки, в банке тысяча восемьсот» — объявил крупье.

«Не сняться-ли?.. Можно вернуть гришкину тысячу и будет восемьсот франков... Всетаки хуже, чем было в начале... Нет, все равно, дальше... ведь бывают-же случаи, когда идут серии в восемь, десять карт, а мне нужно только две... А вдруг у меня такая серия... Вдруг кто-нибудь купит мой банк и побьёт пять карт, ведь я не прощу себе никогда этой слабохарактерности. Нет, лучше проиграть, только чтобы не упустить серию...»

Опять роздал карты.

На левом табло открыли «дамблэ». Опять холодная волна... На правом спросили карту. Дал четвертку. Арсению показалось, что у него потемнело в глазах, он считал уже все потерянным, опять в одну сотую секунду нарисовалась картина неприятного разговора с Гришкой. «И вдруг Гришка заметит, что у него не хватает тысячи?!.. Может быть, лучше прямо сказать?..»

У него была тройка. Уверенный уже в потере всего, он открыл следующую карту — шестерка... Выиграл!..

В банке оказалось тысяча шестьдесят франков. «Все-равно — дальше!» Опять роздал карты... И на левом, и на правом табло открыли «дамблэ»...

* *
*

Арсений с деланной улыбкой встал из за стола и опять пошел в бар. В кармане не было ни франка, не на что было выпить бокал вина. «А у Гришки в бумажнике только тысячные — нельзя же менять еще одну. Передавая бумажник, он забрал мелочь — это он может помнить, что оставались только тысячные...»

Когда случалось скверное, Арсений всегда старался найти какую-нибудь хорошую сторону. Он приучил себя так. Кто-то из товарищей по университету рассказывал, что это секрет постоянного хорошего настроения. Нужно быть искусственным оптимистом,

если нельзя быть врожденным. Тот говорил шутя, но Арсений принял это в серьез. Постоянно думал об этом, выработал в себе такую манеру и теперь уже понимал, что эта манера очень хорошая, может сильно помогать в жизни... «Хорошее настроение во чтобы то ни стало... Хочу быть счастливым, вопреки всему — вот буду, буду!.. Ничего со мной не сделаете... Однако, что же хорошего в этом проигрыше — только скверное?..»

Всетаки успокоился на мысли, что тысяча девятьсот франков, в конце концов, пустяки, что от этого богатство не приблизилось и не отдалилось. «И мир от этого не провалится... Можно будет под какимнибудь предлогом взять у Гришки денег взаймы и отыграться... И послать Манечке».

Несмотря на оптимистические самовнушения, долго не мог заснуть:

«Милая Манечка... я послал бы тебе завтра же, но у меня нет...»

Потом заснул тревожным, кошмарным сном. Что-то сыпалось, дрожало, неслось мимо, увлекало его. Опять начинал дремать, и снова что-то сыпалось и неслось в вихре.

Наконец успокоился, озлобившись

«Если бы Гришка проиграл тысячу девятьсот франков, он не волновался бы, для него это пустяки, у него миллионы... Телеграфировать Сидору и пришлют десять тысяч, двадцать. У него награбленные деньги... у всех награбленные...»

* * *

На этот раз в Ментоне, почти у входа в санаторию столкнулись с Детюхиной. Высокая, худая, в тёмных очках от солнца, скромно одетая. В натуре она оказалась много хуже, чем говорил швейцар. Швейцар видел ее сквозь призму денег: она с компаньонкой занимала в санатории три лучших комнаты. Однако, никто всетаки не подозревал, что это дочь

одного из богатейших в России людей — не было титула.

Подошли и поклонились. Детюхина посмотрела в недоумении. Заговорил Арсений:

«Извините, что знакомимся сами, Аграфена Феоктистовна... Мы привезли вам поклон от вашего батюшки. Он дал ваш адрес, просил заехать навестить вас... Позвольте познакомиться — Аристарховы...»

Детюхина холодно протянула руку, посмотрела карточку отца с ее адресом. Потом стала любезнее. Пошли вместе гулять. У нее не было здесь русских знакомых, и родной язык расположил ее. Гришка обрадовался, что компаньонка говорит, хотя и плохо, по русски, и рассыпался перед ней. Она ему нравилась несравненно больше Детюхиной — полная, здоровая швейцарка, с отметным бюстом. Было так условлено, что на первый раз с Детюхиной будет говорить Арсений.

«Чтобы сразу в калошу не сесть с грамматикой... Это паршивое филологическое...»

Выяснилось что она интересуется искусством, музыкой, социальными науками. Уже не подходило... Но главное было еще другое: в ней не было никакой сексуальности. Даже такой сильный самец, как Гришка, никаких желаний в ней возбудить не мог.

Арсений особенно этому удивился.

«Безполое существо какое-то... Даже враждебное ко всякому отдаленному намеку на сексуальность», — говорил он в автомобиле, возвращаясь обратно.

По настоянию Гришки, нарочно приехали не в поезде, а автомобилем, и заставили его ждать, чтобы Детюхина видела.

«Она сама на десяти автомобилях может ездить, у папашеньки хватит — этим тут не возьмешь... У тебя, Гриша, главный шанс у женщин — твоя подчеркнутая сексуальность. Но тут это ни к чему... Странно — у чахоточных всегда повышенное половое чувство, а тут наоборот? Евнух, а не девица».

«Так как же ты думаешь?.. И не спрашивать?»
«Подождем еще... поживем с неделю».

* * *

Ходя мимо игорных столов в Монте-Карло, Гришка презрительно улыбался на играющих. И рулетка, и трант-э-карант казались ему глупыми и неинтересными; — «вредное и нежелательное» — говорил он, помня сидорову мораль:

«Который играющий — хуже вора...» «Бедняк могит, ему все одно проигрывать нечего... А богатому играть — лучше в печке жечь...»

Его не заражали кучки золота на зеленых столах, звон золота. У него было сознание, что такие кучки у него в кармане и нарастут новые без игры. Все будут расти, и имя его, Гришки Аристархова, будет рядом с Ротшильдом и Вандербильдтом...» Есть другая игра, более верная — дела...» — думал Арсений.

Гришке нравились только стофранковые золотые пляки, и он собирался выменять несколько, повезти домой в подарок.

Арсения игра волновала, захватывала. Каждое падение шарика было интересно, и, сам не играя, он точно переживал чувства всех играющих, следил за лицами игроков и вместе с ними волновался...

Гришка неодобрительно усмехался и терся то около одной, то около другой женщины. Даже приличные, поглощенные игрой, не замечали его нескромных прикосновений. Кокотки напирали сами. У двух он побывал уже дома. Испанка тоже звала опять к себе, но Гришка предпочитал новых. «Как хряпа», — отозвался о ней.

Вообще тут был такой выбор, что глаза разбегались. Гришка полагался на волю божью (он и тут видел волю божию!) и шел за той, которая была настойчивей, но всякий раз за новой.

«За те же деньги новую можно, так чего же к старой иттить?»

Арсений проиграл по мелочи еще франков триста, — и эти триста франков опечалили его больше, чем первые тысяча девятьсот. Надежда на выигрыш уходила, дальше нельзя было проигрывать. Вдруг стал терять веру в свою счастливую звезду.

* * *

С Детюхиной было явно безнадежно.

«Зря, кажись, канителимся», — говорил и Гришка. На всетаки решил спросить ее прямо, хочет ли она выйти за него. Собирались через два-три дня, если ответ будет неблагоприятный, ехать в Россию.

Другое дело, если Детюхина заколеблется, попросит подождать. Тогда можно и еще два месяца пожить. У Гришки еще была надежда.

Остались на вечер в Монте-Карло. Гришка условился ночевать у новой знакомой, рыжей француженки. Она вцепилась было в него и не хотела отпускать еще с обеда, но Гришка отшил ее до вечера, «а то чего доброго еще с Грушей столкнешься».

Арсению было не по себе из-за проигрыша.

«Поставлю еще сто франков сразу и, если проиграю, больше играть до отъезда не буду», — решил он, наконец, и сказал Гришке. Гришка кисло улыбнулся:

«Пусти еще сотню коту под хвост, если чешется... Неужто не лучше девочке заплатить?..» — и стал у стола посмотреть, как уплывет сотня в кассу банка.

На столе трант-э-карант шла серия черных.

Четыре...

Пять...

Шесть!..

Семь раз вышла черная!

Арсений протянул руку со стофранковой бумажкой, хотел кинуть на черную. — Если вышло семь раз, не изменится же как раз на восьмом, именно тогда, когда я поставил...» — Но ошибся и бросил на красную. Крупье подхватил бумажку и заменил золотой

плякой. Еще карты не раскладывались, можно было переменить, но в секунду пронеслись в мозгу тысячи доводов за и против, и Арсений, дрожа от волнения, оставил на красной. Черная была заставлена ставками, на красной его пляка была единственная. «Если семь раз вышла черная, то гораздо больше математического вероятия, что сейчас выйдет красная... Все ставят на черную, но все в конце концов проигрывают, выигрывает банк, значит не надо идти за всеми...»

* * *

Остановился на этом доводе и оставил на красной. В эту секунду колебания промелькнуло в мозгу еще несколько доводов и за черную, и за красную, одинаково логичных, и одинаково неверных, одинаково не стоющих, — сам ясно понимал это.

Гришка спокойно улыбался и ждал, когда крупье потянет к себе пляку. Арсений закрыл глаза и старался не слышать счета банкомета.

«Выиграл!» — удивленно сказал Гришка. Крупье положил на пляку Арсения такую же вторую.

Среди играющих послышались недовольные возгласы. Двое встали из за стола, резким движением отодвинувши стулья. Арсений занял одно из мест. Гришка остался стоять сзади.

«Еще хочешь?!.. Бери да беги с Богом».

Арсений не ответил. На красной осталось две его пляки. Он сжал руки и, застывши, смотрел в одну точку — на руки крупье, державшего карты.

«Ничего больше не идет», — сказал мягким баритоном крупье и стал открывать карты. На последней он задержался и Арсению показалось, что вышло «один», что-то ударило в голову. Но он обсчитался, так же как и сам крупье. Задержка длилась какие-то доли секунды — крупье открыл еще карту —

«Сорок!»

«Сорок! Выигрыш обеспечен... Почти...»

«Один...» — объявил крупье и к двум плякам Арсения прибавилось еще две.

Гришка на этот раз промолчал.

Арсений снял две, а две оставил на красной же. Вышла опять красная...

Теперь было шесть пляк — четыре на красной, две в руке. Точно машинально, вместо того чтобы снять две, Арсений добавил еще две: поставил все шесть, не оборачиваясь на Гришку, ничего не говоря. Опять сильно сжал руки и опять смотрел в одну точку, на карты. Не слышал, когда крупье сказал — «Ничего не идет больше...» Видел только его руки. Карты стали открываться.

«Два!»

«Проиграно!.. Все проиграно, почти невозможно выиграть... Только «один» во втором ряду спасает красную». Уже не смотрел на руки, весь обратился в слух.

«Один!..»

Ставившие против серии красных ахнули. Крупье стали сгребать с черных табло. У Арсения взяли четыре пляки и положили тысячефранковый билет.

Минут через двадцать у него было четыре тысячи франков. Он встал. Вместе с Гришкой вышли из казино.

«Выигранные деньги в прок не идут», — сказал Гришка.

«Деньги все одинаковы», — ответил Арсений.

Рыжая француженка выросла из-под земли.

* * *

Гришка должен был вернуться утром, но его не было и к завтраку. Арсений не знал ее адреса. К чаю Гришки не было. Стал беспокоиться. Решил ехать в Монте-Карло искать рыжую. Уже выходя из отеля, столкнулся с Гришкой.

По лицу того видно было, что случилось что-то особенное. Щеки ввалились, но горели. Глаза смотрели растерянно, виновато.

«Гриша, что случилось?»

«Да так, брательник, случилось..»

«Проиграл все деньги?» — сразу осенило Арсения.

«А ты откудова знаешь?» — удивился тот и виновато улыбнулся — «да, брат, из этого проклятого места надоть бегом бежать... Ну его к нечистику и всех невест с ним...»

Случилось же следующее.

Гришка утром, часов в 11, распрощался с рыжей. Очень остался ею доволен. Деньги на ночь спрятал в носки и спал в носках. Все было хорошо. Утром, проходя мимо казино к вокзалу, зашел разменять тысячу франков на золотые пляки. Подошел к крупье менять, и тот его не понял, дал девять, а десятую поставил.

«Чорт ону знает как», — каялся Гришка. «Я ему и назначил. «Красная» говорю... Он по русски и спросил — «красная?», а я головой кивнул».

Пляка ушла.

Гришка, рассердившись, сам поставил вторую, По том сразу две. Потом сел за стол и стал играть. Крупье любезно помогал... Проиграл тысячи полторы, потом все вернул и еще тысячу с лишним выиграл. Но не вставал, а стал играть дальше.

«Я, брат, обалдевши, расчитал, что ты на сто четыре выиграл, так я на тысячу четыреста выиграю...»

Гришка просидел за столом до тех пор, пока осталась в бумажнике только мелочь, — проиграл пятнадцать тысяч...

У него было зашито в жилете пятьсот фунтов — он пошел в уборную, выпорол их, разменял и тоже все проиграл, ставя теперь уже тысячами.

«Чорт ону знает, проклятое место... Едем, брательник, домой...»

«Расплатиться и на дорогу моих четырех тысяч не хватит... Я на полторы тысячи заказал у портного...»

*

Послали телеграмму Сидору:

«Положение неопределенное всетаки надо довести сопряжено большими тратами телеграфно вышли пять тысяч рублей целуем крепко обнимаем Григорий Арсений».

На другой день Сидор ответил:

«Перевел десятьтысяч франков женитесь да не переженивайтесь целую обнимаю Сидор».

Надо было уезжать. Сидор телеграфировал, вызывал.

Гришка в последнюю встречу с Детюхиной рискнул: набрался храбрости и спросил:

«Как вы смотрите на вопрос брака, Аграфена Феоктистовна?»

«Я нахожу, что вам давно пора жениться» — расхохоталась она. Ни разу раньше так не хохотала.

«Меня аж холодом пробрало от ейного смеху», — рассказывал Гришка. — «Чорт ону возьми с ейными мильонами... Дохлая совсем, а не прокусишь, как кожаная...»

XVI.

НА ОБРАТНОМ ПУТИ...

На обратном пути опять пришлось заехать к мамашеньке в имение. На этот раз в другое, — она теперь там наводила порядки.

О «художествах» Гришки, а значит косвенно и Арсения, об истраченных в Ницце тысячах, Сидор ничего старухе не сказал. Арсений был в этом уверен. Сидор большой дипломат и с братом ссориться не захочет. Но несомненно предстояла генеральная проборка от него лично в городе. Придется выслушать пространное нравоучение: оно будет обращено не к нему и даже не к Гришке, а поведется в третьем лице по адресу вообще молодых мальцев, «молодо зелено», «ветер в голове свистящий и тому подобное...» «человек не деревяшка, но должно быть контролируемое, чтобы знать, на каком свете стоящий... хоша эно французское или какое, дело на первом плане, а не зря деньги соримые...»

Арсений не раз слышал уже и раньше эти сидоровы сентенции и выслушивать их вновь не хотелось. Но что поделаешь, придется... Особенно неприятно с игрой. Сидор понятно догадается, что проигрались, и тут уже будет обвинять всецело его Арсения, а он как раз не при чем. Эту тысячу он отдал Гришке обратно, положил в бумажник и тот не заметил... Прямо Сидор этого не скажет, а только будет думать, что это он, Арсений, вовлек Гришку в игру и нельзя будет оправдаться. Оправдываться во всяком случае нельзя, потому что это значило бы обвинять Гришку.

* * *

Предположения Арсения были верны. Именно в таких выражениях и в такой форме, вел свою проборку Сидор. Об игре, однако, не догадался, а решил что все истратили на девочек и закончил свою проповедь такой фразой:

«А ежели пыль в глаза пускаемая и деньги разбрасываемые, так это тутока только вредящее».

После сидоровой головомойки поехали к мамашеньке. Имение было дальнее, в глухом Полесьи, среди лесов и болот. Тут выбора не было: — как

только приехали, Гришка облюбовал рябую коровницу, ничего другого под руками не оказалось.

Глядя на эту вонючую, грязную, пожилую бабу, Арсений, уже ко всему привыкший, всетаки поражался. От Гришки он ждал всякого, но этот номер превосходил все бывшие до сих пор.

«Мы легко и просто смотрели на связь с женщиной», — вспоминал он свои студенческие годы. — «Но мы отдавали ей кусочек души, всетаки было какое-то увлечение, даже иногда казалось, что действительно любим... Увлечение проходило через две недели, или через два месяца, но в течение этого времени был всетаки какой-то душевный подъем, известное очарование. А тут что?.. Что это за странный человек!»

Пробыли у мамашеньки два дня.

* * *

На обратном пути, на большой узловой станции была пересадка. Приехали по подъездному пути и тут садились в скорый поезд на главной линии. Прямой поезд, хоть он именовался и «скорый», стоял на этой станции полчаса, а ихний приходил за сорок минут раньше. Времени было много. Сдали чемоданы носильщику и велели занять четырехместное купэ первого класса.

«Чтобы больше туда никого не посадили, обещай кондуктору три рубля».

Сидели пока в буфете и обедали второй раз. Первый обед был дома у мамашеньки, перед выездом.

Гришке не сиделось. Он все вскакивал и куда-то уходил. Носильщик пришел доложить, что поезд подходит. Арсений расплатился и пошел в купэ, а Гришка опять куда-то исчез, сказал что идет «пройтиться».

Вокзал был полон народу. Не только уезжающие и приезжающие, — больше всего, гуляющих горожан. Вокзал служил своего рода бульваром. Сюда собирались в час прохода главных поездов. В городе была

адова скучища, тишина, нарушавшаяся только дребезжанием извозчичьей пролетки или лаем собак, а тут было оживленно, новые лица. Молодежь назначала тут свидания.

Гимназисты и гимназистки, офицеры местного гарнизона, швейки, свободные от службы телеграфисты, просто девочки, — было полно и в буфете, и в проходах, и на платформе. Особенно полно было в воскресенье. А тут как раз было воскресенье...

* * *

Гришка появился в купэ только незадолго до отхода поезда. Не один, а с какой-то молоденькой девицей в платочке. Он пропустил ее в купэ, к Арсению, почти втолкнул и, закрывши дверь, остановил проходившего кондуктора. Дал ему денег.

«Покупает ей билет... Придется ехать в купэ втроем» — подумал Арсений. «Пожалуй пикантно, но неловко всетаки... Пассажиры видели, как он вел ее сюда».

Арсений задернул в окне синюю шелковую шторку и стал открывать верхнее спальное место.

«Лягу там, будет некоторая иллюзия отделенности от них...»

Улыбнулся, посмотрел внимательно на девицу — хорошенькая, совсем девочка. — Было курьезно, смешно и вместе с тем обидно, что Гришка вовсе не считается с его присутствием, не спросил даже, согласен ли он на такую комбинацию...

Кондуктор принес билет.

Гришка как ни в чем не бывало сел рядом с девицей. Снял с нее платочек, положил аккуратно на полку ее зонтик и узелок. Снял с нее пальто и продолжал раздевать дальше... Арсений уткнулся в газету, сидя в углу у окна.

Девица делала вид, будто сопротивляется, краснела, поправляла растрепавшиеся волосы и говорила все только одно и тоже:

«Что вы, панич!.. что вы! Мне иттить надоть...»

Гришка снял уже и кофточку, но запутался в лифчике, завязанном сзади тесемками. Торопясь, он затянул узлы и они не развязывались. Девица твердила свое:

«Что вы... что вы, панич! Мне иттить надоть...»

Она испугалась, что Гришка может порвать лифчик и стала сама помогать развязывать узел, заложивши руки на спину. Но узел не поддавался... Гришка наконец порвал тесемку и снял.

Девица совсем обиделась, разсердилась.

«Как можно рвать... Мне иттить надоть, пустите, лифчик порвали...»

«Ничего, ничего, молчи», — успокоил Гришка. — «Я тебе за лифчик два рубля прибавлю».

Девица как будто успокоилась, но по-прежнему все посматривала в окно, в щелку между занавесок. Вдруг она там что-то увидела, быстро отшатнулась в угол и закрыла лицо кофточкой. На платформе кто-то пронзительно кричал:

«Ой-ой, жулики!.. Мою девочку украли... Ой-ой она же в поезде, ее увезти хочут...»

В окно стала стучать зонтиком старая толстая еврейка. Кричала все громче и пронзительней.

«Ой-ой, жулики, разбойники!.. Они же мою девочку украли!»

* * *

Собиралась толпа. Одни смотрели недоумевающе, другие сразу поняли, в чем дело, и хохотали. Какой-то гимназист махал рукой, что-то объяснял окружающим и заливался раскатистым смехом. Арсению стало ясно: хозяка какого-то притона везла эту девицу к себе, купила ее или сманила где-то, а Гришка по дороге перехватил...

Было необычайно комично и в то же время неловко до крайности. Гришка как-будто заколебался, но в этот момент ударил второй звонок. «До отхода поезда остается две минуты... хозяйка ничего не успе-

ет сделать, как уже поезд отойдет...» — вероятно решил он. Плотно прижал девицу в угол около окна и выжидал эти две критических минуты. Однако, хозяйка тоже решила ни перед чем не останавливаться. С визгом и причитаньями, махая руками и большим дождевым зонтиком, угрожая спрятавшемуся врагу она полезла в вагон.

На крик и суматоху прибежали жандарм и обер-кондуктор. Они из за шума не могли понять, в чем дело, несмотря на объяснения гимназиста. Обер-кондуктор тянул хозяйку обратно из вагона:

«Куда лезешь? Это первый класс...» — а жандарм поддерживал, чтобы она не упала под вагон. Любопытные окружили уже плотной стеной.

Жандарму пришлось бросить «хозяйку» и разгонять толпу.

«Разойдись! Разойдись!.. Под вагон попадете» — командовал он.

Хозяйка вырвалась от обер-кондуктора, вбежала в корридор вагона и стала стучать зонтиком в первую попавшуюся дверь. Там оказался какой-то генерал, один. Хозяйка бросилась к следующей двери, на этот раз правильно, и стала колотить в нее кулаками. В то время зазвонил третий звонок. В корридор тоже влезло уже несколько любопытных. Из всех купэ высунулись пассажиры, не понимавшие в чем дело. Прибежал еще один кондуктор и проводник вагона. Видя, что жертва может всетаки ускользнуть, хозяйка закричала еще пронзительней и схватила за руки обер-кондуктора.

«Стой!.. стой поезд! Они же жулики, мошенники... Жандарм! Городовой!»

* * *

Тут уже гришкины нервы не выдержали.

«Этакая нахрапная баба, чорт ону возьми!» — пробурчал он и, быстро раскрывши дверь купэ, сам

без пиджака, вытолкнул девицу в одной рубашке прямо в объятия хозяйки.

Они вдвоем выскочили из вагона. Поезд медленно двигался. На платформе стоял хохот. Жандарм командовал: «разойдись», а гимназист бежал за их вагоном, махал фуражкой и хохоча кричал:

«До свиданья... Пишите!..»

Арсений раскрыл окно, не раздвигая занавесок, и выкинул на платформу оставшиеся девицины вещи. Юбку и пальто она успела захватить с собой. Кофточка полетела кому-то на голову, а узелок и зонтик благополучно упали уже в конце платформы, не причинивши никому вреда...

Как потом выяснилось, лифчик с порванными тесемками остался в купэ и его уже позже Арсений тихонько выбросил в окно.

«Вот те фунт... чорт ону возьми!» — сказал только Гришка после того, как поезд взял уже полный ход. Он старался обратить все в шутку. Арсений ничего не ответил, только покачал головой и опять уткнулся в газету. Было до тошноты противно. Не разговаривая больше, легли спать. Арсений долго не мог заснуть, но Гришка уже мирно похрапывал.

* * *

«Как выйти теперь из купэ? В вагоне полно пассажиров, видевших эту безобразную сцену... Раньше некоторые из них видели меня, когда я входил в вагон... Я даже разговаривал с этим генералом. Гнусная история...»

Арсений опять зажег свечу и стал читать. Окликнул Гришку.

«Ты спишь?.. Как угодно, Гриша, а я вылезу только на запасном пути, когда все пассажиры уйдут».

«Ладно, как хочешь», — согласился Гришка.

* * *

Поезд приходил на конечную станцию в шесть тридцать утра. Под утро дали обер-кондуктору еще пять рублей и условились, чтоб он не открывал их купэ, пока поезд не отведут на запасный путь. Вылезли через полчаса, среди рядов товарных вагонов и, крадучись, обходным путем, прошли на вокзал.

Арсений облегченно вздохнул только, когда сели на парного извозчика и отъехали от вокзала. Гришка был неприятен ему больше, чем когда либо. Было обидное чувство, что приходится быть чем-то вроде наставника и секретаря у такого человека. «Деньги!.. сколько подлостей совершу я еще из за них...»

XVII.

В БАШКИРИИ.

На Урале, в центре старообрядчества, опять искали богатую невесту.

В самый разгар жениховства была получена телеграмма от Сидора, чтобы немедля осмотреть лесное именье на севере Башкирии, в Уфимской губернии. За телеграммой последовало подробное письмо с инструкциями. К нему было приложено еще особое письмо, запечатанное пятью печатями. Гришка его Арсению не показал.

Важный чиновник дворянского земельного банка, которого в письме Сидор называл Хабарев (от «хабарь» — взяточник), предложил Аристарховым это дело. Хабареву, если купят, надо было уплатить сто тысяч, в чем была выдана росписка на имя его родственника. Разумеется, в случае судебного процесса, причастие к делу самого Хабарева было бы легко

установить, но за сто тысяч он готов был рисковать и служебным положением, и именем. Это было лучше казенной пенсии за тридцать пять лет безпорочной службы. К тому-же несомненно было, что Аристарховы до суда не доведут, а заплатят: суд мог бы расстроить сделку и скомпрометировать их самих. Выдавая росписку, Сидор также все это учитывал.

«Имение, значит, действительно мильонное, ежели такой хват на риск идущий и уверенный, что мы не захочем суда опорочивающего, а тихо и без огласки закрепим в нашу собственность приобретаемое», — писал Сидор в том втором письме.

* * *

Это громадное лесное имение, сто пять верст в длину, было заложено когда-то в земельном банке за 1.800.000. Банк обанкротился лет двадцать тому назад, но только теперь окончательно ликвидировались его дела.

Главной причиной банкротства было именно это имение: ежегодные взносы в банк не из чего было уплачивать. Но теперь, через двадцать лет, когда цены на лес удесятерились, когда рядом намечались железные дороги, оно представляло громадную ценность.

В последние годы именье могло бы уже давать большой доход, но Хабарев нарочно держал его бездоходным. Того, что выжимали из местных крестьян, едва хватало на администрацию. Крестьяне жили тут искони, но им принадлежала только земля, на которой стояло самое село, а кругом на сотни верст был чужой лес. Сеять было трудно, — в мае бывали заморозки, в августе опять. Да если-бы и было возможно, то не на чем: заливные луга, «тугаи» или каменистые крутые склоны, а чуть поудобнее — лес...

Жили крестьяне больше сотни лет и безропотно мирились с этим. Когда при Екатерине подходил Пу-

гачев, отбивали его по приказу помещика, и осталась в память этого деревушка «Побоище».

* *
*

Ехать надо было на лошадях верст четыреста. В глушь лесной Башкирии.

Модные пиджаки, смокинги и николаевские шинели сложили в объемистые чемоданы и оставили на хранение в Екатеринбурге. Купили дохи, валенки, меховые куртки.

Купили сани, чтобы только менять лошадей на станциях.

...Три лошади гуськом впряжены в сани. Дорога — еле одному проехать. Чуть свернешь — лошадь тонет в снегу по брюхо. Попадается встречный — одному или другому зарываться в снег. Ямщик кричит, и мужики засаживают лошадей в снег, хотя у них возы. На дуге большой колокол, чтобы издали слышали...

Мороз крепчал. В степи жгло холодом. К вечеру ветер еще усилился. Не помогали ни дохи, ни высокие валенки, ни шерстяное белье. Почтарь в драном тулупе и дырявых обрезках на босую ногу сидел на облучке, свеся ноги на бок, и подпирал собою сани, когда сильно кривились. В больших ухабах терял валенок и босиком брёл по снегу подымать.

«Ишь ты, мать присвятая богородице...» — причитал с упреком.

Ветер неистово трепал тулупишку.

Арсению казалось, что у почтаря давно уже отмерзли и уши, и нос, и весь он давно должен замерзнуть и свалиться. А тот все сидел и все помахивал, как автомат, кнутиком, — тоже оборванным и общипанным, — издавая невнятный, нечеловеческий звук или поминая мать-богородицу. Лошадёнки обмерзли и понуро плелись, еле вытаскивая тяжелые сани из выбоин и раскатов.

Перегон был особенно длинный. Ехали уже часов пять. Арсений дремал. Просыпался, когда стукало на раскате, опять дремал и все смотрел на почтаря.

«Когда-же он свалится, наконец?..»

* * *

Крутила позёмка, и несколько раз сбивались с дороги. Лошади увязали по брюхо, и почтарь подолгу возился с ними. От лошадей шел пар и от почтаря тоже. А потом он опять мерз, сидя на облучке.

«И всю жизнь он так... Самое большое, что видел — большую деревню Ириновку, и землю он считает плоской... Мог ли бы я так жить, если бы был на его месте?.. Нет».

Ветер все крепчал, и понуканья почтаря все больше походили на стоны.

«Ишь, завируха какая крутит, мать присвятая богородица...»

Наконец дотащились. Остановились у занесенной избы. Деревня спала. Огня нигде не было. Почтарь доковылял на застывших ногах к окну и постучал кнутовищем. Что-то выползло из хаты, долго возились — ворота занесло большим сугробом. Втащились во двор.

В избе воздух был нестерпимый: кислая овчина, навоз, человеческие испарения и еще что-то разлагающееся, точно запах трупа. На столе коптила лампочка без стекла. От печи несло жаром.

Войдя, Арсений сразу хотел идти обратно на мороз. Попросил старуху затопить печь, чтобы провентилировать избу. Та удивилась: печь так и пышет, зачем же ее топить? Он сунул ей полтинник, и она пошла за дровами.

* * *

В полумраке рассматривал избу.

Грязная, закоптелая, засиженная. В углу, понуря головы, стояли овцы. Лежала телка на земляном полу,

в навозе. На досках, положенных на низенький сундук, было еще что-то закутанное в овчину и тряпье.

Старуха внесла дрова. Что-то на сундуке застонало и сдавленно закашляло.

«Ишь, пролежни-то болят...» Спаси, присвятая богородице, мать пречистая», — сказала старуха.

«Кто это там у вас?»

«Дочкà наша помирает».

«Как помирает?!.. Отчего?..»

Пересыпая пресвятой богородицей, старуха рассказала: одна дочка замужем в Ириновке живет, а эта, младшая, третью неделю помирает.

«А доктор был?»

«Какой у нас дохтур! Ближе Челябинска и нетути... Фершала с волости звали, не приехал. Да чего и ехать зря?.. все равно помирает... Попа нужно, а не фершала... Две недели маковой росинки не съела... В безпамятстве, и горит вся. Горячка, значит...»

Среди тряпья было видно теперь серое, потное лицо, повязанное платком. Нельзя было решить, молодое или старое. Скулы выпятились, нос обострился. Глаза были закрыты.

«Сколько ей лет?»

«Четырнадцать на Покров минуло...»

Вошел почтарь в снегу, обмерзлый, все еще живой; стал у печки, не раздеваясь, держа в руке кнут.

«Помирает вот дочкà-то...» — сказал и он. — «Брал-бы господь. Мучится дюже... вся в пролежнях. Третью неделю горит».

* * *

На утро, чуть светало, поехали дальше.

Повез тот-же почтарь.

Другого в деревне не было. Он и не ложился, а подремал у печки, не раздеваясь. Темно еще было, пошел опять лошадей собирать у соседей. Поел хлеба

с горячим, как кипяток, жиденьким чаем, и удивился, что предложили сахару.

«Непривычны мы с сахаром».

Взял кусочек и кусал от него крупинки — остаток положил за икону богородицы.

«Все поминают богородицу и икону богородицы... Плохо им жить с богородицей, отчего же не переменят на другую икону...» — подумал Арсений и улыбнулся своей мысли.

Вспомнил пословицу вычитанную у Даля — «Не тому Богу молишься, коль не милует».

* * *

Степь переходила в холмы. Холмы в горы. Татарская деревня стояла уже у гор на речке, промерзшей теперь до дна. Сейчас за деревней шел лес на сотни верст.

Было дико, величественно. Совсем незнакома, неожиданна была эта живописность, напоминала австрийскую Штирию или Тироль, где недавно ехали.

Гришка интересовался другим; он допытывался у всех о ценах на рабочие руки, на лес, подсчитывал что может дать каждое дерево, если бы его доставить в Петербург или на германскую границу.

В татарской избе не было того смрада, что в прошлую ночь. Хозяева ходили в чулках. Половину комнаты занимал широкий помост, как эстрада, застланный цыновками и кошмой. На нем и обедали, и спали.

«Как дорога дальше?» — спросили татарина.

«Ладно... якши» — ответил тот. — «Шайтан ходил, бурину ломал... дорога якши, бик якши...»

Это значило, что был буран, много лесу наломало.

Дорога шла узенькая, среди пней и деревьев. Лошади ныряли, оглобли скрипели и уже давно должны были сломаться. Сани шли боком, то влево, то вправо, стукались о деревья...

«Шайтан ходил, бурину ломал», — опять пояснил татарин, и показал кнутом на вывернутые деревья.

* * *

Когда-то в Воскресенском был медный завод, и помещик переселил сюда крестьян из своих рязанских имений, чтобы возить к заводу лес и руду. Руду возили за двести верст. Крепостное право ушло, но положение крестьян не изменилось. Теперь они возили лес не к заводу, а на сплавные речки, и цены платили принудительные, потому что другой работы не было.

Лето было свободно, лошади табунами бродили по лесу, уходили за десятки верст. Сколько ему было надо, съедал медведь. Зато как только становился санный путь, начиналась страда.

Девственный лес покрыл сотни верст. Мелкослойные лиственницы, твердые, как железное дерево. Такие тяжелые, что их нельзя было сплавлять. В два-три обхвата. В иных местах трудно было пройти от упавших и гниющих деревьев.

Лес ни во что не считали. Там, в степи, подбирали всякую щепку, сухой кустарник — тут не знали ему цены...

Но крестьянам воспрещалось взять хворостину. За дрова платили «от дыма». На постройку покупали сухостой. Платили за сенокос, за пастбище, за право гнать смолу из пней. За право выжигать уголь.

Все это узнали по дороге, и Гришке все нравилось.

«Никаких тебе там сервитутов... моё, так моё...» — улыбался он.

Гришка в детстве жил на лесных заготовках, но такого леса он не видал. Только покачивал головой.

* * *

На третий день добрались до села Воскресенского. Верст семьдесят ехали по даче, пока въехали в село.

Гришка смотрел уже как на свое, и сердился, что в одном месте лес был вырублен у самой дороги.

Остановились в доме управляющего. Мелкий банковский чиновник, жил здесь уже несколько лет, опустился и спился от тоски. Дом срублен из десятивершкового леса. Жарко как в бане. Лампадка у иконы. В клетке с колесом белки. На столе газета «Свет», доходившая сюда через месяц...

Управляющий не знал об их приезде. Отнесся сначала недоверчиво, хотя обрадовался, как радовались тут всякому новому человеку: часто по месяцам никто не проезжал. Подарили ему бутылку коньяку, и он сразу размяк, проникся доверием и стал откровенен.

Дней пять ездили по даче. Но и без того было уже ясно, что надо покупать, богатство колоссальное.

«Зря смотрим», — говорил Арсений. — «Если бы леса в десять раз меньше было, и то выгодно».

Полетели телеграммы в Петербург. Посылали с нарочным за сто тридцать верст.

* * *

Воскресенская дача была куплена.

Сидор все гладко обделал. Купили за гроши, и еще по особому распоряжению министра финансов были рассрочены на пять лет крепостные пошлины.

Доклад Хабарева доказывал, что Аристарховы облагодетельствовали казну, избавили ее от этого убыточного имущества...

Сватовство приходилось отложить. Нельзя было уехать до весны, до сплава. Сплав — самое горячее время, напряженная работа, от его удачи зависит весь годовой доход.

Гришка вдруг преобразился, на него нашло вдохновение.

Леса всего не вырубить и в десятки лет, и сколько ни сплавить — все будет продано, раз строится дорога на полторы тысячи верст по голой степи, и даль-

ше на юг лесов нет. В один год можно вернуть всю стоимость именья.

Не обращая внимания на протесты управляющего, Гришка повысил плату, лишь бы срубить и вывезти как можно больше.

«Нельзя теперь рубить... Поздно», — говорил управляющий.

«Жарьте», — стоял Гришка на своем.

«По утвержденному плану нельзя рубить».

«Ну его к нечистику, план».

Телеграфировали Сидору, чтобы переводил больше денег на заготовку.

«Не вывезем до сплава», — урезонивали приказчики.

«Не вывезем, так не вывезем», — стоял на своем Гришка, и, не обращая внимания на протесты местных крестьян, нанимал башкир из дальних районов. Услышавши, что Воскресенская дача платит больше, башкиры побросали свои «контракты» в соседнем казенном бору и ехали сюда. Около конторы была ярмарка: стояли сотни башкирских санок, две лавчёнки в селе торговали небывало. Башкиры кинулись брать «залаток» (задаток); его выдавали чаем и бараниной.

Брали и уезжали не на работу, а домой, в деревню. Пока это сообразили, сотни полторы таких «залатков» удрало.

«Не пропадет», — уверен был Гришка. — «Тут тебе не Петербург, все один одного знают».

Он был прав. Послали объездчиков, и те вернули беглецов, иногда воздействуя мерами решительными — по морде, или плёткой. Заготовка шла лихорадочно: так никогда не работали. Кругом поговаривали:

«Эти двое молодых из ранних влопаются. Затратят тысяч двести и сядут со сплавом... И по закону нельзя».

Гришка улыбался их детскому представлению о законе:

«Закон, что дышло, куда повернул, туда вышло», — повторял он сентенцию Сидора.

* * *

На маленьких саночках, по одиночке, без кучеров, ехали на лесную заготовку. На одну из речек, куда вывозился лес.

Мороз еще держался, было градусов тридцать. В шапке с наушниками и в громадной дохе было только впору. Намазали лица жиром, а то в первый раз с непривычки отморозили носы и уши. Лошади шли рысцей, сами держали расстояние. Возжи можно было бросить: сами знали. Да и знать нечего: свернуть некуда, узкая дорожка, еле проехать, чуть наезженная, извивами, норовя по хребтам между речек, чтобы не было крутых спусков и подъёмов.

Прозрачно, сухо, неподвижно. Холодная, чистая тишина. Ни птицы, даже ворон нет. Только мягкий топ некованых копыт по снегу и поскрипыванье полозьев. Дышать легко. И тридцати-градусный мороз не жжет, бархатный. Солнца нет, а ярко, как при полуденном солнце...

Но Арсения тянуло в город. Его трогала эта девственная природа первые три-четыре дня, а потом захотелось опять скорей в большой город. Много свежих книг, газет... Мысль безучастно скользила по однообразной, белой снежной глади и останавливалась на женщине. Не на какой-либо определенной женщине: он думал не о Зине, не о Манечке, не о Китти даже. Думал о женщине вообще — изящной, стройной, с красивыми ногами и руками, с задорным личиком, с одуряющим ароматом женского тела... О женщине со вкусом, с врожденным чувством красоты... и она его любит... «Любит только его... За что?!» — останавливалась мысль. Что он такое, что его должна полюбить такая женщина?!..

«За что?!.. А Гришку?.. Гришке она могла бы отдаться за его звериную страсть, — ведь на это

бросаются женщины, — а особенно и наверное за его миллионы... Миллионы!.. Да, да, за миллионы, понятно... За каждую десятину этого леса можно купить прелестную женщину, а за весь лес вместе — можно купить, что угодно... Ведь женщин покупают до сих пор... И человеческие души тоже покупают...»

У Гришки сватовство выскочило из головы, и теперь разговоры были только о бревнах: сколько сплавим, сколько из бревна выйдет шпал? Он довольствовался теперь одной местной Грунькой, воплощавшей в своем лице дом терпимости села Воскресенского.

Ехали часа три, все той-же мерной рысцой. Шагом кое-где в гору. Верст тридцать уже — и все тот же девственный лес, конца нет. Где и вырублено немного — с дороги не видно. Гришка показывал рукой на лиственницы и переговаривался с ехавшим впереди управляющим:

«Вот так бревёшко!.. Сорок шпал из одного выйдет. Ну, деревцо!.. Полсотни одно стоит!»

Потом оборачивался к Арсению:

«Если таких мильончик, сколько, брат, выйдет?!..»

* * *

Вдалеке уже слышались удары топора.

«Здесь башкирцы рубят», — сказал объездчик.

Подъехали к дымку. Дым шел из земли. Сразу трудно было понять, откуда. Войлочная юрта постепенно вросла в трехаршинный снег. Через дыру вверху шёл дым, а сбоку было отверстие, точно ход в нору. Арсений полез посметреть, сняв доху. Тотчас вылез обратно.

«Глаза ест, невозможно... и грязно как! Как они там живут?»

«Не живут, спят только, Арсений Павлович», — пояснил объездчик. — «Сейчас оно ничего, а вот ночью, когда огонь побольше разожгут, хужее много... Глаза начисто выесть может...»

«Так как-же они спят?»

«Да как спят?.. Подсунут головы под кошму споднизу, в снег и дышут, а ногами к огню. Как спицы в колесе, так и спят... Заснёт другой, да ноги в огонь и всунет, ажно палёным мясом запахнет, как подпечет...» — смеялся объездчик, — «Чудной народ...»

«Для чего же они юрту в снег закапывают?»

«Ставят-то сверху, да потом она вниз втаивает от костра. Да новым снегом заносит. Откапывать башкирин разве станет?.. Пришел с работы и лёг — уж не двинется, хошь вся нога сгори...»

Пошли на гул топора. Башкир, в кафтане разстегнутом снизу до верху, прямо на голом теле, с голой грудью, в маленькой засаленной шапочке, ловкими ударами перерубал уже поваленное дерево. У башкиров пил нет: было удивительно смотреть на эту безумную работу. От башкира валил пар, как от разгоряченной лошади.

«Простудишься так», — сказал Арсений.

«Зачим простудишься... чай пить будем...» — показал башкир белые зубы.

«Ревматизмой все болеют», — пояснял предупредительно объездчик, сбивая кнутовищем снег с валенок. — «Лет в сорок ни один не ходит... скрючит совсем. Чудной народ... Ленóй...»

А Гришка с управляющим все мерил бревна, подсчитывал, сколько из которого шпал выйдет. Тут он проявлял смекалку. У него ясно строилось в мозгу, как бревно нужно пилить, чтобы вышло больше шпал. Он тыкал тёплой меховой перчаткой в гнилые места на бревне и рассказывал, как бы сам себе, как нужно пилить, чтобы гниль попала внутрь шпалы и была незаметной. В решении таких задач он находил особое удовольствие. Арсений смотрел с любопытством и даже с завистью:

«Нет!.. Я своим и колебаниями и философствованиями не сделаю миллионов, как Гришка с Сидором».

«Сплавить-бы только», — вставлял управляющий.

Он был глубоко убежден, что сплавить столько лесу нельзя.

«Сплавим», — говорил Гришка твердо.

И Арсений, привыкший считать его слабовольным, ограниченным, тут заражался этой уверенностью, и ему тоже казалось, что действительно сплавят, хотя управляющий и объездчики опытны в этом, а Гришка новичек.

«Во всяком случае Гришка действует умно. Даже если он сам колеблется, нельзя показывать это колебание другим... Уверенность заражает. Чтобы управлять массами, нужно не спрашивать, а приказывать...»

XVIII.

СПЛАВ.

Солнце быстро съедало снег. Водоразделы и южные склоны оголились; низинки еще белели. Всюду журчало. Маленькие речёнки, летом совсем исчезающие, теперь час от часу вздувались, выростали в бурные потоки. С шумом неслись в степь.

Невидимые ручейки на ночь затихали, а речки шумели и ночью. Отдаленным, глухим громом обваливался в воду берег. Все меньше становилось белых пятен. Земля просыпалась...

Арсений с двумя объездчиками второй день жил на сплавной речке. Спал в войлочный «кошевке». Ожидали момента, когда начать сваливать лес. Гришка был на другой стороне перевала, верст за сорок, на другой речке. Верховые ездили с письмами; объезжали окрестности и сообщали, сколько остается снегу.

Сплавом заведывал старый татарин Девиш, лучший специалист в крае. Он уже сорок лет сплавлял лес. Его переманили, соблазнивши большим окладом. Он тоже ездил всё время по лесу, смотрел на быстро уходящий снег и еще на какие-то, ему только известные, признаки. Сбросить лес рано — разнесет по тугаям; опоздать — не доплывет... Высокая вода держится всего несколько дней. На этот раз было особенно трудно: лесу заготовили небывалое количество. Девиш качал головой, смотря на громадные штабеля бревен:

«Рано бросаешь — деньги теряешь, поздно бросаешь — лес теряешь... Правильно время бросаешь — подарки получаешь... Хозяин хороший, бик якши хозяин... Правильно бросать надо. Правильно Девиш знает».

Тысячи рабочих, сплошь башкиры, лагерями расположились на берегах. Спали на мерзлой земле.

* * *

Часов в пять вечера от Девиша пришел приказ «валить бурину». Как можно скорей валить. Все сразу ожило, заколыхалось, засуетилось, задвигалось. Бревна с тяжелым шлепаньем стали падать в воду. Проплывши немного, они цеплялись за берег, их нужно было отталкивать баграми, иначе наскакивали другие, и река быстро запруживалась, делался «залòм».

Реченки широко разлились по тугаям. Чтобы подойти к бревну по пояс лезли в воду, а то и по горло. Вода ледяная, вместе с бревнами плывут льдины.

Башкиры с гиканьем и смехом барахтаются в воде. Никто не жалуется, что холодно. Гул стоит над рекой. Пар идет от тел. Багры стучат по бревнам...

Речка живет. Темнеет...

Уже темно, а гул все стоит...

Шлепанье затихает. Зажигаются костры. Мокрые, продрогшие, вылезают люди из воды и жмутся к кострам. Их ждет радость — чай! Густой, как смола,

без сахару. Смеются, скалят белые зубы.

Подмораживает.

Кафтан твердой коркой замерзает на теле. Не помогает и чай.

Дрожат. Всем у костров места не хватает — ложатся, где попало. Жмутся друг к другу. Один другому суют пятки под мышки и дышат в голые ноги, чтобы согреться.

* * *

Арсений встал рано, еще солнце не взошло. Было холодно в походной кровати.

За ночь все покрылось инеем, побелело, точно засыпало снежком. Река и тугаи затянуты туманом. Холодно даже после горячего кофе.

Смотрел на сотни спящих людей, ходил среди них, и казалось, что это трупы. Во всяком случае, не люди — разве люди могут так жить?!

Один за другим трупы стали шевелиться. Опять сильнее загорелись костры, хотя мокрые сучья плохо горят. Кашевары сгребали уголь с тех мест, где ночью горело, и клали туда большие лепешки крутого теста, засыпая горячей золой. Кипятили в котлах чай...

Опять все галдело, гикало, смеялось.

Опять зашлепали бревна, и опять эти странные существа полезли в ледяную речку.

«Это не работа, а самоубийство», — думал Арсений. — «Лес Гришкин, а что, если бы ему самому предложить лезть в воду или потерять весь лес?.. Не полез бы...»

«Как эти люди живы остаются?» — спросил объездчика.

«Знамо дело — башкирин...»

«Как они не простужаются?»

«Отчего не простужаться... Дюже простужаются... Много мрёт потом...»

* * *

В два дня лес был свален. Верхòм ездили вдоль речек, пробираясь по крутым тропинкам; караулили, нет ли где залома, не сидят ли зря башкирины.

С одной из речек сообщили, что там со вчерашнего дня большой залом. Послали немедленно еще восемьдесят башкир и двух объездчиков. Часа через три снова сообщили, что залом разобрать не могут, все увеличивается.

Арсений распорядился послать по фунту солёной баранины на человека и поехал сам. Привычный иноходец быстро пробирался по крутому обрыву над рекой.

«Не бойтесь, Арсений Павлович», — говорил объездчик. — «Дайте ему только волю».

Тысячами бревен загородило речку. Вода поднялась: лес стало разносить по тугаю. Это самое опасное: когда вода спадёт бревна не вытащить из топкой грязи между кустов. Сотни три с гиком копошились в воде. Увидевши хозяина, начали еще больше гикать. Потом еще больше, когда им сказали о баранине...

Только к вечеру удалось разобрать. На этой речке было неблагополучно, все задержалось на сутки. Арсению было неприятно, что это у него. На утро узнали, что на Гришкиной речке еще больший залом, и до сих пор не разобран. У Арсения отлегло.

* * *

В волнениях прошло три-четыре дня. Ночевали уже на новом месте — ниже.

Вечером, когда затихала человеческая суета, нарастали другие звуки. На крутых поворотах подмытый берег с тяжелым гулом падал в воду. В кустах кричала ночная птица. Еще какие-то непонятные, издалёка идущие звуки стояли над черной рекой. Мысли шли непривычно.

Тысячи людей спускались вместе с лесом и спали все так-же на голой земле, все такие-же мокрые, и все так-же их подмораживало.

«Какие у них радости? Это не жизнь, а кошмар наяву... Когда-нибудь поймут же они, что возможна иная жизнь... Как-же тогда с миллионами?» — думалось Арсению.

Речка становилась шире, полноводнее. Соединилась с несколькими другими. Дальше можно было ехать в лодках.

«А башкиры?»

«Пешком».

Так пешком, до самого Урала, тысячу верст и пойдут. Объездчик удивлялся, как это можно думать, чтобы везти башкирцев в лодках: где же взять столько лодок, да и какой был бы расход.

На поворотах лодки подбивало к подмытому берегу. Две перевернулись, ударившись о камни — и чай, и баранину подмочило. Башкиры бросились спасать тонувший чай, надеясь припрятать кое-что, своровать. За пачку чаю рисковали жизнью.

* * *

Речки слились в одну. Воды теперь было довольно, и она уже села в берега. Самая трудная часть сплава прошла. Все удалось. Управляющий только руками разводил.

«Столько лесу отродясь не сплавляли... Счастье вам от Бога, ни что другое...»

Дело было не в счастьи. Излучения успеха шли от Сидора. От него восприняли, как надо вести дела.

...Людей набрать поумней («умный часто мошенник бывающий — так ты его заинтересуй, чтобы евоные интересы вместях с твоими были...»). Сманить от конкуррентов, обещать золотые горы и жать их потом до последнего, выжимая деловую энергию. А те в свою очередь должны выжимать ниже стоящих, и так до самого низу. В одном случае пригрозить, в другом обещать подачку. Особенно тогда пригрозить, когда знаешь, что у него ничего другого в виду нет...

И все сводиться должно к одному: захватить как можно больше и захватить сегодня, а не ждать до завтра.

Во время рубки и вывозки, когда норма была заготовлена, объявили полуторную цену за то, что будет сработано сверх. Более лошадным крестьянам обещали даром покос, если постараются и другим пример покажут. Лошадей замучили, замучились сами, но вывезли вдвое...

На работах, где платили подённо, ставили несколько своих, получавших тайно добавки, и эти гнали во всю, и другие должны были поспевать. Среди служащих та-же система: некоторым платили премии и те подгоняли остальных.

Сидор сидел в Петербурге и добывал наличные деньги. В учётных комитетах банков он рассыпался мелким бесом, каждого старался заинтересовать в своих делах, щедро раздавая обещания.

* * *

Сидор учил, бывало:

«Скажем, каменное, стенку кладущее... На углах поставь перворучников, дай сорок копеек награды каждодневно и накажи в носу не ковырять... подлил кирпичину и дальше ряд зачаливающий... не чешись, а остальные на зачалке, хошь не хошь, а должон быть поспевающий...»

Была еще у Сидора так называемая заковыка:

«Надо знать, на каком свете стоящий, а много болтающий тоже не делец... Примерно, пинжак заказываемый аль два пинжака. Выторгуй крайнюю, посули ему заказов охапку, если хорошо сшитое... сродственников и знакомых рекомендуемых, а насчет подкладки шелковой умолчи... Когда все сговоренное мерка снятая, вкус у его раздразненный, слюньки текущие, тогда ему «заковыку» шелковую... так и так, как хотишь, я эту цену с шелковой имел в виду... Прыг-фрык, а заказа жалко... Ну, ты ему еще пятерку в виде одолжения, ён и согласится... А скажи

сперваначалу про шелковое, она тридцать дополнительных... Заковыка во всяком деле имеющая, только своевременно должна быть выдвигаемая...»

Сидор рассказывал еще про хомут:

«Счет за муку выписываемый, а ён конторщику велит — припиши хомут... Какой хомут, говорит, Тарас Сафронович? Хомута не продавали... А ты припиши, дурья голова, не твоего ума дело — есть у него хомут, покупал когда нибудь... За что счет ни пишут, а все в конце хомут приписываемый: «хомут — восемь семьдесят», и подъитожено правильно... Счет тебе за меблировку, а в конце хомут фигурирующий!.. Хи-хи-хи... И что ты думаешь? Плотют, один из десятка вломается в анбицию — какой-такой хомут, не знаю никакого хомута... Тогда Тарас Сафронович на попятное — ошибка, говорит, происшедшая, один Бог без греха, лошадь о четырех да и та спотыкающаяся... Извините, говорит... Хи-хи-хи... Хомут дело маленькое и не рекомендуемое, не божеское, но отсюдова последствие выводимое — несмотрящий и непроверяющий, дурак-дураком, и в убытке остающийся и тому подобное... Береженого Бог бережет, а не с потолка хватающий, раз-два и готово... Нет, ты проверь, пошевели мозгами, а не манкирующий, и тому подобное...»

* * *

Жили опять вместе. Каждый в своей юрте. Вечером приходил Девиш, собирали старших объездчиков, советовались. Девиш рассказывал в десятый раз о капризах и случайностях сплава, но о самом существенном хитро умалчивал.

«Хороший сплавщик — один сто лет родится», — уверял он. Рассказывал о «кортомах». На днях должна быть кортома недалеко, верст за семьдесят. Арсений уговорил Гришку поехать:

«Два дня потеряем, за то увидим, как это делается... может пригодится».

Белорецкие заводы кортомили еще семьдесят тысяч десятин башкирского леса. У заводов был свой лес, и запас топлива был громадный, но на удобных местах все уже было вырублено. Было выгоднее закортомить новый лес: лес стоил меньше, чем его доставка.

О кортоме знали в окру́ге верст на двести. Ждали как большого праздника. Съехались не только башкиры, номинальные собственники лесов, но и более дальние, не имевшие прямого отношения к этому лесу, пользовались случаем погулять на кортоме. Некоторые даже сплав бросили.

Кортому устраивал специалист Белорецких заводов — Андронов. У него всегда шло гладко. Аристарховых пригласили, как почётных гостей. Девиш написал своему приятелю «ахуну», и тот пригласил.

* *
*

Для кортомы было закуплено тысячи две пудов соленой баранины, тысяч пять фунтов чаю, мука, немного сахару, белила и румяна, сласти. Сложили все в юртах на пригорке около леса, вблизи большого башкирского села. В селе жил ахун.

Ахун был в сговоре с Андроновым и, в случае успеха, получал три тысячи.

Кроме баранины и чаю было назначено раздать двадцать тысяч деньгами влиятельным башкирам. Те вели агитацию в своих деревнях. Башкиры ехали на кортому уже подготовленными. Никто из них договора не читал и подписывали не они, а выборные, те самые, которым были обещаны деньги.

Договор был о том, что заводы берут в аренду леса таких-то и таких-то башкирских селений и общин на шестьдесят лет, с исключительным правом рубить лес, сколько понадобится, и платят за каждое доставленное к сплавным пунктам бревно столько-то. Цена назначалась не выше теперешней платы за одну доставку: самое бревно приходилось даром!.. Сами же

владельцы-башкиры и должны были доставлять этот лес.

Об абсурдности условий они не задумывались.

В течение шестидесяти лет цена леса должна возрасти на сотни процентов. Уже через год-два башкиры возили бы свой лес дешевле нормальной платы за одну подвозку.

Так было всегда и раньше, с прошлыми кортомами. Так должно было быть и теперь...

* * *

Сколько глаз видел, был башкирский лагерь. Съехалось народу больше, чем ожидали. Горели костры, ржали лошади. Стоял гул. Настроение у всех было радостное, ожидание обильной еды.

Два объездчика верхами сопровождали Аристарховых. Башкиры снимали шапки и кланялись. Указали дорогу к дому ахуна. Там уже ждали с угощением, как для богатых гостей — биш-бармак, печенье с медом, чай с салом и сахаром, вареная и жареная баранина, молоко, кумыс.

Андронов был как дома. Уже все сговорено, и завтра вечером, когда все наедятся до отвалу баранины, а выборные выпьют тайком водки, начнут ставить подписи под договором. Все неграмотны, и вместо подписи поставят кресты или палочки, а земский начальник засвидетельствует.

Андронов сначала насторожился, увидя новых людей. Но потом успокоился и старался дать понять, что, если понадобится, может устроить и им все, что угодно. «Лишь бы Петербург утвердил». Гришка сейчас-же напустил туману, что в Петербурге они — свои люди, и что угодно могут утвердить. Андронов растаял и стал откровеннее: говорил, что есть в виду необычайно выгодные дела, что можно бы уничтожить существующие уже контракты на башкирские земли и «перекортомить для себя...»

«У заводов там тоже сильная рука... Бывший министр крупным акционером состоит. Но по закону неправильно, можно бы нарушить и отнять...» — откровенничал он.

Гришка рад был что поехал.

«Надо Сидору писать... большое дело...» — решил он.

* * *

Вернулись на сплав. Все шло благополучно. Проходили зады. На следующий день надо было сниматься, плыть ниже.

Прошло еще несколько дней.

Уже к ночи объездчик привез из Воскресенской конторы телеграмму.

Адрес сразу удивил Гришку: полное имя, отчество, фамилия. Он прочел, развел руками:

«Вот-те фунт!..»

Дал телеграмму Арсению.

> «Милый мой славный вернулась из Монте-Карло ты моя жизнь стоп страшно тосковала не могу без тебя поехала тебе стоп тебя нет еду стоп завтра твой лес стоп хочу тебя Катишь».

«Вот-те фунт!» — повторил Гришка.

Объездчики вышли из юрты, видя, что что-то секретное.

«Это твоя светлейшая?!.. Здорово! Она сюда прикатит...»

«Что-ж делать?!»

«Чтобы не ехала, телеграфировать поздно, уже, вероятно, выехала».

«Чорт ону знает, что ей в голову втиснулось... Как хотишь, так и выкручивайся», — перешел Гришка на свой жаргон, от волнения забывши все правила хрестоматии.

«Что-ж делать?..»

«Поезжай скорей в Воскресенское, пока она сюда не приехала... Однако, она действительно в тебя втю-

рилась», — утешил Арсений, — «если с ее маникюрами и педикюрами сюда решились ехать... Вероятно, с ней и горничная... Хотел бы я их тут видеть!..»

Гришка был и обеспокоен, и доволен.

«Еще чорт ону знает, может через ее агромадные дела сделаю. Огласка вот только... Такую бабу не спрячешь, от одних духов, лес пропахнет...»

Был предлог уехать — ему уже было невтерпеж с одними мужчинами.

Рано утром Гришка выехал в Воскресенское. Всю ночь просидели с Девишем и с объездчиками, советуясь и обсуждая. Совсем не спали.

Было решено, что Арсений пойдет дальше со сплавом, а через шесть-семь дней Гришка нагонит их.

* * *

Через неделю было получено письмо от Гришки: надо распорядиться относительно канатов для приема леса, а он, Гришка, болен и ехать сейчас не может. Арсений в тот же день выехал вниз.

В маленькой плетушке, тройкой, делали верст пятнадцать в час. Опять была степь, дорога в полверсты шириной — каждый едет, где хочет... Степь еще не цвела, но была зеленая, свежая, молодая, бесконечная.

Работа была новая, экзотичная. Канаты — необычайные. Их срочно заказал Сидор и они уже прибыли. Толщиной в четверть аршина, длиной в версту.

«Точно гигантские удавы с другой планеты... свернулись кольцами и греются на солнце... Потрудитесь на аристарховские миллионы!»...

Думал Арсений, проходя мимо. Он порою ненавидел Гришку, но сегодня с полной напряженностью мысли воевал за его миллионы, за аристарховское богатство Всякий промах считал личной обидой. Теперь, в критический момент, просыпался ночью в тревоге — не забыл ли чего нибудь, не предусмотрел?..

В реку забивались сотни свай и по ним протягивался канат. Река перегораживалась по диагонали и лес сгонялся таким образом к месту выгрузки. Оборвись канат, и весь лес уйдет в Каспийское море: надо было строить запасные канаты, подсобные. Целая, сложная система.

Делалось и раньше, но никогда не было в таких размерах: никогда не сплавлялось столько.

Теперь уже все знали, что с будущего года строится железная дорога. Шли изыскания, формировалось построечное управление.

Те, кто ближе стоял к делу, ахали и охали, как могли упустить Воскресенскую дачу, отдать ее каким-то чужим, из Питера. Одни уверяли, что за Аристарховым стоит важный сановник, министр, даже великий князь — они только подставные лица. Другие были уверены, что Аристарховы купили дачу на-фу-фу, что им не справиться с таким делом — лопнут...

Местные лесоторговцы решили бойкотировать Аристарховых, чтобы они засели с лесом и выдохлись, пока лес понадобится железной дороге в таком большом количестве. Пайщики Белоцветовской компании, самого крупного лесного дела в крае, были членами учетных комитетов в местных банках, и решили принять меры, чтобы Аристарховым не открыли кредитов.

«Задушим, как пить дать... И лесок за полцены купим к следующей весне...» — посмеивались они.

Особенно уверенно говорил старик Белоцветов, глава дела. Маленький сморщенный старичок, без бороды, с большими седыми усами; на тоненьких ножках, с животом-барабаном. Не то украинец, не то киргиз.

Говорили, что в молодости он бежал откуда-то в киргизскую степь, поступил приказчиком к богатому купцу, сошелся с его женой, и купец скоропостижно умер — Белоцветов его задушил... Теперь уже давно он был миллионером, руководил самым большим делом в крае, был крупным домовладельцем, гласным и

председателем всяких обществ. Он уже привык быть богатым, и о том, что кто-то может стать ему поперёк дороги здесь, у него дома, он и не думал.

«Приехали какие-то хлыщи, скоро выхлестаются... Много мы таких видали», — говорил он и спокойно ждал, когда придет момент прибрать к рукам лесок Аристарховых, как он прибирал до сих пор всякий другой. Постепенно он душил мелких лесопромышленников.

Арсений прислушивался, старался со всеми знакомиться, телеграфировал Сидору в Петербург.

* * *

Светлейшая вернулась из Воскресенской дачи. Пробыла несколько дней в городе. Блистала. Заняла три самых больших номера в лучшей гостинице. Таких бриллиантов тут никогда не видали...

«Может быть поддельные?..» — не верили скептики, но всем хотелось ее видеть, только о ней и разговаривали. Даже губернатор переполошился после доклада полицеймейстера, что это «светлейшая княгиня из Москвы», и колебался, не поехать-ли с визитом. Городовой на всякий случай был поставлен у гостиницы и доносил обо всем.

Она встретила Арсения мило и радостно.

«Милый мальчик!.. Как я рада вас видеть», — говорила она, целуя его лоб и наполняя все кругом своими духами.

«В Воскресенском было чудно... Такой страшный лес, джунгли, никогда в жизни не видала... Я так была счастлива с Грегуаром».

Ясно было, что у нее нет денег и что на Гришке она строит большие расчеты. Приехала, чтобы закрепить связь и проверить, действительно-ли он так богат, как говорил.

«Теперь она ухватилась за Гришку, не выпустит... этакая вцепится мертвой хваткой...»

Арсений колебался, как держать себя в этой истории, и решил быть в стороне.

«Пусть на всякий случай будет эта светлейшая... Мало-ли, как могут осложниться отношения...»

* * *

Поживши с Гришкой, он давно понял, что расчитывать на привязанность и благодарность этих людей не приходится. Выбросят за борт, когда будешь ненужен. Может быть, еще долго дадут жить в достатке, даже много тратить, для их же славы, но скопить ничего не позволят. Вспоминал одну из притч Сидора о каком-то приказчике, хорошем, исправном, и с большой смекалкой, «а как деньжонки зашевелились за пазухой, так точно мальца подменили...»

«Деньги — это двоякое... с одной надежнее, если у служащего деньги имеющиеся, доверие заслуживающее, с другой — пересиливающее, на чужое рот разевающее, вкус раскушавши... почему твоё не моё, и тому подобное... К хозяину отношение конкурирующее. Палка о двух концах, ты ее за один держащий, а она другим тебя по голове ударяющая...»

Уже несколько раз Арсению передавали, что Гришка говоря о своих миллионах, старался оговориться, что это их, братьев. Арсений де никакого пая не имеет; хотя и родственник, но в капитале не участвует...

Покупка Воскресенской дачи ставила Аристарховых окончательно на ноги, на настоящие миллионы — дальше миллионы сами пойдут.

Арсений подолгу сидел у светлейшей, обедал с ней, но отказывался кататься по городу. Считал, что не следует показываться слишком открыто...

В городе все больше интересовались этой невиданно помпезной дамой. Полицеймейстер уже кое-кому сказал, и на нее прямо ходили смотреть на главную улицу, когда она каталась. Шли нарочно обедать в

гостиницу, чтобы там рассмотреть. Киргизы останавливали верблюдов и низко кланялись.

Наконец, светлейшая уехала.

Долго еще в городе ходили сплетни: не знали, как ее связать с Аристарховыми и Воскресенской дачей. Решили, что это как раз и есть жена того сановника, который купил дачу. Уверяли даже, что это настоящая великая княгиня, только приехала инкогнито...

XIX.

«ПИКНИК.»

Казаки и башкиры выгружали лес. Канатами его прижало, как стаю саранчи, к низменному берегу. Сплошной мост покрыл реку.

Дрова вытягивали баграми; бревна захватывали крюками, и лошади тащили их по слегам.

Вечером горели костры. Пели, ныла гармоника, дрались.

Гришка расхаживал среди растущих штабелей, и для каждого пустяшного распоряжения делал глубокомысленное лицо, будто решал мировой вопрос. Приехавши после такой прогулки в гостиницу, он раздевался, надевал на усы бинт, клал зубы в стакан, ложился в постель и звал швейцара.

«Приготовил что-нибудь хорошенькое?»

«Приготовил, так точно, Григорий Данилович...»

И через полчаса появлялась девица.

Гришкины клиентки разгуливали по корридору гостиницы, как у себя дома, полураздетые. Уже все знали, что это к Аристархову ходят. Гришку это ни-

чуть не смущало, но Арсения бесило. Он пробовал усовещивать, но Гришка продолжал свой режим.

«Чем им девочка мешает?!.. Я не могу без девочки, голова не работает...»

Одна из них выскочила как-то из номера, растерзанная, в слезах, и бегом пустилась через всю гостиницу. За другой явилась наглого вида старуха, будто ее тётка, и стала колотить в Гришшкин номер кулаками. Со скандалом ее вывели, после того как из двери голая гришкина рука просунула ей двадцатипяти-рублевую бумажку.

Молва о Гришке уже шла по городу. Многим женщинам его похождения нравились, возбуждали любопытство и другие чувства. С одной из местных дам Гришка познакомился у зубного врача, она пригласила его к себе в дом, и через два дня Гришка приехал от нее с масляными глазками...

* * *

«Мы приехали сюда миллионные дела делать, а нас никто не знает. Нигде ты не бываешь, не заводишь связей, до сих пор не знаком с губернатором», — учил Арсений.

Гришка соглашался:

«Да... да, познакомимся... отдохну только маленечко».

В городском саду губернаторша устраивала лоттерею в пользу местных приютов. Арсений узнал, когда оканчивается лоттерея, и они явились туда с Гришкой к концу, одетые до смешного одинаково.

К этому времени должно было оставаться уже мало непроданных билетов. За одним из колес оказалась гришкина знакомая. Пошли к ней. Гришка, следуя намеченному плану, купил все оставшиеся в колесе билеты. За этим колесом последовало другое и третье. Познакомились с женой управляющего казенной палатой, женой начальника штаба, с вице-гу-

бернаторшей, и, наконец, с самой губернаторшей. Купили все оставшиеся билеты...

В числе выигрышей была корова, с помощью некоторых махинаций оставленная на конец — самый большой выигрыш. Выиграли и корову.

Сенсация была полная.

Корову отдали обратно, и для нее устроили еще особую лоттерею. Билеты на корову быстро были раскуплены, и общая выручка превзошла ожидания. Гришка и Арсений были героями дня. Уже со всеми были знакомы. Поили шампанским, платя двадцать пять рублей за бутылку.

Гришка быстро пьянел. У него развязался язык, и он всем рассказал об их, аристарховских, миллионах... Было смешно, но большинство слушателей тоже были пьяны, и ничего неловкого не получалось. Все сожалели, что раньше не знали о появившихся миллионерах. Тут все вспомнили, что знаменитая Воскресенская дача куплена Аристарховыми и что таинственная светлейшая княгиня приезжала к ним...

* * *

«Генерал-губернатор северо-западного края, изволите знать, ваше превосходительство?.. Вот человек!.. душа человек», — говорил Гришка губернатору с наивной хитростью, чтобы дать понять, какие у них знакомые.

«На таком посту состоит и такой простой... Он у нас в деревне гостил, в шестьдесят шесть все играли по пять копеек... У нас подряды были тогда по казенным монополиям, и он всегда говорил: «Аристарховым можно дороже заплатить, за то все спокойно. Раствор, так раствор... десятифунтовое, так десятифунтовое... Фундамент, так фундамент...»

Губернатор слушал, — тоже подвыпивши — тоже ласково улыбался и был вполне доволен.

Пили шампанское с клубникой. Клубнику привез предводитель дворянства из своей оранжереи.

«Позвольте доложить, ваше превосходительство: корову выиграл околодочный Цапкин», — делая под козырек, но неофициально улыбаясь, подошел полицеймейстер. Он режиссировал благотворительные спектакли и играл сам, вместе с дочерьми губернатора. И всегда, когда устраивал полицеймейстер всем дамам подносили цветы, которые кто-то случайно присылал. Откуда-то были всегда деньги, и он ими не стеснялся для капризов губернаторши. Губернаторша была из прачек и сошлась с теперешним мужем, когда он служил в глуши. Она знала, что ей лучше поменьше разговаривать, и так и делала — или молчала, или повторяла заученные фразы. И выходило нисколько не хуже других дам. Когда у губернатора устраивались по необходимости званые обеды, всю провизию покупал по особо дешевым ценам, по случаю, опять же полицеймейстер.

«Он, ваше превосходительство, не хочет коровы. Куда она ему?.. Что он, ездить на ней по постам, что-ли, будет?! Смеются над ним... Не дать ли ему лучше десять рублей, вместо коровы?» — обратился он к губернаторше. Дали десять рублей, а корову увел пожарный в каске куда то».

* * *

Арсений шепнул Гришке и тот бухнул губернатору:

«Милости просим к нам, ваше превосходительство, хлеба-соли откушать... на пикник. Мы, так сказать, новые люди тут, не откажите... Чтобы ближе сойтиться».

Губернатор одобрительно покачал головой.

«Что-же так звать» — вмешался полицеймейстер, — «назначайте точно время».

Минут через десять вся местная знать, с губернатором во главе, была приглашена к Аристарховым. На следующее воскресенье, в семь часов, откушать хлеба-соли.

Гришка все продолжал ходить по большой террасе, со всеми чокался и уже по собственной инициативе искал, кого бы еще пригласить.

«А купцов как же?.. Купцов не позвали», — обеспокоился он, вдруг вспомнивши.

Действительно, никого из купцов не было, кроме городского головы.

«Завтра пригласим отдельно. Непременно пригласим... Без купечества нельзя, в учетном комитете купцы... Надо связи закрепить», — говорил Гришка, войдя во вкус.

«Пикник, так пикник!» — ему нравилось слово «пикник», а что на пикник звали вечером, никого не смущало.

* * *

Назавтра утром Арсений спросил:

«Ты помнишь, что вчера было?..»

«А что?!»

«Да ты знаешь, сколько ты человек в гости позвал?! Человек сорок...»

«Да что ты, брат?! Неужель сорок человек?!.. Как же быть-то? что-ж мы делать будем?» — схватился Гришка за голову.

«Не знаю... Нельзя-же звать в гостиницу... неприлично. Ты к нам домой звал хлеба-соли откушать, а вместо этого — в кабак. Это еще в столице можно, а тут, в провинции совсем скандал — звать в гостиницу... Да губернатор и не поедет, я думаю. Хороши миллионеры, у которых дома нет!»

Гришка совсем был растерян:

«Выручай, брат... Выручай как-нибудь».

Около выгрузки леса был заарендован большой участок земли, и на нем стояло три полуразрушенных дома, когда-то служивших дачами. Одну из этих дач теперь отделывали. Уже жила экономка, вдова инженера — ее выписали вести хозяйство, когда все устроится. Мужа ее знал когда-то Арсений.

Арсений решил в четыре-пять дней кое-как закончить ремонт дачи, купить какую попало мебель, разбить в саду палатки и туда пригласить гостей. Гришка только махал рукой и теребил усы.

Арсений поехал по магазинам. Покупал все, что попадалось под руку — стулья, ковры, лампы, посуду, цветы в кадках и вазонах, занавески для окон, три больших палатки. Окраску на даче приостановили, полы покрыли коврами разных цветов и размеров, какие нашлись в городе.

С хозяином гостиницы сговорились, что он даст лакеев и поваров. Меню составили громадное. Но поговоривши несколько минут с поваром, Арсений увидел, что тот, кроме «соуса пикан» и «шофруа» ничего не знает, и при этом «шофруа» было у него горячее!.. Предоставили повару делать, что умеет. Выписали телеграммой с Волги стерлядей и пуд свежей икры. Накупили рябчиков и кур раз в пять больше, чем требовалось на сорок человек...

Экономка едва в обморок не упала, когда ей сказали, что через пять дней будет прием с губернатором, и что будет «весь город».

Палатки к сроку не были готовы и пришлось взять три складных юрты из сплавного имущества. В них устроили закусочные столы. Пол на веранде еще не был готов и его настлали временно из нестроганных досок, и тоже покрыли коврами. Внутри дачи повесили лампы «Молния», а в саду развесили фонарики и из привезенных в кадушках растений сделали беседочки с диванами и столиками «для кофе».

Меню напечатали на атласных лентах. Водки и вина закупили на сотню человек, но больше всего шампанского. Арсений успокаивал Гришку:

«Сойдет... Все скрасим шампанским... Надо только всех так накачать, чтобы не помнили, как домой попали...»

* * *

Приехали все приглашенные, даже несколько лишних, чьих-то родственников, которых забыли пригласить. Оказалось пять барышень, из них одна смолянка, только что приехавшая из Петербурга.

Пошли в палатки закусывать. Сразу начался беспорядок, беготня лакеев. Не хватало то стульев, то тарелок, то салфетки забыли. Большое блюдо с горячей закуской лакей вывернул гостю на сюртук, и сюртук унесли замывать горячей водой, а пострадавшему надели гришкин смокинг! Все хохотали...

Барышни водки не пили, но зато, когда сели за обеденный стол, и вместе со стерляжьей ухой стали обносить шампанское, смолянка показала самый заразительный пример остальным четырем девицам. Беспорядок и сутолока избавляли от стеснений, и гости сразу почувствовали себя как дома.

Бокалы шампанского быстро опоражнивались. Настроение подымалось.

«А как-же, брат, если речи говорить зачнут?.. ты уж выручай», — беспокоился Гришка накануне.

«Тебе придется сказать два-три слова, как хозяину».

«Да как-же я скажу?! Ты знаешь, у меня не выходит.»

«Пустяки... Скажи просто — пью за здоровье дорогих гостей, ну, еще два-три слова, и довольно.»

«А если еще придется за кого?... А разве за губернатора не надо?.. Нет, ты уж лучше выручай, сам говори.»

Теперь, за обедом, выпивши шампанского, Гришка осмелел. Решил показать, что он старший и главный хозяин и, вообще, не какой-нибудь. Губернатор предложил тост «за наших молодых культуртрегеров, радушных хлебосольных хозяев». Все охотно выпили, все друг с другом чокались, сами наблюдали, чтобы чокаться полным бокалом. Всем дамам Гришка целовал ручки, в числе их и барышням. Смеялись, вышло даже совсем уместно.

* * *

Стало тихо только когда Гришка легонько позвонил ножом по бокалу — все замолчали.

«Позвольте выпить за здоровье наших самых дорогих гостей...» — Тут он запнулся, но продолжал.

«Мы, извините, тут чужие у вас, а вы свои, и вы к нам так сердечно отнеслись, что всей душой к вам тоже хочем навстречу...» — Опять запнулся... Начальник управления государственных имуществ хотел уже пить свой бокал и крикнул «браво!», но Гришка не успокоился. Все набирался пьяного задору. Как бывает у редко пьющих людей, язык у него вдруг особенно развязался:

«Мы люди маленькие, но с божей помощью накормим и напоим всякого, и у нас в доме не то, что какие-нибудь там разные, а сам генерал-губернатор хлебом-солью не брезгуют...»

Одна из барышень не выдержала и прыснула в салфетку. Гришка заметил, смутился, и хотел поправиться, но его окончательно прервал возгласом «браво!» управляющий государственных имуществ и полез к нему целоваться...

Были сыты и пьяны не только гости, но и повара, и лакеи, и два конторщика из сплавной конторы, взятыя для присмотра. Были пьяны кучера и два городовых, наряженные полицеймейстром, в виду присутствия губернатора. Был пьян пожарный дежуривший на лесном складке. Были пьяны все... Единственным трезвым лицом была экономка. На ее глазах еду и вино тащили, куда хотели, и она сначала кричала и пробовала прятать, но, увидя свое бессилие, перестала вмешиваться и только махала рукой.

Арсений на это расчитывал, это входило в программу: всех так напоить и накормить, чтобы потом долго об этом говорили.

«Если бы у одного сукина сына заворот кишек сделался, еще лучше бы было» — смеялись с Гришкой на следующий день. — «Дольше бы помнили...»

* * *

Сели за стол в восемь, а было уже двенадцать, и обед все продолжался. Пили ликеры, смешивали ликер с шампанским, с портером. Начальник государственных имуществ всем предлагал свою особую смесь, уверяя, что этот удивительный напиток знают только на Дальнем Востоке, не ближе Читы, и что он обладает магической особенностью отрезвлять самого пьяного!

«Если раньше не помрет» — добавил кто-то.

Губернатор с Гришкой и двумя чиновниками уселись в беседке. Гришка, икая, все вспоминал генерал-губернатора северо-западного края, а губернатор обдумывал, как бы ему встать так, чтобы городовые не заметили у него отсутствия чувства равновесия. Полицеймейстер был тоже пьян, но на всякий случай вертелся около губернатора.

В третьем часу ночи полицеймейстер придумал: коляску губернатора загнали в сад — хотя для этого пришлось в одном месте повалить забор — и подъехали к самой беседке. Всетаки, садясь, губернатор слишком размахнулся и сел не на сиденье, а за коляску, но там его подхватил на-руки городовой...

Остальные продолжали веселиться дальше. Стали разъезжаться уже утром. Гришка и Арсений поехали провожать. Начальника государственных имуществ пришлось отправить с конторщиком — стал называть все своими именами. Провожатый сам тоже еле сидел.

Через день, встретившись с Аристарховыми, начальник говорил:

«Последний раз я пил так в Сибири... Ну и молодцы вы! Это будут помнить...»

Действительно, по всему городу уже шел трезвон о пикнике Аристарховых, и добровольные статистики подсчитывали, что было выпито по пяти бутылок шампанского на брата...

XX.

БЕЛОЦВЕТОВСКИЙ КОНТРАКТ.

Расчеты Белоцветова не оправдались. Только успели лес выгрузить, как Сидор прислал миллионный контракт с управлением железных дорог на поставку шпал для строющейся дороги. Белоцветов ждал, что торги будут здесь, только следующей весной, а оказалось, что все уже сдано Аристарховым в Петербурге.

С кредитами тоже уладили помимо местных учетных комитетов. В Петербурге один из членов правления большого банка был заинтересован в деле, и местное отделение получило приказ из правления открыть Аристарховым кредит. Членов учетного комитета даже не спросили.

Знаменитый пикник сразу упрочил положение Аристарховых в общественном мнении. За первым пикником последовал второй, затем отдельные приемы для губернатора, потом для кружка, в котором играл роль управляющий государственными имуществами. Этот особенно был нужен: он мог чинить препятствия в рубке леса, требуя подчинения правилам лесорубочного комитета, а в Воскресенской даче рубилось теперь, как попало. Там где сподручнее, и сколько надо.

Управляющий не заставил себя долго уговаривать: условились платить ему пятьсот рублей в месяц, и за это он будет консультантом по составлению нового плана лесного хозяйства. Подразумевалось, что никакого плана не будет: кто там станет проверять где-то в Башкирии.

«Заместо плана Филькина грамота вполне удовлетворяющая», — писал Сидор из Петербурга.

Белоцветов уже несколько раз подъезжал к Аристарховым. Все были уже знакомы, уже вся белоцветовская компания была на очередном пикнике.

Осенью Белоцветов решил заговорить вплотную.

Пока у компании были еще старые контракты с казенными учреждениями, могли работать. Но они скоро кончались, кончались и запасы леса. Все теперь захватывали Аристарховы. Можно было покупать только казенный лес на торгах.

Торги предстояли на-днях, и компания опасалась, что Аристарховы и тут напортят. Надо было идти на соглашение.

Переговоры велись долго, собирались то у Аристарховых, то у Белоцветова в его богатом особняке на главной улице.

* * *

В белоцветовском доме был зимний сад и во всех окнах стояли цветы, целые цветочные витрины. Горожане ходили к дому Белоцветова смотреть в окна. Цветочных магазинов в городе не было.

Дом всегда пустой, темный, вымерший, ни живой души, как могильный склеп — а в окнах всегда цветы, полно цветов, как в цветочном магазине!... Эти цветы казались еще страннее рядом с самим Белоцветовым — жестким, холодным, вероятно никогда никого не любившим, с обвисшей складками кожей, заживо разлагающимся от сахарной болезни. Цветущая, яркая, радостная, ароматная жизнь, символы молодости и непреодолимого полового влечения — эти цветы, казалось, еще более подчеркивали умирание их хозяина.

Арсению казалось, что в доме пахнет не цветами, а трупом, — дом никогда не проветривался, было жарко и душно как в бане...

И непонятно было, что Белоцветов любит цветы.

Говорили часами о кубических футах древесины, о шпалах, о дровах, о сплаве. Арсений отвечал на вопросы и сам вставлял их, но думал об этих цветах. «Почему они здесь?... Они скоро умрут, как только мы съедим Белоцветова. Дом будет продан, и новый владелец выкинет их; надо, чтобы дом до-

стался нам, и я сохраню цветы... Нам... кому нам? Сидор и Гришка меня тоже выкинут рано или поздно. . Деньги, только деньги, свои деньги...»

* * *

Вдруг выяснилось, откуда пришли цветы.

Когда входили однажды в дом, из передней шмыгнула маленькая фигурка, закутанная в платок. Платок зацепился за дверную ручку и раскрыл худенькое бескровное личико девочки лет четырнадцати. Потом Арсений узнал: в доме жила старуха — она была и кухаркой, и экономкой, и хозяйкой. Белоцветов боялся ее, как призрака. Девочка, ее дочь, жила в доме с рождения и это она завела цветы, и ей не могли запретить ни Белоцветов, ни старуха, и тратилось на цветы много денег, и держали садовника.

Старуха знала прошлое Белоцветова. Знала что-то, чего он смертельно боялся, а для нее желанья девочки были законом.

«Вот, вот» — думал Арсений — «такой же пример, как я... Для людей необязателен дарвиновский подбор — в одно поколение люди меняются до неузнаваемости, до противоположности... В ней только мещанская, мужицкая кровь, а она любит цветы, как фарфоровая маркиза... Будущее за нами, мещанами... И не надо опускаться до масс, надо массы поднять до понимания прекрасного... В одно поколение можно сделать чудо...»

* * *

Белоцветов учитывал и то, что Аристраховы в полгода сумели стать своими людьми у губернатора. Он, Белоцветов, жил тут двадцать лет, на его памяти сколько губернаторов сменилось, и всегда он с ними был знаком только официально. А тут сразу дружба завелась.

«И в самом деле не стоит ли за ними какой-то министр или великий князь? Нет-ли специальных ин-

струкций губернатору из Петербурга....» — стал сомневаться Белоцветов.

Постепенно переговоры привели к тому, что компания покупает у Аристарховых всю заготовку на пять лет. Спорным пунктом, самым трудным, был вопрос о браке. Бракованого леса в Воскресенской даче было очень много. На мелкой почве, по каменистым склонам, лес рос медленно; прежде чем дерево было годно в разработку, оно начинало внутри гнить. Арсений это учел, и растолковал Гришке. Было ясно, что если вывозить весь лес, какой будет рубиться, то бракованого выйдет чуть не половина...

Как ни странно, Белоцветовы это не совсем понимали: до сих пор заготовки были небольшие и, чуть что похуже, бросали в лесу. Со сплавом приходил только лес хороший, и у белоцветовских специалистов не было и приблизительного представления, сколько может оказаться такого браку. На этом браке уперлись Аристарховы, сделали за него скидку, но не соглашались ограничивать количество.

* * *

Контракт был, наконец, подписан. В нем не было указано точного количества, а сколько успеют вырубить, все должны брать. Компания не возражала, полагая, что заготовка ограничена количеством людей и лошадей, а с другой стороны — чем больше, тем лучше: лесу пойдет теперь сколько угодно, раз дорога строится на полторы тысячи верст.

По случаю подписания договора был тоже устроен пикник. Обедали до восьми утра, был весь город во главе с вице-губернатором. Самого губернатора не было: он уехал ревизовать губернию. Ему срочно нужны были деньги, а прогонные на двенадцать лошадей и суточные давали несколько тысяч.

Гришка в восемь утра лег спать, старик Белоцветов уехал, а остальные остались играть в девятку. Играли целый день.

Полицеймейстер два раза приезжал к вице-губернатору со срочными докладами. Доиграли опять до вечера и уже во втором часу ночи всей компанией поехали в единственный в городе шантан.

Программа была уже окончена. Арсений сказал шутя вице-губернатору:

«Федор Григорьевич, прикажите пусть начнут программу сначала.»

«Артисты по домам уже разъехались... спят, ваше превосходительство», — попробовал возражать полицеймейстр.

«Пусть встанут!» — решил вице-губернатор.

Артистов разбудили. Программу начали сначала...

Ужинали опять до утра. Один из белоцветовской компании, маленький, хитренький, с киргизским лицом, Коломутин, был совсем пьян. Он сел верхом на стул, ездил по комнате, подъезжал то к Гришке, то к Арсению, и пел козлиным голоском:

«А затем-тем-тем....
Будешь мой совсем....»

Он понимал, что контракт закабаливает белоцветовскую компанию, но по личным соображениям не хотел этого выяснять компаньонам, предпочитал держаться в стороне и расположить к себе Аристарховых.

* * *

Результаты белоцветовского контракта сказались уже к следующему сплаву. Аристарховы заготовили лесу еще в полтора раза больше, и, когда стали сдавать, оказалось браку сорок пять процентов!

Компания взвыла. Доказывали, что гнилой лес нельзя сплавить, что половина его потонет. Но никаких оговорок в контракте не было — приходилось принимать и платить, а делай с ним что хочешь. В задаток были уже выданы векселя и уже учтены Аристарховыми в Петербурге. Гришка ласково говорил:

«Как же, помилуйте! Нам большой убыток, что столько браку... мы за рубку и вывозку платили одинаково, а получаем меньше... Это от Бога брак, а не от нас...»

Лесу сдали на миллион триста тысяч, и за остатки прошлогоднего еще причиталось тысяч четыреста

Была в контракте еще одна подробность, дорого обошедшаяся белоцветовской компании. Цены были установлены за кубический фут. Объем бревна высчитывался по диаметру. Первое от земли бревно всегда более ровное, а второе и третье «сбеглые». Поэтому в таксационных книжках имеются различные таблицы для расчета нижних и верхних бревен. Нужно было установить, какой таблицей пользоваться. Аристарховы обратились, как к специалисту и авторитету, к начальнику управления государственных имуществ. Тот, понятно, указал на таблицу, более выгодную для Аристарховых. Белоцветовская компания, не сообразивши, какая это громадная разница, согласилась ее включить в контракт ...

* * *

Еще через год оказалось лесу на миллион семьсот тысяч. Старые векселя не все были оплачены, переучитывались. Компания затрещала.

Все местные банки Аристарховы завалили белоцветовскими векселями. Банки стали сокращать личный кредит компании, а та расчитывала даже на увеличение в виду расширения дел. Железная дорога затягивала платежи.

Гришка, сохраняя самое сердечное отношение, целуясь при встречах, покачивал головой, когда к нему обращались за справками о кредитоспособности белоцветовской компании. Уже было известно, что к следующему сплаву заготовлено будет еще больше! Ясно было, что рано или поздно, компания должна прекратить платежи, не справится: половину лесу и сплавлять невозможно.

Старик Белоцветов осунулся, заболел. Обратился к адвокатам, но те заявили, что нарушить контракт нельзя, что со стороны Аристарховых все выполняется точно и придраться не к чему.

Наконец, если затеять суд, по старым векселям все равно платить надо, а Аристарховы завалят рынок новым дешевым лесом и белоцветовская компанья сядет со своими записами.

* * *

В городе был татарин-миллионер Саимов. Вся киргизская степь была у него в руках. После того, как закрылся «Меновой Двор», бывший тут когда-то, почти всю торговлю со степью захватил Саимов. На его громадный двор, как в караван-сарай, съезжались киргизы из степи, разгружали с верблюдов сырье и нагружали саимовскими товарами. Везли их в степь.

Зимою, закутанные в овчину и верблюжий мех, в лохматых шапках, белые от примерзшего снега, киргизы тянулись по улицам все по одному направлению — ко двору Саимова. Летом, когда над городом, как египетская кара, стояла туча сухой едкой пыли, они опять двигались туда-же, в том-же, теперь сером от пыли, меховом отрепье, понуро шагая рядом с понурыми верблюдами. Абсурдные, безобразные, покорные животные, также, как и их хозяева, всю жизнь работали на Саимова. Киргизы иногда пробовали бунтовать, детски наивно и неумело, из-за государственных налогов, или из-за земли, которую отнимали у них казаки и переселенцы, но им никогда в голову не приходило, что Саимов на них сделал свои миллионы, что он их враг. Ему они низко кланялись и считали благодетелем...

Саимов был малограмотный, самодур. Кредитом он пользовался мало, все вел на наличные. Но иногда всетаки учитывал в банках векселя. Учитывал, а когда наступал срок — не платил! Управляющий банком ехал к нему и уговаривал:

«Необходимо сегодня заплатить, Хусаин Насратуллович, иначе мы обязаны протестовать вексель... Обязаны, не можем не протестовать...»

«Тестуй, если тебе надо!.. В пятницу платить будем, сказал...» — невозмутимо заявлял Саимов. — «Тестуй!..»

Управляющему банка приходилось занимать на несколько дней деньги у других купцов и вносить в кассу... А если платеж совпадал с запойным периодом у Саимова, то вообще разговаривать с ним в это время никто не рисковал — ждали.

Саимов давно уже зарился на белоцветовское дело, но ничего не мог сделать. Когда компания купила лес у Аристарховых и когда все говорили, как расширятся теперь ее дела, Саимов погрозил пальцем:

«Широко шагаешь — штаны ломаешь...»

Но еще больше стал интересоваться делами компании. Самое большое дело в крае, а у него, Саимова, только второе!.. Когда говорят о крупнейших делах, в первую голову называют белоцветовскую компанию, и только на втором месте его, Саимова... Это его бесило.

* *

На второй год, когда у компании уже несколько обострилось положение с кредитами, Арсений пропьянствовал вечер с Коломутиным и поговорили с ним по душе. Тот, видимо, давно ждал этого. Легко сговорились. Было обещано ему тридцать тысяч рублей, если дело окончится так, как хотят Аристарховы. Первое, что от него требовалось — уговорить компаньонов продать один пай Саимову.

Коломутин стал действовать. Стороной Саимову было предложено купить пай самого Коломутина. Саимов считал цену дешевой, поторговался и купил. Он был уверен, что теперь легко скупит постепенно и часть других паев и заберет в свои руки дело. Остальные пайщики согласились на эту продажу, чтобы поднять кредитоспособность компании. Ни Саимов, ни

компания, не понимали, что они делают. У них было «полное товарищество», а по Торговому Уставу в полном товариществе каждый пайщик, большой или маленький, отвечает за долги товарищества не только паем, но и всем своим имуществом. Саимов, купивши один пай, принял на себя ответственность по всем долгам белоцветовской компании!..

Только на третий год, когда положение обострилось и когда двое из компаньонов поехали в Москву посоветоваться со знаменитым адвокатом, им все стало ясно.

Саимов, узнавши, пришел в ярость. Поломал мебель, избил до полусмерти одну из своих жен и несколько дней без просыпу пил. Тоже поехал советоваться, но ему также подтвердили, что в случае банкротства компании, банкротство грозит и ему...

Начались опять переговоры с Аристарховыми.

А лес в Воскресенской даче все возили и возили. Заготовку гнали, как могли, и приказчики компании с ужасом сообщали, что лесу может оказаться «еще больше прошлогоднего».

Весь город, весь край, знал об этой белоцветовско-аристарховской борьбе, и все злорадно ждали, чем это кончится. Одни были за Белоцветовых, другие за Аристарховых, но большинству хотелось, чтобы провалились в тартарары и те, и другие. Белоцветовых ненавидели давно, Аристарховых — с недавняго времени.

* * *

Уже с месяц сидел тут и Сидор. Каждый день велись переговоры. Аристарховы требовали громадную скидку с белоцветовского имущества и со своего же бывшего леса.

Старик Белоцветов в начале держался высокомерно. Но все понижал тон. Аристарховы уперлись на своем, понимая безвыходность положения компании. Сидор барабанил на тарабарском языке, пересыпал

прибаутками. Уступали в пустяках, но в главном стояли на своем. Саимов больше других был склонен к соглашению: он, наконец, понял, что лучше ему сейчас выложить миллион, чем принимать аристарховский лес дальше и залезать в болото еще больше. Теперь он говорил другую поговорку:

«Что сóву камнем, что камень сóвой, все сóве каюк...»

Разойтись с Аристарховыми — надо платить. Продолжать дело — тоже надо платить еще больше. Аристарховых он боялся теперь хуже чумы. Ничего не соглашался не только подписывать, но даже читать без совета с адвокатом. Когда нужно было подписать заявление о страховке своего-же леса, он послал предварительно за адвокатом. Но зато теперь он впервые пригласил Аристарховых в гости и приехал к ним сам.

* *

Притти к соглашению все не могли. Время шло. Но Сидор имел еще «заковыку», и на нее расчитывал. У компании был большой кредит в одном из провинциальных банков. В правлении сидел родственник Белоцветова, и этот кредит компания считала наиболее надежным. Сидор поручил Арсению составить записку о критическом положении дел компании, выяснить родственные отношения Белоцветова и правления банка и, помолившись подольше Богу, послал ее в Петербург Хабареву.

Следующий вексель компании не был учтен...

Этот удар окончательно пришиб Белоцветова, и при следующем свидании, плача, он согласился на все аристарховские условия.

Все белоцветовское дело переходило к Аристарховым, с большой скидкой с цифр баланса. Все запасы леса, контракты, все склады компании на Урале, на Волге, в Туркестане, все лесопильные заводы, сушилки, дома, шпалопропиточный завод, — все станови-

лось собственностью Аристарховых. Белоцветовская компания ликвидировалась.

Белоцветов был разорен.

* * *

У Аристарховых теперь не было конкурентов. Можно было повысить цены на лес.

«Свой же лес купили со скидкой сорока процентов», — смеялся Арсений. А Сидор крестился широким крестом и добавлял:

«Все через евонуую господню волю делающееся...»

Цены на лес в крае стали быстро расти. Также и цены на все, что покупали у Саимова киргизы — на ситец, чай, соль, железо. А за сырье, которое они привозили из степи, Саимов стал платить дешевле. Ему нужно было вернуть свои потери.

Конкурентом Аристарховых могли бы выступить казенные леса, но там своей разработки не производилось. Делянки леса продавались с торгов, а на торгах покупали опять Аристарховы. Начальник государственных имуществ получал уже не пятьсот рублей, а тысячу...

Саимовский миллион быстро наверстывался.

Аристарховы понизили плату за рубку и вывозку: теперь оказался излишек рабочих рук...

XXI.

«БАББИТ».

За белоцветовский контракт Арсению было обещано много. Но, когда все было сделано, не дали ничего. И Коломутину вместо тридцати тысяч дали де-

сять, а уплату двадцати все оттягивали под разными предлогами. Арсению увеличили жалованье со ста рублей на двести, — и только. Его это оскорбило и обозлило.

В личные отношения с Гришкой, внешне ласковые, тоже влилась струйка вражды. Гришке нравилась хорошенькая девица, дочь объездчика. Она училась теперь в городе, и он узнал, что Арсений с ней встречается, а с ним, Гришкой, она встречаться не хочет, боится его. Он предлагал ей деньги, но та отказалась. Намекнул, что это может отразиться на службе ее отца, — и это не помогло... Животное чувство загорелось в нем с особой остротой, и отпор усиливал его. Арсению он ни слова не говорил, но злился. Гришка не прощал становившимся поперёк дороги в его сексуальных делах.

* * *

«Ты на всем готовом живущий, всего вдосталь, куда тебе деньги, на девочек только», — отвечал одно Сидор, когда Арсений ставил ребром вопрос об окладе и участии в делах.

Эта жизнь «на всем готовом», почти все время с Гришкой, осточертела. И ничего не было впереди.

Арсений не выдержал и переехал на отдельную квартиру.

«Хошь — живи, хошь — не живи, твоя воля, а наш дом — твой дом», — говорил Сидор, а про себя думал, что «должно, придется разойтиться с мальцем, в лес стал смотрящий, а наше дело семейное...»

«Когда умней тебя с тобой работающий, опасность являющаяся. Я в такие годы, как ён, тридцать копеек в день тратил, а ему двести на всем готовом мало... Чего отдельно жить? Живи на виду, а не прячущий и замышляющий...»

Разговоры дошли до Арсения, — нашлись «приятели», чтобы передать.

Однако, разойтись в то же время и опасались: очень уж много знал Арсений, ссора могла бы иметь непри-

ятные последствия. К тому же Арсений опять стал писать в газетах, а этого Сидор, как огня, боялся. Надо было сделать так, чтобы ушел сам. Начались мелочные столкновения, придирки, неудовольствия.

Следуя директивам Сидора, Гришка всюду открыто уже предупреждал, что он, Арсений, хотя тоже и Аристархов, но в их семейном деле не участвует. У него ничего нет, дело все ихнее.

Когда Арсений начал переговоры с английской лесной фирмой, чтобы заработать комиссию на сделке, Аристарховы вдруг переполошились, хотя они сами же могли ставить лес этой фирме из своих западных имений. Фирма запросила их о кредитоспособности Арсения, и они тайком ответили, что Арсений Аристархов ничего общего с их фирмой не имеет, а получает только жалованья двести рублей в месяц!..

Арсений не поверил сразу, когда ему показали этот ответ. Он написал резкое письмо Сидору и отказался служить дальше.

Всех денег у него было тысячи две — до миллиона очень далеко!..

Да и эти две были не аристарховские — заработал их на другом деле. От Аристарховых увез только несколько чемоданов со своей одеждой, да сотню книг. Уже давно Арсений покупал книги для «гришкиной библиотеки», десятками и даже сотнями. Гришка вполне одобрял.

«Кто там знает, читал аль не читал, а стоящая книга интеллигентное впечатление дает...»

Ни одной из книг Гришка и не раскрывал. Хотел, но некогда было: или девочки, или дела...

Надо было начинать сначала. Но аристарховские уроки не пропали даром: был окончен курс сидоровой школы...

* *
*

Не смущаясь величиной своего «капитала», Арсений не изменил темпа жизни. Для окружающих все осталось по старому. Даже пару лошадей еще купил.

И как раз у губернскаго предводителя дворянства — вроде того как Сидор покупал у губернатора.

Шампанское, сардинки, ковры можно было брать в кредит. Охотно давали. Но уже через месяц не с чем было послать повара на базар. И у лошадей овес был на исходе...

Не спал ночи, придумывая как обернуться. Было очень трудно, мучительно. Но для окружающих ничего не было заметно.

Устраивал приемы и попойки и от них стали приходить деньги. На счет еды выезжали больше на консервах, но вина было в волю. Вино можно было неограниченно брать в кредит.

Заканчивалась постройка железной дороги. Покупали много всяких материалов — наполняли эксплоатационные склады.

Арсений близко знал нескольких инженеров и чиновников по поставкам аристарховских шпал. Тогда приемочную комиссию напаивали и пьяным раскладывали по карманам конверты с деньгами. Инженеры и контролеры ходили около клеток шпал и сердито чёркали кресты на гнилых или маломерных; сзади шли десятники и со служебным пылом выбивали клеймо «бр», «бр» — «брак», «брак». Но когда принятые шпалы увозились, от этих бракованых отпиливались тонкие пластинки, и забракованное шло опять в следующую сдачу. Всегда был брак, но убытка подрядчику не было.

Арсений бывал в доме у начальника дороги — знакомы были с пикников. Теперь знакомства пригодились.

* * *

«Отчего вы не ставите баббит, Арсений Павлович?» — спросил в клубе знакомый инженер за бутылкой хорошего вина.

О баббите Арсений слыхал, но всетаки удивился: «Баббит?!.. А почему бы мне вдруг ставить баббит?..»

С этого началось.

Инженер приехал к Арсению и наедине рассказал. Баббит — это сплав для подшипников. Его идет много, и стоит он дорого, потому что в нем главная составная часть — олово, а олово дорого. Но можно класть олова меньше и тогда с пуда может быть пользы рублей десять. Три тысячи пудов — тридцать тысяч рублей...

«Как же можно положить меньше олова? Его процент, очевидно, установлен в заказе?»

«Фонарь вон тоже на улице установлен — так не нужно лезть на него... Это делается вот как... Вы закажите себе какую-нибудь форму для отливки: скажем с рисунком амура... Налейте в нее подходящего сплава и представьте нам на испытание. Испытанче делается как раз у меня в лаборатории, я и одобрю вашего амура... Управление дороги объявит торги на баббит «амур», а кто-же еще может «амура» поставить, если это ваша марка!..»

«Неужели это так просто и так глупо?»

«Именно так! Только дураки баббита не ставят... Да разве только с баббитом — со всем так».

«А не может быть катастрофы от плохого баббита?»

«Никакой катастрофы!.. Все дороги работают на таком. Вы думаете, на других дорогах ангелы служат, что-ли?»

Всетаки Арсений не решился сразу. Ему казался слишком абсурдным рассказ инженера. Может быть упущена какая-нибудь подробность, и из-за нее выйдет скандал? Что-то не так...

* * *

Уже несколько лет он ничего не знал о Павлике Ивкове, а тут получил письмо. Павлик сообщал, что его дела очень плохи, родственники не платят его долгов, разорены сами... Через сановнаго родственника он получил место в государственном контроле. Ему

предложили выбрать одну из новых железных дорог и, зная, что Арсений живет здесь, на Урале, он выбрал именно эту.

Павлика трудно было узнать. Вместо маленького, элегантного, всегда с иголочки одетого джентельмэна, приехал обрюзгший, опустившийся чиновник. Он сильно пил.

«Я совершенно разорен. И я, и родственники», — опять начал он. — «Пришлось взять это место на двести рублей. Едва-ли я долго выдержу...»

Со дня выпуска из университета не виделись. Вспоминали товарищей.

«Бегич умер...»

«Умер!?.. Бегич умер... отчего?..»

«Все от того же... Ты здесь тоже без вины виноват. Ты не знал тогда — у него был сифилис. Его заразила твоя Китти...»

«Китти!..»

У Арсения мурашки побежали по телу.

«Как она нравилась мне тогда! Совсем девочка, с кукольными глазами и светлыми локонами... Китти! Невороятно, немыслимо».

«Ты помнишь ее?»

«Еще бы... Я до сих пор чувствую запах ее духов... Какой ужас!»

«Случилось это как раз в то время, когда ты был в нее влюблен и мечтал о ней. Бегич истратил на нее много денег. Ты сам его надоумил... Ты о ней рассказывал с таким восторгом... Он никому не говорил о своей связи с ней. А потом, месяца через два, во время наших выпускных экзаменов, пришел ко мне и в ужасе рассказал, что он болен... Он только что был у знаменитаго врача и тот сказал, что никаких сомнений нет — сифилис... В первый момент он чуть не покончил с собой, а потом как-то быстро примирился, даже как будто легкомысленно стал относиться к своей болезни. Даже шутил: — Что-же, благородная болезнь... Никто из товарищей больше не знал. Но

ты помнишь, он тогда сразу, как обрезало, перестал бывать в нашей компании...»

«Всетаки почему же он умер? — с этим живут десятки лет?»

«Перешло на мозг. Я был у него за неделю до смерти. Он еще узнал меня. Мы оба плакали... Да, тебе повезло, Арсений...»

Образ Бегича пронесся у Арсения в памяти. Бегича все любили. Все говорили о нем:

«Какой симпатичный молодой человек... Исключительно милый...»

Вежливый, мягкий, осторожный в суждениях. И движения мягкие и изящные — точно женственные. Так хорошо танцовал. Фигура совсем не женская: — высокий, с открытым большим лбом, с длинными аристократическими пальцами... О женщинах говорил всегда любовно. Называл их за глаза ласкательными именами...

И Бегича больше нет.

* * *

Самое неожиданное случилось с Окониным.

«Ты помнишь, когда мы кончали, Оконин жил летом со мной в квартире дяди. У него в комнате стояло несколько больших чемоданов. Я несколько раз спрашивал, что там. Он говорил — книги... Вдруг дядя вызывает меня к себе в лагерь и рассказывает, взбешенный, что сегодня утром ему телефонировал начальник жандармского управления и по секрету сообщил, что у него, в городской квартире, целый склад нелегальной литературы!.. Дядя не поверил, возмутился, но жандарм настаивал. «Я сам не верил, ваше высокопревосходительство, когда наши агенты донесли мне... Для окончательной проверки я вынужден был послать в вашу квартиру переодетого жандарма под видом телефонного монтёра, и он сам видел сундуки, открывал их...» Можешь себе представить, что произошло с дядей!.. Он был уверен, что я знаю об

этом: разумеется, я ничего не знал... Хотел застрелить Оконина. Кончилось тем, что Оконину пришлось сейчас же тайком ехать заграницу. Он теперь в Швейцарии...»

Рассказ поразил Арсения.

Оконин, сноб, белоподкладочник, кутила, разбрасывающий отцовский миллион — и революционная работа!.. Казалось бы, это несовместимо... И вдруг вспомнился «Вавила Абрамыч», и протянулись нити, соединяющие Анфису и Оконина!

* * *

Теперь Павлик оказывался членом той самой комиссии, которая должна принимать баббит.

В былое время Павлик относился брезгливо ко всяким денежным комбинациям. Даже к таким, где по общепринятому мнению не было ничего предосудительного. Другие товарищи смотрели проще, но Павлик держался особого мнения:

«Я могу занять у швейцара сто рублей и дать ему завтра за это на чай двадцать. Но я никогда не стану зарабатывать какие-то комиссионные, быть посредником... Это скверно пахнет...»

То, что Арсений взял тогда у Ахаева за уроки двадцать пять рублей, Павлик долго и неодобрительно ему поминал.

«Теперь надо предложить Павлику деньги за приемку баббита. Если ставить баббит?.. Вероятно, он не станет мешать, портить дело, если я ему скажу, что заинтересован в этой сдаче. Но я должен сказать все. А вдруг потом выйдут какие-нибудь неприятности...»

Когда сказал ему наконец, был удивлен как легко к этому отнесся Павлик. Даже сам спросил, сколько он за это получит. Ему страшно нужны были деньги.

Заказ на баббит был получен.

Пользы оказалось не так много, как сулил инженер, но все-таки на долю Арсения осталось около десяти тысяч. Павлик получил из них три. Он их

быстро пропил и раздал. Четыре-пять мальчуганов, из них два татарина, чувствовали себя в квартире Павлика, как дома. Пахло сапогами и плохим табаком. Было грязно и накурено. Приходили и уходили, когда хотели. Валялись на кровати, играли на гармошке. Пили. Ночевали...

* *
*

Арсений сам пил мало, но кутежи у него бывали все чаще. Было уже много приятелей на дороге. Всех сразу нельзя было приглашать. Приглашал группами, кто с кем не стесняется. Было весело — постоянно бывали актрисы городского театра. Пели, играли, танцовали, играли в карты, главное пили... Железнодорожникам нравилось. Выпивши, сами давали советы, какую взять поставку, как ее провести.

Особенно часто бывала «Растрёпка». Молодая талантливая актриса, но лентяйка, разгильдяйка. «Растрёпка» — так прозвал ее Арсений. Ролей она не учила, играла с суфлера, иногда не зная, что будет в следующем действии. Но на ней выезжал репертуар.

Арсению нравилась другая, ее подруга — стройная, холодная, с профилем годным для камеи. Она тоже играла большие роли, но антрепренер говорил про нее:

«Ломберный стол лучше сыграл бы...»

Она тоже часто бывала. Как-то за ней Арсений послал пролетку к концу спектакля, а вместо нее приехала хохочущая Растрёпка.

«Надя злая сегодня, не хотела ехать... Вам скучно одному, я и приехала... ха-ха-ха...»

Были гости, и все были довольны, что приехала Растрёпка, а не Надя. Растрёпка пела, декламировала, имитировала всю труппу и дам благотворительниц. С ней было весело. Ее любили по театру.

Стала бывать она.

«Милая растрепушка, отчего ты никогда не причешешься гладенько? Тебе это больше пойдет», — говорил Арсений.

«Ты хочешь гладенько, Арик?.. Сейчас, сию минуту», — и она сейчас же мочила голову одеколоном, так что текло, и причесывалась.

«Опять ты грязная, растрепуша! Грим не смыла...»

«Разве не смыла?.. Я сейчас».

«Растрепушка, так не смоешь... Он у тебя уже в тело въелся... Пойдем, я тебя в ванне выкупаю...»

«Ну, хорошо, выкупай...»

Иногда она приезжала после спектакля, когда Арсений уже спал. На столе ждала сырая ветчина, полбутылки Аи и шоколад Кайе.

«Обожаю Кайе и Аи... хорошо жить!» — радовалась она.

Первый раз приехала незваная, а потом ни разу не приезжала, не спросивши предварительно по телефону: «Можно сегодня?»

Денег Арсений ей не давал. Как-то предложил, но она отказалась:

«Не надо, у меня есть».

Нравилась Надя, а бывала Растрёпка, и не хотелось менять этот порядок.

* * *

Когда в конце сезона Растрёпка должна была уезжать, у нее не сошлись концы с концами. Надо было уплатить портнихе и за квартиру. Не было денег на билет домой, в Херсонскую губернию. Но она ничего не говорила Арсению. Ходила печальная, чего раньше никогда не бывало. Как-то приехала заплаканная.

«Что с тобой, растрепушка?» — допрашивал Арсений.

«Нет, так... Ничего, Арик. Из дому письмо неприятное получила».

Так ничего и не сказала.

Уже накануне отъезда позвонила ее приятельница, комическая старуха, и рассказала:

«Нет у нее денег, не с чем выехать, а антрепренер не дает аванса, говорит, чтобы у вас просила...»

«Почему же ты мне не сказала, растрёпа?.. Сколько тебе нужно?»

«Я не хочу у тебя брать денег... Я телеграфировала мамочке, чтобы выслала».

Арсений уговорил взять. Она подсчитала точно, до рубля, сколько нужно — сто двадцать два рубля. Не хотела взять ни рубля больше.

«Я тебе вышлю из дому» — решила она.

«Какая ты хорошая, растрепуша».

«Нет, я очень испорченная...» — ответила она по детски и заплакала.

После ее отъезда Арсению долго было тоскливо. Все ее вспоминали, привыкли к ней за три месяца, точно за годы.

* * *

На железной дороге шла вакханалия. Съехались десятки представителей разных фирм. Фирмы давно работали с железными дорогами, и у них были опытнейшие специалисты. Им давались деньги на безотчетные расходы. Шло гомерическое пьянство. Чем больше мог выпить представитель, тем выше он ценился. Тем легче получал заказы.

Способы получения заказов и сдачи товаров были известны всем, но еще у каждого был свой собственный трюк. Один старался перехитрить другого. На нового поставщика, не знавшего фокусов, смотрели как на ребенка, в глаза над ним смеялись. Заказа он получить не мог...

Некоторые служащие дороги просто брали процент и делали, что могли. Другие были хитрее. Брали с нескольких конкурентов и водили за нос всех, предоставляя заказ собственному течению. Кто-нибудь да получал и был доволен, а остальным говорили, что, несмотря на все старания, ничего не вышло, другой раз будет сдано им непременно...

Одного конторщика материальной службы запоили до смерти. Он занимал маленькое место, но все ведомости с ценами шли через него. Его втянули в

игру в клубе, держали пьяным с утра до вечера. Сводки цен тем временем были в распоряжении поставщика — они их поправляли, подчищали, а заявление более опасных конкурентов просто исчезали. Конторщик помер в белой горячке.

Если случайно всетаки влезал посторонний поставщик, ему браковали товар. Жаловаться было бесполезно: вновь назначенная ревизионная комиссия опять браковала...

* * *

Заработавши на поставках, Арсений купил большой участок земли недалеко от железной дороги. Ему сказали по секрету, что будут строиться мастерские и именно в этом районе. Никто еще об этом не знал.

Когда выяснилось, что земля отчуждается для железной дороги, ему уплатили почти тройную цену. Он заработал тридцать тысяч, устроил грандиозную попойку своим советчикам, продал мебель и лошадей, собрался в несколько дней и уехал в Петербург...

«Там дорога к миллионам шире!»

Конец первого тома.

ОГЛАВЛЕНИЕ

КНИГИ ТОГО ЖЕ АВТОРА:

«ЗДЕСЬ»

Психологические этюды. Под псевдонимом — Н. Н. Тавридин. Харьков 1909. (Конфисковано

«О ПРОЧЕМ»

Петербург. 1914. (Распродано).

«В СТРАНЕ ЛЮБВИ И ЗЕМЛЕТРЯСЕНИ

Петербург. 1914. (Распродано).

«ЧТОБЫ ЖИЗНЬ НЕ БЫЛА ТАК ПЕЧАЛЬН

Петроград. 1917. (Распродано).

«БОГОМОЛЫ В КОРОБОЧКЕ»

Берлин. 1921. (Распродано).

«СТРАННЫЕ РАЗСКАЗЫ»

Берлин. 1922.

«ГОРОД-СФИНКС»

Берлин. 1922.

«РАДОСТЬ БЫТИЯ»

Берлин. 1923.

«ДЕТСТВО АРИСТАРХОВА»

Берлин. 1924.

«СЕГОДНЯ».

«Ленинград. 1925.

«БОГ И ДЕНЬГИ»

Берлин. 1926. (Распродано).

«МОНТЕ-КАРЛО»

Берлин. 1927.

«ЛЮДИ В ПАУТИНЕ»

Берлин. 1930.

«БАРБАДОСЫ И КАРАКАСЫ»

Берлин. 1932.

